Корней Иванович Чуковский
От двух до пяти



Аннотация

Корней Иванович Чуковский – писатель, переводчик, литературовед, критик.

В книге «От двух до пяти» сформулированы основные взгляды К.И.Чуковского на детскую литературу, обобщены наблюдения над развитием языка детей, опубликованы «заповеди для детских поэтов». Книга дополнена статьей «Признания старого сказочника», опубликованной посмертно.

Издание адресовано широкому кругу читателей: родителям, педагогам, детским психологам, художникам, поэтам, писателям.

От двух до пяти. – Впервые под названием «Маленькие дети», Л. 1928. В 1933 году вышло третье переработанное издание под названием «От двух до пяти». Печатается по семнадцатому изданию: «От двух до пяти», Детгиз, М. 1963.

ОТ АВТОРА

Это было давно. Я жил на даче у самого моря. Перед моими окнами на горячем песке Сестрорецкого пляжа копошилось несметное количество малых детей под надзором бабушек и нянек. Я только что оправился после долгой болезни и по предписанию врача был обречен на безделье. Слоняясь с утра до вечера по чудесному пляжу, я вскоре сблизился со всей детворой, да и она привыкла ко мне. Мы строили из песка неприступные крепости, спускали на воду бумажные флоты.

Вокруг меня, ни на миг не смолкая, слышалась звонкая детская речь. На первых порах она просто забавляла меня, но мало-помалу я пришел к убеждению, что, прекрасная сама по себе, она имеет высокую научную ценность, так как, исследуя ее, мы тем самым вскрываем причудливые закономерности детского мышления, детской психики.

С тех пор прошло лет сорок – даже больше. В течение всего этого долгого срока я ни разу не расставался с детьми: сначала мне представилась возможность наблюдать духовное развитие своих собственных малолетних детей, а потом – своих внуков и – многочисленных правнуков.

И все же я не мог бы написать эту книгу, если бы не дружная помощь читателей. Уже много лет из недели в неделю, из месяца в месяц почтальоны приносят мне множество писем, где бабки, матери, деды, отцы малышей сообщают свои наблюдения над ними, над их поступками, играми, разговорами, песнями. Пишут домашние хозяйки, пенсионеры, спортсмены, рабочие, инвалиды, военные, актеры, дипломаты, художники, инженеры, зоотехники, воспитатели детских садов, – и можно себе представить, с каким интересом (и с какой благодарностью!) я вчитываюсь в эти драгоценные письма. Если бы я мог обнародовать весь имеющийся у меня материал, собранный в течение сорока с чем-то лет, получилось бы по крайней мере десять – двенадцать томов.

Как и всякий фольклорист-собиратель, заинтересованный в научной достоверности своего материала, я считаю себя обязанным документировать каждое детское слово, каждую детскую фразу, сообщенную мне в этих письмах, и очень жалею, что отсутствие места не дает мне возможности назвать по именам всех друзей моей книги, делящихся со мною своими наблюдениями, мыслями, сведениями.

Но я бережно сохраняю все письма, так что почти у каждого речения детей, приводимого мною на этих страницах, есть паспорт…

Широкие читательские массы отнеслись к моей книге с горячим сочувствием. Достаточно сказать, что в одном только 1958 году книга вышла в двух разных издательствах в количестве 400 000 экземпляров и в течение нескольких дней разошлась вся без остатка: так жадно стремятся советские люди изучить и осмыслить все еще мало изученную психику своих Игорей, Володей, Наташ и Светлан.

Это налагает на меня большую ответственность. Поэтому для каждого нового издания книги я перечитываю снова и снова весь текст, всякий раз исправляя и дополняя его.

Глава первая
ДЕТСКИЙ ЯЗЫК

...Но всех чудес прекрасных на земле
Чудесней слово первое ребенка.
Петр Семынин

I. ПРИСЛУШИВАЮСЬ

Когда Ляле было два с половиной года, какой-то незнакомый спросил ее в шутку:

– Ты хотела бы быть моей дочкой?

Она ответила ему величаво:

– Я мамина и больше никовойная.

Однажды мы гуляли с ней по взморью, и она впервые в жизни увидела вдали пароход.

– Мама, мама, паровоз купается! – пылко закричала она.

Милая детская речь! Никогда не устану ей радоваться. С большим удовольствием подслушал я такой диалог:

– Мне сам папа сказал…

– Мне сама мама сказала…

– Но ведь папа самее мамы… Папа гораздо самее.

Было приятно узнавать от детей, что у лысого голова босиком, что от мятных лепешек во рту сквознячок, что женщина-дворник – дворняжка.

И весело мне было услышать, как трехлетняя спящая девочка внезапно пробормотала во сне:

– Мама, закрой мою заднюю ногу!

И очень забавляли меня такие, например, детские речения и возгласы, подслушанные в разное время:

– Папа, смотри, как твои брюки нахмурились!

– Бабушка! Ты моя лучшая любовница!

– Ой, мама, какие у тебя толстопузые ноги!

– Наша бабуля зарезала зимою гусей, чтоб они не простудились.

– Мама, как мне жалко лошадок, что они не могут в носу ковырять.

– Бабушка, ты умрешь?

– Умру.

– Тебя в яму закопают?

– Закопают.

– Глубоко?

– Глубоко.

– Вот когда я буду твою швейную машину вертеть!

Жорж разрезал лопаткой дождевого червя пополам.

– Зачем ты это сделал?

– Червячку было скучно. Теперь их два. Им стало веселее.

Старуха рассказала четырехлетнему внуку о страданиях Иисуса Христа: прибили боженьку гвоздями к кресту, а боженька, несмотря на гвозди, воскрес и вознесся.

– Надо было винтиками! – посочувствовал внук.

Дедушка признался, что не умеет пеленать новорожденных.

– А как же ты пеленал бабушку, когда она была маленькая?

Девочке четырех с половиною лет прочли «Сказку о рыбаке и рыбке».

– Вот глупый старик, – возмутилась она, – просил у рыбки то новый дом, то новое корыто. Попросил бы сразу новую старуху.

– Как ты смеешь драться?

– Ах, мамочка, что же мне делать, если драка так и лезет из меня!

– Няня, что это за рай за такой?

– А это где яблоки, груши, апельсины, черешни…

– Понимаю: рай – это компот.

– Тетя, вы за тысячу рублей съели бы дохлую кошку?

Басом:

– Баба мылом морду моет!

– У бабы не морда, у бабы лицо.

Пошла поглядела опять.

– Нет, все-таки немножечко морда.

– Мама, я такая распутница!

И показала веревочку, которую удалось ей распутать.

– Жил-был пастух, его звали Макар. И была у него дочь Макарона.

– Ой, мама, какая прелестная гадость!

– Ну, Нюра, довольно, не плачь!

– Я плачу не тебе, а тете Симе.

– Вы и шишку польете?

– Да.

– Чтобы выросли шишенята?

Окончание «ята» мы, взрослые, присваиваем только живым существам: ягнята, поросята и проч. Но так как для детей и неживое живо, они пользуются этим окончанием чаще, чем мы, и от них всегда можно слышать:

– Папа, смотри, какие вагонята хорошенькие!

Сережа двух с половиною лет впервые увидел костер, прыщущий яркими искрами, захлопал в ладоши и крикнул:

– Огонь и огонята! Огонь и огонята!

Увидел картину с изображением мадонны:

– Мадонна с мадонёнком.

– Ой, дедуля, киска чихнула!

– Почему же ты, Леночка, не сказала кошке: на здоровье?

– А кто мне скажет спасибо?

Философия искусства:

– Я так много пою, что комната делается большая, красивая…

– В Анапе жарко, как сесть на примус.

– Ты же видишь: я вся босая!

– Я встану так рано, что еще поздно будет.

– Не туши огонь, а то спать не видать!

Мурка:

– Послушай, папа, фантазительный рассказ: жила-была лошадь, ее звали лягавая… Но потом ее переназвали, потому что она никого не лягала…

Рисует цветы, а вокруг три десятка точек.

– Что это? Мухи?

– Нет, запах от цветов.

– Обо что ты оцарапался?

– Об кошку.

Ночью будит усталую мать:

– Мама, мама, если добрый лев встретит знакомую жирафу, он ее съест или нет?

– Какой ты страшный спун! Чтобы сейчас было встато!

Лялечку побрызгали духами:

Я вся такая пахлая,

Я вся такая духлая.

И вертится у зеркала.

– Я, мамочка, красавлюсь!

– Когда же вы со мной поиграете? Папа с работы – и сейчас же за книгу. А мама – барыня какая! – сразу стирать начала.

Все семейство поджидало почтальона. И вот он появился у самой калитки. Варя, двух с половиной лет, первая заметила его.

– Почтаник, почтаник идет! – радостно возвестила она.

Хвастают, сидя рядом на стульчиках:

– Моя бабушка ругается все: черт, черт, черт, черт.

– А моя бабушка все ругается: гошподи, гошподи, гошподи, гошподи!

Юра с гордостью думал, что у него самая толстая няня. Вдруг на прогулке в парке он встретил еще более толстую.

– Эта тетя заднее тебя, – укоризненно сказал он своей няне.

Замечательное детское слово услышал я когда-то на даче под Питером в один пасмурный майский день. Я зажег для детей костер. Издали солидно подползла двухлетняя соседская девочка:

– Это всехный огонь?

– Всехный, всехный! Подходи, не бойся!

Слово показалось мне таким выразительным, что в первую минуту я, помнится, был готов пожалеть, почему оно не сделалось «всехным», не вошло во «всехный» обиход и не вытеснило нашего «взрослого» слова «всеобщий».

Я как вижу уличный плакат:

ВСЕХНАЯ РАБОТА НА ВСЕХНОЙ ЗЕМЛЕ
ВО ИМЯ ВСЕХНОГО СЧАСТЬЯ!

Так же велика выразительность детского слова сердитки. Трехлетняя Таня, увидев морщинки на лбу у отца, указала на них пальцем и сказала:

– Я не хочу, чтобы у тебя были сердитки!

И что может быть экспрессивнее отличного детского слова смеяние, означающего многократный и длительный смех.

– Мне аж кисло во рту стало от баловства, от смеяния.

Трехлетняя Ната:

– Спой мне, мама, баюльную песню!

«Баюльная песня» (от глагола «баюкать») – превосходное, звучное слово, более понятное детям, чем «колыбельная песня», так как в современном быту колыбели давно уже сделались редкостью.

Повторяю: вначале эти речения детей казались мне просто забавными, но мало-помалу для меня, благодаря им, уяснились многие высокие качества детского разума.

II. ПОДРАЖАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО ДЕТСКОЕ ЧУТЬЕ ЯЗЫКА

Если бы потребовалось наиболее наглядное, внятное для всех доказательство, что каждый малолетний ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты, достаточно было бы приглядеться возможно внимательнее к сложной системе тех методов, при помощи которых ему удается в такое изумительно короткое время овладеть своим родным языком, всеми оттенками его причудливых форм, всеми тонкостями его суффиксов, приставок и флексий.

Хотя это овладение речью происходит под непосредственным воздействием взрослых, все же оно кажется мне одним из величайших чудес детской психической жизни.

Раньше всего необходимо заметить, что у двухлетних и трехлетних детей такое сильное чутье языка, что создаваемые ими слова отнюдь не кажутся калеками или уродами речи, а, напротив, очень метки, изящны, естественны: и «сердитки», и «духлая», и «красавлюсь», и «всехный».

Сплошь и рядом случается, что ребенок изобретает слова, которые уже есть в языке, но неизвестны ни ему, ни окружающим.

На моих глазах один трехлетний в Крыму, в Коктебеле, выдумал слово пулять и пулял из своего крошечного ружья с утра до ночи, даже не подозревая о том, что это слово спокон веку существует на Дону, в Воронежской и Ярославской областях[1]. В известной повести Л.Пантелеева «Ленька Пантелеев» ярославская жительница несколько раз говорит: «Так и пуляют, так и пуляют!»

Другой ребенок (трех с половиною лет) сам додумался до слова никчемный.

Третий, неизвестного мне возраста, изобрел слова обутки и одетки (это было в черноморской степи под Одессой), совершенно не зная о том, что именно эти два слова точно в таком же сочетании существуют в течение столетий на севере, в Олонецком крае. Ведь не читал же он этнографических сборников Рыбникова, записавшего некую фольклорную сказку, где были, между прочим, такие слова: «Получаю по обещанию пищу, обутку и одетку»[2].

Самая эта двучленная формула «обутка и одетка» была самостоятельно создана ребенком на основании тех языковых предпосылок, которые даны ему взрослыми.

– Ах ты, стрекоза! – сказала мать своей трехлетней Ирине.

– Я не стрекоза, а я людь!

Мать сначала не поняла этой «люди», но потом случайно обнаружила, что за тысячу километров, на Урале, человек издавна называется «людью». Там так и говорят:

---

[1] В.И.Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. III, М. 1955, стр. 538. А.В.Миртов, Донской словарь, 1929, стр. 263.

[2] Песни, собранные П.Н.Рыбниковым, т. III, М. 1910, стр. 177.

– Ты что за людь?[3]

Таким образом, ребенок порою самостоятельно приходит к тем формам, которые создавались народом в течение многих веков.

Чудесно овладевает детский ум методами, приемами, формами народного словотворчества.

Даже те детские слова, которых нет в языке, кажутся почти существующими: они могли бы быть, и только случайно их нет. Их встречаешь как старых знакомых, как будто уже слышал их когда-то. Легко можно представить себе какой-нибудь из славянских языков, где в качестве полноправных слов существуют и сердитки, и никовойный, и всехный.

Или, например, слово нырьба. Ребенок создал его лишь потому, что не знал нашего взрослого слова «ныряние». Купаясь в ванне, он так и сказал своей матери:

– Мама, скомандуй: «К нырьбе приготовиться!»

Нырьба – превосходное слово, энергичное, звонкое; я не удивился бы, если бы у какого-нибудь из славянских племен оказалось в живом обиходе слово нырьба, и кто скажет, что это слово чуждо языковому сознанию народа, который от слова ходить создал слово ходьба, от слова косить – косьба, от слова стрелять – стрельба и т. д.

Мне сообщили о мальчике, который сказал своей матери.

– Дай мне нитку, я буду нанитывать бусы.

Так осмыслил он слова «нанизывать на нитку».

Услыхав от какого-то мальчика, будто лошада копытнула его, я при первом удобном случае ввернул эти слова в разговор с моей маленькой дочерью. Девочка не только сразу поняла их, но даже не догадалась, что их нет в языке. Эти слова показались ей совершенно нормальными.

Да они такие и есть – порою даже «нормальнее» наших. Почему, в самом деле, ребенку говорят о лошади – лошадка? Ведь лошадь для ребенка огромна. Может ли он звать ее уменьшительным именем? Чувствуя всю фальшь этого уменьшительного, он делает из лошадки – лошаду, подчеркивая тем ее громадность.

И это у него происходит не только с лошадкой: подушка для него зачастую – подуха, чашка – чаха, одуванчик – одуван, гребешок – гребёх.

– Мама, смотри, петух без гребеха.

– Уй, какую мы нашли сыроегу!

– В окне на Литейном вот такая игруха!

Сын профессора А.Н.Гвоздева называл большую ложку – лога, большую мышь – мыха:

– Дай другую логу!

– Вот какая мыха!

Пушку называл он – пуха, балалайку – балалая[4].

Наташа Шурчилова мамины босоножки зовет: босоноги.

Во всех этих случаях ребенок поступает точно так же, как поступил Маяковский, образуя от слова щенок форму щен:

Изо всех щенячьих сил
Нищий щен заголосил.

НЕОСОЗНАННОЕ МАСТЕРСТВО

Переиначивая наши слова, ребенок чаще всего не замечает своего словотворчества и остается в уверенности, будто правильно повторяет услышанное.

Это впервые поразило меня, когда четырехлетний мальчишка, с которым я познакомился в поезде, стал назойливо просить у меня, чтобы я позволил ему повертеть тормозило.

Он только что услышал слово тормоз – и, думая, что повторяет его, приделал к нему окончание ило.

Это ило было для меня откровением: такой крохотный мальчик, а как тонко почувствовал, что здесь необходим суффикс «л», показывающий орудийность, инструментальность предмета.

[3] Даль приводит это слово как старинное (Толковый словарь, т. II, М. 1955, стр. 284).

[4] А.Н.Гвоздев, Вопросы изучения детской речи (глава «Формирование у ребенка грамматического строя русскою языка»), М. 1961, стр. 312 и 327.

Мальчик словно сказал себе: если то, чем шьют, называется шило, а то, чем моют, – мыло, а то, чем роют, рыло, а то, чем молотят, – молотило, значит, то, чем тормозят, – тормозило.

Одно это слово свидетельствовало, что в уме у ребенка произведена такая четкая классификация суффиксов по разрядам и рубрикам, которая и для согревшего ума представляла бы немалые трудности.

И эта классификация показалась мне тем более чудесной, что сам ребенок даже не подозревает о ней.

Такое неосознанное словесное творчество – один из самых изумительных феноменов детства.

Даже те ошибки, которые нередко случается делать ребенку при этом творческом усвоении речи, свидетельствуют об огромности совершаемой его мозгом работы по координации знаний.

Хотя ребенок и не мог бы ответить, почему он называет почтальона почтаником, эта реконструкция слова свидетельствует, что для него практически вполне ощутима роль старорусского суффикса ник, который характеризует человека главным образом по его профессиональной работе пожарник, физкультурник, сапожник, колхозник, печник. Называя почтальона почтаником, ребенок включил свой неологизм в разряд этих слов и поступил вполне правильно, потому что если тот, кто работает в саду, есть садовник, то работающий на почте есть и вправду почтаник. Пусть взрослые смеются над почтаником. Ребенок не виноват, что в грамматике не соблюдается строгая логика. Если бы наши слова были созданы по какому-нибудь одному прямолинейному принципу, детские речения не казались бы нам такими забавными, они нередко «вернее» грамматики и «поправляют» ее.

Конечно, чтобы воспринять наш язык, ребенок в своем словотворчестве копирует взрослых. Дико было бы думать, что он в какой бы то ни было мере создает наш язык, изменяет его грамматический строй, его словарный состав.

Сам того не подозревая, он направляет все свои усилия к тому, чтобы путем аналогий усвоить созданное многими поколениями взрослых языковое богатство.

Но применяет он эти аналогии с таким мастерством, с такой чуткостью к смыслу и значению тех элементов, из которых слагается слово, что нельзя не восхищаться замечательной силой его сообразительности, внимания и памяти, проявляющейся в этой трудной повседневной работе.

Малейший оттенок каждой грамматической формы угадывается ребенком с налету, и, когда ему понадобится создать (или воссоздать в своей памяти) то или иное слово, он употребляет именно тот суффикс, именно то окончание, которые по сокровенным законам родного языка необходимы для данного оттенка мысли и образа.

Когда трехлетняя Нина впервые увидела в саду червяка, она зашептала в испуге:

– Мама, мама, какой ползук!

И этим окончанием ук великолепно выразила свое паническое отношение к чудовищу. Не ползеныш, не ползушка, не ползунчик, не ползатель, а непременно ползук! Конечно, этот ползук не изобретен ребенком. Тут подражание таким словам, как жук и паук. Но все же замечательно, что для данного корня маленький ребенок в один миг отыскал в своем арсенале разнообразных морфем именно ту, которая в данном случае наиболее пригодна.

Двухлетняя Джаночка, купаясь в ванне и заставляя свою куклу нырять, приговаривала:

– Вот притонула, а вот и вытонула!

Только глухонемой не заметит изысканной пластики и тонкого смысла этих двух слов. Притонуть не то что утонуть, это – утонуть на время, чтобы в конце концов вынырнуть.

А трехлетний Юра, помогая своей матери снарядить маленького Валю на прогулку, вытащил из-под кровати Валины ботинки, калоши, чулки и гамаши и, подавая, сказал:

– Вот и все Валино обувало!

Одним этим общим словом «обувало» он сразу обозначил все четыре предмета, которые имели отношение к обуви.

Так же выразительно великолепное слово брызгань, сочиненное пятилетним мальчишкой:

– Мы хорошо купались. Такую брызгань подняли!

Такое же чутье языка проявил тот деревенский ребенок пяти с половиною лет, который, услышав, что взрослые называют букварь учебником, и воображая, что в точности воспроизводит их термин, назвал эту книгу «учило»: очевидно, учило (как «точило», «молотило», «зубило»

и проч.) есть для него орудие ученья. А суффикс ник ускользнул от ребенка, так как никакой аналогии с «умывальником», «кустарником», «чайником» он в слове «учебник» не мог отыскать.

Другой ребенок, назвавший солонку сольницей, тоже был более чем прав: если вместилище чая – чайница, а вместилище сахара – сахарница, то вместилище соли никак не солонка, а сольница.

Здесь опять-таки речь ребенка совпадает с народной, ибо, оказывается, слово сольница так же широко распространено в деревнях, как пулять, картоха, оородеть и другие слова, которые у меня на глазах самостоятельно создавали трехлетние дети, воспитавшиеся вдали от влияний «простонародной» речи.

Кстати отмечу, что такие созданные ребенком слова, как «одуван», «сыроега», «смеяние», существуют кое-где и в народе[5].

Вообще мне кажется, что начиная с двух лет всякий ребенок становится на короткое время гениальным лингвистом, а потом, к пяти-шести годам, эту гениальность утрачивает. В восьмилетних детях ее уже нет и в помине, так как надобность в ней миновала: к этому возрасту ребенок уже полностью овладел основными богатствами родного языка. Если бы такое чутье к словесным формам не покидало ребенка по мере их освоения, он уже к десяти годам затмил бы любого из нас гибкостью и яркостью речи. Недаром Лев Толстой, обращаясь ко взрослым, писал:

«[Ребенок] сознает законы образования слов лучше вас, потому что никто так часто не выдумывает новых слов, как дети»[6].

Взять хотя бы слово «еще», принадлежащее к категории неизменяемых слов. Помимо глагола «ещёкать», о котором у нас речь впереди, ребенок умудрился произвести от слова «еще» существительное, которое и подчинил законам склонения имен.

Двухлетнюю Сашу спросили:

– Куда ты идешь?

– За песочком.

– Но ты уже принесла.

– Я иду за ещём.

Конечно, когда мы говорим о творческой силе ребенка, о его чуткости, о его речевой гениальности, мы, хотя и не считаем этих выражений гиперболами, все же не должны забывать, что (как уже сказано выше) общей основой всех названных качеств является подражание, так как всякое новое слово, создаваемое ребенком, творится им в соответствии с нормами, которые даны ему взрослыми.

Но копирует он взрослых не так просто (и не так послушно), как представляется иным наблюдателям. Ниже, в разделе «Анализ языкового наследия взрослых», будет приведено достаточное количество фактов, доказывающих, что в свое восприятие речи ребенок уже с двухлетнего возраста вносит критическую оценку, анализ, контроль.

Свои языковые и мыслительные навыки ребенок приобретает лишь в общении с другими людьми.

Только это общение и делает его человеком, то есть существом говорящим и думающим. Но если бы общение с другими людьми не выработало в нем на короткое время особую, повышенную чуткость к речевому материалу, который дают ему взрослые, он остался бы до конца своих дней в области родного языка иностранцем, бездушно повторяющим мертвые штампы учебников.

В старину мне случалось встречаться с детьми, которым по различным причинам (главным образом по прихоти богатых родителей) навязывали с младенческих лет словарь и строй чужого языка, чаще всего французского.

Эти несчастные дети, с самого начала оторванные от стихии родной речи, не владели ни своим, ни чужим языком. Их речь в обоих случаях была одинаково анемична, бескровна, мертвенна – именно потому, что в возрасте от двух до пяти их лишили возможности творчески осво-

[5] В.И.Даль, Толковый словарь, т. II, М. 1955, стр. 574 и т. IV, стр. 242, 376.

[6] Л.Н.Толстой, Полн. собр. соч., т. VIII, М. 1936, стр. 70.

ить ее.

Тот, кто в раннем детстве на пути к усвоению родной речи не создавал таких слов, как «ползук», «вытонуть», «притонуть», «тормозило» и т. д., никогда не станет полным хозяином своего языка.

Конечно, многие неологизмы ребенка нередко свидетельствуют лишь о его неспособности освоить на первых порах те или иные отклонения от норм грамматики, свойственные общепринятой речи. Иное «созданное» ребенком речение, кажущееся нам таким самобытным, возникло, в сущности, лишь потому, что ребенок слишком прямолинейно применяет к словам эти нормы, не догадываясь ни о каких исключениях. Все это так. И, однако, для меня несомненна огромная речевая одаренность ребенка.

Она заключается не только в классификации окончаний, приставок и суффиксов, которую он незаметно для себя самого производит в своем двухлетнем уме, но и в той угадке, с которой он при создании нового слова выбирает для подражания необходимый ему образец. Самое подражание является здесь творческим актом.

Еще К.Д.Ушинский писал:

«Невольно удивляетесь чутью, с которым он [ребенок. – К.Ч.] подметил необычайно тонкое различие между двумя словами, по-видимому, очень сходными… могло ли бы это быть, если бы ребенок, усваивая родной язык, не усваивал частицы той творческой силы, которая дала народу возможность создать язык? Посмотрите, с каким трудом приобретается иностранцем этот инстинкт чужого языка; да и приобретается ли когда-нибудь вполне? Лет двадцать проживет немец в России и не может приобресть даже тех познаний в языке, которые имеет трехлетнее дитя!»[7]

ВЕЛИЧАЙШИЙ ТРУЖЕНИК

Страшно подумать, какое огромное множество грамматических форм сыплется на бедную детскую голову, а ребенок как ни в чем не бывало ориентируется во всем этом хаосе, постоянно распределяя по рубрикам беспорядочные элементы услышанных слов и при этом даже не замечая своей колоссальной работы.

У взрослого лопнул бы череп, если бы ему пришлось в такое малое время усвоить то множество грамматических форм, которые так легко и свободно усваивает двухлетний лингвист. И если изумителен труд, выполняемый им в это время, еще изумительнее та беспримерная легкость, с которой он этот труд выполняет.

Поистине ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты, который, к счастью, даже не подозревает об этом.

Я только что сказал, что, по моим наблюдениям, к восьмилетнему возрасту у ребенка такое изощренное чутье языка притупляется. Но отсюда не следует, что его речевое развитие в какой бы то ни было мере терпит при этом ущерб. Напротив: лишившись недавней способности создавать те своеобразные словесные формы, о которых мы говорили, он сторицей возмещает утрату новыми ценными качествами своего языкового развития.

«В это время, – говорит профессор А.Н.Гвоздев, – ребенок уже в такой мере овладевает всей сложной системой грамматики, включая самые тонкие, действующие в русском языке закономерности синтаксического и морфологического порядка, а также твердое и безошибочное использование множества стоящих особняком единичных явлений, что усваиваемый русский язык становится для него действительно родным. И ребенок получает в нем совершенное орудие общения и мышления»[8].

Конечно, это так. В этом нельзя сомневаться. Лингвистическая работа ребенка переходит теперь на новые рельсы. Использовав результаты, добытые в предыдущий период, ребенок вооружается для более сложного и многообразного речевого общения.

Это очевидно для всякого, кто, например, с достаточным вниманием изучит умственные

[7] К.Д.Ушинский, Родное слово, Собр. соч., т. II, М. 1948, стр. 559.

[8] А.Н.Гвоздев, Вопросы изучения детской речи, М. 1961, стр. 466.

навыки школьников, недавно вышедших из дошкольного возраста.

Период словотворчества остался у них позади, но знание родного языка уже прочно завоевано ими. Теперь, на пороге школы, перед ними новая задача: осознать и осмыслить теоретически то, что в возрасте от двух до пяти они инстинктивно узнавали на практике. С этой труднейшей задачей справляются они превосходно, чего не могло бы случиться, если бы на восьмом году жизни их речевая одаренность угасла совсем.

Это справедливо, – но только отчасти. Незыблемым остается тот факт, что процесс овладения речью совершается наиболее быстрыми темпами именно в возрасте от двух до пяти. Именно в этот период в мозгу у ребенка производится наиболее интенсивная выработка генерализации грамматических отношений. Механизм этой выработки до такой степени целесообразен и мудр, что невольно назовешь «гениальным лингвистом» того малыша, ум которого в течение такого короткого времени систематизирует столько грамматических схем.

Уже давно установлено, что в возрасте около года запас слов у ребенка исчисляется единицами; к концу второго года достигает двухсот пятидесяти трехсот слов, а к концу третьего года доходит до тысячи, то есть сразу, всего в один год, ребенок утраивает свой словарный запас, после чего накопление слов происходит уже более медленно[9]. То же относится и к грамматическим формам, которыми овладевает в ту пору ребенок. Когда-то я попробовал сделать приблизительный подсчет этих форм. У меня их получилось не меньше семидесяти. И все эти «генерализаторы», образующиеся в мозгу у ребенка раз навсегда, на всю жизнь, возникают в наибольшем количестве в возрасте от трех до четырех, когда лингвистическая одаренность ребенка проявляется с особенной силой.

III. «НАРОДНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ»

Когда-то мне случилось подслушать несколько замечательных детских речений, где отчетливо сказался тот метод, при помощи которого ребенок незаметно для себя осмысляет нашу «взрослую» речь.

Трехлетняя Мура вбежала ко мне и сказала:

– Мама просит мазелин!

– Какой мазелин?

Оказалось, что ее послали принести вазелин. Но вазелин для нее мертвое слово, и вот по дороге из комнаты в комнату она незаметно для себя оживила и осмыслила его, так как в том заключается для нее существо вазелина, что это мазь, которой можно мазать.

Другой ребенок по той же причине назвал губную помаду – губная помаза.

Столь же удачно оживил и осмыслил непонятное слово мой знакомый Кирилл двух с половиною лет. Когда он был болен, он все время повторял:

– Положите мне на голову холодный мокресс!

Он смутно слыхал непонятное слово «компресс» и, думая, что повторяет его, нисколько не желая новаторствовать, создал новое, вполне соответствующее его разумению. Он как бы сказал себе: это мокрая тряпка, почему же она не мокресс? Ведь не знает младенец латинского слова «компрессио» (сжатие), от которого происходит «компресс».

Одна четырехлетняя девочка вместо слова «термометр» говорила то тепломер, то теплометр, бессознательно переводя это слово на русский язык и в то же время сохраняя его прежнюю видимость.

Другая вместо «петля» говорила цепля, будучи в твердой уверенности, что повторяет услышанное, а не творит нечто новое. Цепля – это куда выразительнее: то, чем цепляешь за крючок.

Такое же осмысление непонятного слова произвел тот ребенок, которому я показал бегающую по блюдечку ртуть:

– Дядя Чукоша принес нам вертутию!

Все засмеялись, но кто-то сказал:

---

[9] Эти цифры я заимствую из статьи А.П.Семеновой «Психологический анализ понимания аллегорий, метафор и сравнений». «Ученые записки Ленинградского педагогического института имени А.И.Герцена», т. 35, стр. 180.

– Что вы смеетесь? Ведь вертится. Значит, вертутия.

– Мама, я видел автомобиль с поднимающимся пузовом. (Великолепная интерпретация слова «кузов».)

Буся (неизвестного мне возраста) метко обозвал бормашину зубного врача больмашиной, причем любопытно, что дети из детского дома, которым пришлось побывать у дантиста, дали бормашине то же прозвище.

Здесь такая же – незаметная детям – полемика с нашим невыразительным (для детского понимания) словом, стремление к наивысшей его экспрессивности.

Характерно в этом отношении прелестное слово кусарик. Так Леля называла сухарик, который для ребенка ведь не сухостью своей примечателен, а именно тем, что его можно кусать. Какой же он сухарик? Он – кусарик.

А четырехлетняя Таня Иванова сказала:

– Возьми меня, мама, к вихрахеру.

– К вихрахеру?

Мать не без труда догадалась, что вихрахер – это парикмахер, который стрижет ей вихры.

В самом дело, для чего отмечать в языке такую деятельность наших брадобреев, которая большинству из них нынче несвойственна? Парики ушли из обихода в XVIII веке, и «делатели париков» сохранились теперь главным образом при театрах и клубах, остальные же превратились в вихрахеров, назначение которых заключается в том, чтобы подстригать нам вихры.

В большинстве случаев дети только к тому и стремятся, чтобы возможно точнее скопировать старших. Но, пытаясь воспроизвести во всей точности нашу «взрослую» речь, они бессознательно исправляют ее, причем, повторяю, изумительна та виртуозность, с которой, переменяя в услышанном слове один только звук, они заставляют это слово подчиниться их логике, их ощущению вещей.

– У мамы сердечко болело, и она пила болерьянку.

Словом, если ребенку незаметно прямое соответствие между функцией предмета и его названием, он исправляет название, подчеркивая в этом слове ту единственную функцию предмета, которую до поры до времени он успел разглядеть. Таким образом, мы убеждаемся снова и снова, что развитие речи ребенка являет собою единство подражания и творчества.

Едва только двухлетний Тараска узнал слово «молоток», он сделал из него колоток. Тронул в нем одну только «литеру», и в результате все слово оторвалось от своего прежнего корня и как ни в чем не бывало стало расти на другом. А что такое для ребенка молоток? Случайное сочетание звуков.

Ребенок бессознательно требует, чтобы в звуке был смысл, чтобы в слове был живой, осязаемый образ; а если этого нет, ребенок сам придаст непонятному слову желательные образ и смысл.

Вентилятор у него – вертилятор.

Паутина – паукина.

Пружинка – кружинка.

Милиционер – улиционер.

Буравчик – дырявчик.

Экскаватор – песковатор (потому что выгребает песок).

Рецепт – прицепт (потому что прицепляется к аптечной бутылке).

Всюду один и тот же метод осмысления услышанных слов путем непреднамеренной подмены минимального количества звуков. Услышав два стишка из «Мойдодыра»:

И сейчас же щетки, щетки
Затрещали, как трещотки…

моя трехлетняя дочь, никогда не слыхавшая слова «трещотка», попыталась осмыслить его при помощи такой трансформации:

И сейчас же щетки, щетки
Затрещали, как три тетки.

Еще забавнее поступила в подобном же случае четырехлетняя Наташа. Услышала она песню соседки:

Хоть ты сватай, хоть не сватай,
Все равно тебя люблю…

и спела ее на следующий день своей кукле:

Хоть ты с ватой, хоть без ваты,

Все равно тебя люблю.

ОСМЫСЛЕНИЕ РЕЧИ БЕССМЫСЛИЦЕЙ

Случается, что погоня за смыслом приводит ребенка к сугубой бессмыслице. Услышав, например, песню, которая начиналась словами:

Царь дрожащего творенья,

ребенок воспроизвел ее так:

Царь, дрожащий от варенья.

Дикое это словосочетание было для ребенка гораздо осмысленнее, чем то, которое он услышал от взрослых.

В одной персидской сказке царевна говорит жениху:

– Властелин души моей.

Услышала эту сказку трехлетняя Ира и пересказала восклицание царевны по-своему:

– Пластелин души моей.

Мать причесывает четырехлетнюю Люду и нечаянно дергает ее волосы гребнем. Люда хнычет, готова заплакать. Мать говорит в утешение:

– Терпи, казак, атаманом будешь!

Вечером Люда играет с куклой, причесывает ее и повторяет:

– Терпи, коза, а то мамой будешь!

Такое же влечение к смыслу, к наглядным словам и вещам сказалось в той великолепной бессмыслице, которую создал недавно один четырехлетний москвич.

Услышав от взрослых стихи:

Скакун лихой, ты господина

Из боя вынес, как стрела,

Но злая пуля осетина

Тебя во мраке догнала…

он сразу заучил их наизусть, причем последнее двустишие было им оформлено так:

Но злая рыба осетрина

Тебя во мраке догнала.

И здесь опять-таки эта бессмыслица для него гораздо более насыщена смыслом, чем то вполне осмысленное сочетание слов, которое дано ему взрослыми.

Четырехлетняя Галочка, услышав известную песенку «Любимый город в синей дымке тает», воспроизвела эти слова таким образом: «Любимый город, синий дым Китая».

А Дон-Кихота называла «Тонкий Кот».

Когда моя старшая сестра заучивала вслух стихотворение Пушкина:

Как ныне сбирается вещий Олег,

я, пятилетний мальчишка, понимал эту строчку по-своему:

Как ныне собирает свои вещи Олег.

У Батюшкова есть такая строка:

Шуми, шуми волнами, Рона!

Известный языковед Д.Н.Ушаков говорил на лекции студентам, что в детстве эта строка воспринималась им так:

Шуми, шуми, волна Мирона![10]

Как бы ни ошибался ребенок в истолковании некоторых слов и понятий, это не может опорочить целесообразнейший метод, при помощи которого он приходит к окончательному пониманию нашей речи.

Точно такое же словесное творчество можно наблюдать и в речи народа.

В лингвистике это ложное осмысление слов именуется «народной (или полународной) этимологией».

[10] Д.Н.Ушаков, Краткое введение в науку о языке, М. 1925, стр. 41–42.

Николаевские солдаты приспособили к своему пониманию иностранное слово «гошпиталь», придав ему ехидное прозвище «вошпиталь» (то есть питомник вшей).

Народное наименование пластыря – кластырь, бульвара – гульвар. Поликлинику в народе часто зовут полуклиникой, в отличие от клиники, то есть больницы.

Немецкое слово Profoss (так назывался когда-то военный полицейский служитель, исполнявший обязанности надзирателя и палача) изменилось в просторечии в прохвост[11].

Вспомним некрасовское:

– Как не понять! С медведями
Немало их шатается
Прохвостов и теперь.

Те древние египетские сфинксы, что стоят над Невой в Ленинграде перед Академией художеств, именовались в просторечии сфинками (то есть попросту свинками), что отмечено в одном из ранних стихотворений Некрасова:

Я мимо сфинок шел[12].

И в одном из рассказов Даля:

«…о набережной, на которой лежат две свинки огромные»[13].

Обыватели к этому народному творчеству всегда относились свысока, пренебрежительно.

В «Скверном анекдоте» Достоевского два чиновника высказывают это пренебрежение так:

«– Русский народ-с, по глупости, изменяет иногда литеры-с и выговаривает иногда по-своему-с. Например, говорят невалид, а надо бы сказать инвалид-с.

– Ну да… невалид, хе-хе-хе!»

Но, конечно, так поступает всякий живой и здоровый народ. Русский человек, хозяин своего языка, не потерпит, чтобы в этом языке звучали неживые слова, корня которых он не может понять и почувствовать. Ему нужно, чтобы в самом звуке был смысл. Каждое слово подчиняет он своей собственной логике, причем, стремясь к осмыслению слова, он тем самым русифицирует его.

Величайшим знатоком и любителем народной этимологии был, как известно, Лесков. Его герои то и дело говорили: клевотон (фельетон), мелкоскоп (микроскоп), долбица (таблица) умножения и т. д. Барометр превращался у них в буремотр, дезабилье – в безбелье. Французское слово «мораль» производили они от русского слова «марать»:

«– Пустили мараль на девку, – замарали ее доброе имя».

Сравните у Островского в «Поздней любви»: «Связываться с бабой, я так понимаю, мараль». И у Глеба Успенского в «Будке»: «От него на нас мараль идет».

У Куприна в «Поединке» французскую фамилию Дювернуа солдаты превратили в русскую Доверни-Нога. Известно, что иностранец Кос ван Дален сделался в России Козодавлевым.

В «Войне и мире» казаки переделали имя молодого француза Винсента в Весеннего, а мужики и солдаты – в Висеню. В обеих переделках это напоминание о весне сходилось с представлением о молодости:

– Эй, Висеня! Висеня! Весенний!

Так же поступает ребенок, превращая вентилятор в вертилятор, лопатку в копатку и молоток в колоток.

Путем минимального изменения в звуковой структуре непонятного слова ребенок, незаметно для себя, осмысляет его, причем в этой новой редакции выдвигаются существеннейшие (с точки зрения ребенка) качества того предмета, который данным словом обозначен.

Так, Адик Павлов называл Серафиму Михайловну Сахарина Михайловна, а маленькая Ира, подметив, что запонки являются исключительной принадлежностью папы, переименовала их в папонки:

– Папочка, покажи твои папонки!

Слюнка, например, у детей превращается в плюнку:

---

[11] В.В.Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв., М. 1938, стр. 52.

[12] Н.А.Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. I, М. 1948, стр. 365.

[13] В.И.Даль, Повести. Рассказы. Очерки. Сказки, М.-Л. 1961, стр. 56 и 448.

– Потому что мы не слюем, а плюем.

Язык они называют лизык, и мне сообщают о Нине Гуляевой, которая достигла семилетнего возраста, а все еще не могла примириться с нашим взрослым «искажением» формы лизык:

– Как же так! Лизать – и вдруг не лизык, а язык!

По-украински язык у волов и коров так и называется лизень.

Ребенок и представить себе не может, чтобы взрослые создали слово, в звуке которого нет характеристики функций обозначенного этим словом предмета. Тополь должен топать, орел – орать, а радуга – радовать:

– Почему это – радуга? Потому что она радуется, да?

До сих пор, насколько мне известно, эти языковые процессы были замечены исследователями только у взрослых. Но вот, оказывается, и в речи детей они занимают не последнее место, ибо нет никакой существенной разницы между вертилятором и мелкоскопом, между вертутией и сфинкой.

IV. ДЕЙСТВЕННОСТЬ

И заметьте, как действенны эти ребячьи слова. В большинстве случаев они изображают предметы исключительно со стороны их действия.

Строганок – это то, чем строгают,
Копатка – это то, чем копают.
Колоток – это то, чем колотят.
Цепля – это то, чем цепляют.
Вертутия – это то, что вертится.
Лизык – это то, что лижет.
Мазелин – это то, чем мажут.
Кусарик – это то, что кусают.

Здесь нет ни единого слова, которое не было бы связано с движением, с динамикой.

Всюду выдвинута на первое место действенная функция предмета.

Трехлетний ребенок уверен, что почти каждая вещь существует для того или иного точно определенного действия и вне этого действия не может быть понята.

В существительном ребенок ощущает скрытую энергию глагола.

Вы только всмотритесь, с каким напряженным вниманием глядит годовалый младенец на автомобили, мотоциклы, трамваи, следя за их непрерывным движением.

Почти все исправления, вносимые ребенком в нашу «взрослую» речь, заключаются именно в том, что он выдвигает на первое место динамику.

В «народной этимологии» взрослых это происходит не так часто, потому что взрослые подмечают в словах и другие особенности. Русские крестьяне из клироса делали крылос (от слова «крыло»), Хамильтона превращали в Хомутова, то есть оперировали и существительными, а «народная этимология» детей почти всегда обнаруживает в названии предметов глагол.

Но, конечно, и детям порою случается выдвигать в названии предмета не глагол, а имя существительное или – очень редко – прилагательное.

Мне сообщают о пятилетнем Гаврюше, который ботанику называл цветаника (его отец был директором ботанического сада), а ватрушку – творушка (от слова «творог»); и я знаю Мусю, которая называла нафталин муфталином, так как была уверена, что нафталин существует специально для маминой муфты.

Впрочем, таких словообразований не много. Большинство детских слов, входящих в область «народной этимологии», связано с глагольными формами.

Так велико у детей тяготение к глаголу, что им буквально не хватает глаголов, существующих во «взрослом» языке. Приходится создавать свои собственные.

Нет, кажется, такого существительного, которое ребенок не превратил бы в глагол:

– Часы часикают.

– Вся елка обсвечкана! Вся елка обсвечкана!

Брат трехлетней Нины играет на балалайке. Нина страдальчески морщится:

– Не балалай, пожалуйста!

Ребенок создает такие глаголы десятками – гораздо чаще, чем мы.

Прищемив себе руку дверью, ребенок кричит:

– Ай, я задверил руку!

И пусть родителей коробит это смелое производство глагола, ребенок считает его совершенно нормальным.

– Отскорлупай мне яйцо.

– Замолоточь этот гвоздик.

– Бумага откнопкалась.

– Я защёкала свою карамельку!

– Ого-го, как ладошкаются!

– Ой, меня крапива накрапивила!

– Я намакаронился.

– Я уже начаёпился.

И даже:

– Мы почайпили кофе.

Иногда оглаголивается даже наречие.

– Расширокайтесь!.. Расширокайтесь! – кричала своим гостям четырехлетняя девочка, требуя, чтобы они расступились.

В глагол превращается даже слово «еще»:

– Покачайте меня на качелях, только я не сойду, а буду все ещёкать и ещёкать[14].

Глаголом может стать даже междометие алло:

– Папа алёкает по телефону.

Сережа прижался к маме, она обняла его.

– Весь обмамился! – хвалится он.

Это приводит к экономии речи. Вместо того чтобы отмахиваться от назойливых мух, Аркашка предпочитает отмухиваться:

– Я сижу и отмухиваюсь. Сижу и отмухиваюсь.

Нет таких слов, которые ребенок не превратил бы в глаголы:

– Идем покойночиться с папой и мамой.

Даже муфта приобретает у него глагольную форму:

– Ой, мама, зачем ты меня так замуфтала?

Словом, на каждом шагу обнаруживается, что наших глаголов детям недостаточно. Им требуется больше, чем мы можем им дать, хотя дать мы можем вообще немало, так как наш язык чрезвычайно богат глаголами, произведенными от имен существительных. От слова цыган русские люди произвели глагол выцыганить, от слова Кузьма – подкузьмить, от слова Егор – объегорить, от слова черт – чертыхаться, осточертеть. И вот еще подобные глаголы, происшедшие от имен существительных:

остолбенеть – от слова столб,
обезьянничать – от слова обезьяна,
разбойничать – от слова разбойник,
приземляться – от слова земля,
прилуняться – от слова луна.

И от имен прилагательных:

богатеть – от слова богатый,
хорошеть – от слова хороший.

И от междометий:

хихикать, кукарекать, мяукать[15].

Так что ребенок и здесь поступает в полном соответствии с исконными нормами родного языка. Самые смелые и причудливые из новообразований ребенка и в данном случае не выходят

[14] Кстати отмечу, что слово «ещёкать» по своей структуре вполне соответствует «взрослому» глаголу «бисировать», произведенному от латинского «бис» (bis).

[15] Ср. В.В.Виноградов, Русский язык (глава «Система глагольного словообразования»), М.-Л. 1947, стр. 433–437.

за рамки общенациональных языковых традиций.

Замечательно, что детские глаголы типа отскорлупать, намакалроиться создаются по такой же схеме, по какой наши великие писатели, художники слова, пытались в свое время создать новые формы глаголов.

Державин сочинил глагол ручьиться (от слова «ручей»), Жуковский обезмышить, Кольцов – пилатить, Гоголь – обыностраниться, омноголюдеть, оравнодушеть, Гончаров – байронствовать, Щедрин – душедрянствовать, умонелепствовать.

Порою такие неологизмы создавались для выражения иронии, когда автор и сам сознавал всю нарочитую несуразность сочиненного слова.

Таково, например, двустишие, которое приписывалось Пушкину:

Я влюблен, я очарован,

Словом, я огончарован.

Таковы почти все новые глаголы, которые вводил в свою речь Достоевский: афонить (от названия горы Афон), фонзонить (от фамилии Фонзон), апельсинничать, лимонничать, амбициозничать, белоручничать, подробничать и проч. Все – за исключением двух: джентльменничать и стушеваться.

Только эти два и удержались у нас в языке. Большинство же промелькнуло и забылось, как, например, герценовский глагол магдалиниться.

– Магдалинится молодой человек.

(От имени кающейся грешницы Магдалины.)

Таковы же у Чехова: тараканить, этикетничать, пересобачиться, каверзить, окошкодохлиться, размокропогодиться.

В «Воспоминаниях» Кони:

«Он выпивши был – у нас престольный праздник, ну он и напрестолился».

Чуя эти языковые законы, четырехлетний лингвист говорит:

– Наседка оцыплятилась!

Все это слова-экспромты, слова-однодневки, которые и не притязали на то, чтобы внедриться в язык, войти в общий речевой обиход, сделаться универсально пригодными. Созданные для данного случая, они чаще всего культивировались в домашних разговорах, в частных письмах, в шуточных стихах и умирали тотчас же после своего появления на свет.

Бывали такие периоды в истории языка, когда этот процесс образования глаголов (главным образом от имен существительных) как будто затихал на много лет, но потом внезапно становился необычайно активным и приобретал очень широкий размах. Так случилось, например, в тот период, когда творил Маяковский, щедро вводивший в свою поэзию такие слова, как обезночить, миллионить, вихрить, нудить, июлить, мандалинить, выфрантить, выгрустить…

Конечно, это не было личным его произволом: такие литературные новшества были отражением того, что совершалось в быту, потому что в ту эпоху и разговорная речь изобиловала такими словами:

– Ах, как я закастрюлилась!

– Он подфамилил бумагу…

– Как вам не стыдно мешочничать!

– Закомиссарился молодой человек!

Недаром незадолго до этого Хлебников оперировал такими словами, как чингисханить, моцартить, а Игорь Северянин вводил в свои стихотворения такие глаголы, произведенные от имен существительных, как осупружиться, окалошить, опроборить, офрачиться, онездешниться, наструниться и проч., и проч., и проч.

В смокингах, в шик опроборенные,

великосветские олухи

В княжьей гостиной наструнились,

лица свои оглупив.

Читатели охотно принимали тогда подобные словесные новшества, ибо новшества эти были в духе эпохи: в бытовой, разговорной речи происходил тогда тот же процесс усиленного оглаголивания имен существительных. Тогда же создалась такая песня:

Чай пила,

Баранки ела,

Самоварничала.

Потом (приблизительно к середине 30-х годов) этот процесс заглох, хотя и теперь мой знакомый слышал в поезде своими ушами:

– Проводница пылесосничает.

В речи ребенка такой периодизации нет. Каждое новое поколение детей всегда создает снова и снова великое множество подобных глаголов, не замечая своего языкового новаторства. Активность оглаголивания имен существительных снижается у них лишь по мере того, как они выходят из дошкольного возраста. Как близко примыкают создаваемые ими глагольные формы к тем формам, которые созданы и создаются народом, видно, например, из слова раскулачить. Впервые я услыхал это слово полвека назад – даже раньше. Гай, внучонок И.Е.Репина, крепко сжал свой кулачишко и сказал:

– Ну-ка, раскулачь мои пальцы!

В те времена такого слова еще не существовало в народе, так как раскулачивание (в нынешнем значении этого термина) еще не стало историческим фактом. Для того чтобы ребенок мог заранее – так сказать, наперед – сконструировать то самое слово, которое лет двадцать спустя было создано народными массами, нужно, чтобы он в совершенстве владел теми же приемами построения слов, которые выработал в течение тысячелетий народ.

V. ЗАВОЕВАНИЕ ГРАММАТИКИ ЗА-ВЫ-НА-РАС-ОБ

– Смотри, как налужил дождь!

– Ой, какой пузырь я выпузырила!

– Дай мне распакетить пакеты.

– На тебе кочергу, покочергай.

– Собака пасть разинула, а потом зазинула.

– Ах, как обснегилась улица!

– Видишь, как я хорошо приудобился.

– Погоди, я еще не отсонилась.

– Мама сердится, но быстро удобряется.

– Весь мост залошадило.

– На что это ты так углазилась?

В этих глаголах меня особенно восхищают приставки, виртуозно придающие каждому слову именно тот оттенок экспрессии, какой придает им народ.

Они показывают, как чудесно ощущает ребенок назначение этих маленьких за, вы, у, на, рас, об и т. д. Углазиться, выпузырить, распакетить, задверить, натабачить, приудобиться, обснегиться – здесь ребенок никогда не ошибется. Он уже в два с половиною года великолепно распоряжается всеми префиксами.

Когда Юрику Б. не понравилось, что за ужином его мать посолила яйцо, он закричал:

– Высоли обратно!

А другой мальчишка, долго корпевший над каким-то бумажным изделием, вдруг проговорил, торжествуя:

– Трудился, трудился, и вытрудил пароходик!

Таких примеров можно привести очень много:

– Никак не могу распонять, что нарисовано на этой картинке.

– Я помнил, помнил, а потом отпомнил.

– Мама, отпачкай мне руку!

– Заразился, а потом отразился (выздоровел).

– Папа, уже расгащивается! – крикнула отцу пятилетняя дочь, когда гости, пришедшие к матери, стали понемногу расходиться.

Расгащивается! Одним этим смелым, внезапно сотворенным глаголом она обнаружила такое гениальное чутье языка, какому мог бы позавидовать и Гоголь.

Все эти приставки придают русской речи столько богатейших оттенков. Чудесная ее выразительность в значительной мере зависит от них. Прикурить, закурить, выкурить, раскурить, накурить, обкурить, прокурить, перекур – в этом разнообразии приставок таится разнообразие смыслов.

И разве не изумительно, что ребенок уже на третьем году своей жизни вполне овладевает всем этим обширным арсеналом приставок и великолепно угадывает значение каждой из них. Взрослый иностранец, хотя бы он изучал наш язык много лет, никогда не достигнет такой виртуозности в обращении с этими частицами слов, какую проявляет двухлетний ребенок, бессознательно воспринимающий от предков систему их языкового мышления.

Эту виртуозность, как мы только что видели, обнаружила двухлетняя Джаночка, когда она сказала свою бессмертную фразу про куклу:

– Вот притонула, а вот и вытонула!

Ни в чем не сказывается с такой очевидностью лингвистическая чуткость и одаренность ребенка, как именно в том, что он так рано постигает все многообразные функции, выполняемые в родном языке каждой из этих мелких и незаметных частиц.

Ребенок впервые очутился на даче. На соседних дачах и справа и слева лают весь вечер собаки. Он с удивлением спрашивает:

– Что это там за перелай такой?

Этот перелай (по аналогии со словами перекличка, переписка, перебранка, перепляс, перезвон) отлично изобразил то явление, которое подметил ребенок: прерывистость и «обоюдность» собачьего лая. Чтобы объяснить «перелай» иностранцу, пришлось бы прибегнуть к такой многословной описательной речи: лают две собаки (или больше) с двух противоположных сторон, причем не сразу, а попеременно – едва умолкает одна, тотчас же принимается лаять другая: перелай.

Вот сколько понадобилось бы слов, чтобы выразить то, что ребенок высказал единственным словом с короткой приставкой.

Сравни у Маяковского:

Это, Кися, не «переписка»!
Это только всего переПИСК[16].

ЛЬЗЯ И НЕЛЬЗЯ

Любопытная особенность детских приставок: они никогда не срастаются с корнем. Ребенок отрывает их от корня и легче и чаще, чем взрослые. Он, например, говорит:

– Я сперва боялся трамвая, а потом вык, вык и привык.

Он не сомневается в том, что если есть «привык», то должно быть и «вык».

То же и с частицами отрицания.

Скажешь, например, малышу: «Ах, какой ты невежа!», а он: «Нет, папочка, я вежа, я вежа!» Или: «Ты такой неряха», а он: «Ладно, я буду ряха!»

Бабушка Ани Кокуш сказала ей с горьким упреком:

– Ты недотёпа.

Аня со слезами:

– Нет, дотёпа, дотёпа!

И вот восклицание Мити Толстого перед клеткой зоосада:

– Ай, какие обезьяны уклюжие![17]

У взрослых отрицание не чаще всего прирастает к корням. Я впервые подумал об этом, когда услышал такой разговор малышей:

– Не плачь, он ударил нечаянно.

– Нет, чаянно, чаянно, я знаю, что чаянно!

Есть целая категория слов, не существующих во «взрослом» языке без отрицания. Таково, например, слово ожиданный. Без приросшего к нему отрицания оно в новейшей литературе уже не встречается. Стандартной формой стало: «неожиданный», но в прежнее время мы то и дело читали:

«Ожиданное скоро сбылось…» (Щедрин).

---

[16] «Литературное наследство», т. 65, М. 1958, стр. 129.

[17] Ср. у Полежаева: «И уклюжистые бары» (А.И.Полежаев, Стихотворения, М. 1933, стр. 323) и у Игоря Северянина: «Ты послушай меня, мой уклюжий…»

«Вместо ожиданной знакомой равнины…» (Тургенев).

Некрасов в 1870 году ввел это слово в поэму «Дедушка»:

Вот наконец приезжает
Долго ожиданный дед,

но в первом же издании той книги, где была вторично напечатана эта поэма, счел необходимым изменить всю строку:

Вот наконец приезжает
Этот таинственный дед[18].

Дети не одобрили бы этой поправки. Ибо слово «ожиданный» живо для них и сейчас.

Лет двадцать назад я подслушал такой диалог:

– Отстань, я тебя ненавижу.

– Я тебя тоже не очень навижу.

И то же самое довелось мне услышать недавно:

– Мама, я не могу навидеть пенки[19].

Словом, дети и знать не желают этого нерасторжимого сращения приставки и корня; и попробуйте скажите трехлетнему Юре, что он говорит нелепости, он запальчиво ответит: «Нет, лепости!»

Вообще всякое «не» обижает детей:

– Ненаглядная ты моя!

– Нет, наглядная!

Я сказал на Кавказе двухлетнему загорелому малышу:

– Ух, какой ты стал негритенок.

– Нет, я гритенок, гритенок.

Неустанно вникая в структуру всякого сложного слова, дети часто воскрешают в своих речах то далекое прошлое, когда еще не наблюдалось такого сращения служебных частиц и корней. От слова «лепости» так и пахнуло стариной, когда лепым называлось ладное, гармоничное, стройное.

Вспомним: «Не лепо ли ны бяшеть, братие» в «Слове о полку Игореве», а также: «У людей-то в дому чистота, лепота» – в «Песнях» Некрасова (1866).

Другое старинное слово я слышал от детей много раз, когда говорил им «нельзя». Они отвечали: «Нет, льзя». И это льзя напоминало Державина:

Льзя ли розой не назвать?

Льзя, лепый, вежа, чаянно – эти старинные слова умерли лет полтораста назад, и ребенок, не подозревая об этом, воскрешает их лишь потому, что ему неизвестна их неразрывная спайка с частицей «не», установившаяся в давней традиции. Он вообще не знает никаких исключений из общего правила, и если эти исключения относятся к позднейшей эпохе, то, игнорируя их, он тем самым возвращает словам их забытый смысл. Помню возглас одного четырехлетнего воина:

– Я пленил Гаврюшку, а он убежал!

Пленил, то есть взял в плен.

Это архаическое слово почти совсем забыто в нашей речи, и если мы употребляем его, то чаще всего в переносном смысле («она пленила меня красотой»), а ребенок вернул ему его прямое значение, оглаголив существительное «плен».

Таким же архаистом поневоле оказался малыш, закричавший своему брату во время игры:

– Я тебе приказываю, – значит, я твой приказчик!

В старину приказчиком был действительно тот, кто приказывал, а не тот, кто подчинялся приказам. Ребенок – по аналогии со словами «указчик», «заказчик» – возвратил «приказчику» его утраченную руководящую роль.

ОН И ОНА

[18] Н.А.Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. III, М. 1949, стр. 8 и 422.

[19] То же и в неизданном дневнике Ф.Вигдоровой: «Мама, ты нас ненавидишь, а мне надо, чтобы ты нас навидела». Там же есть слово «чаянно».

Замечательна чуткость ребенка к родовым окончаниям слов. Здесь он особенно часто вносит коррективы в нашу речь.

– Что ты ползешь, как черепаха? – говорю я трехлетнему мальчику.

Но он уже в три года постиг, что мужскому роду не пристало иметь женское окончание «а»:

– Я не черепаха, а я черепах.

Вера Фонберг пишет мне из Новороссийска о следующем разговоре со своим четырехлетним сыном:

– Мама, баран – он?

– Он.

– Овца – она?

– Она.

– А почему папа – он? Надо бы пап, а не папа.

Другой такой же грамматический протест:

– Мама, у меня на пальце царап!

– Не царап, а царапина.

– Это у Муси если, – царапина, а я мальчик! У меня царап!

От четырехлетней Наташи Жуховецкой я слышал:

– Пшеница – мама, а пшено – ее деточка.

О такой же классификации родовых окончаний, произведенной одним дошкольником, мне сообщают из Вологды:

– Синица – тетенька, а дяденька – синиц.

– Женщина – русалка. Мужчина – русал.

Начинают играть:

– Я буду барыня, ты, Таня, слуга, а Вова будет слуг.

Позже, к семилетнему возрасту, дети начинают подмечать с удивлением, что в русской грамматике слова одной и той же категории бывают и мужского и женского рода:

– Мам! Москва – она, и Пенза – она. Ростов – он, Смоленск – он[20].

Когда отец Алены Полежаевой укоризненно сказал ей: «Ляля – бяка», она тотчас же от этого женского рода образовала мужской:

– Папа – бяк! Папа – бяк! Папа – бяк!

– Папа, ты мужчин! – говорит Наташа Маловицкая, так как с окончанием а у нее связано представление о женщинах. Это представление в некоторой степени свойственно также взрослым. Недаром в народе говорят: «с мальчишкой», «с дедушкой».

Трехлетний Вова играет в уголке:

– Бедный ты зайчонок… Тебя пьяниц сбил…

Очевидно, для его языкового сознания только женщина может быть пьяницей.

«КЛЕВАЧИЙ ПЕТУХ»

На предыдущих страницах мы говорили главным образом о той любопытной структуре, которую малолетние дети придают глаголам и существительным. Имена прилагательные сравнительно редко встречаются в речи детей. Но даже в том небольшом их числе, которое удалось мне собрать в течение очень долгого времени, тоже явственно выразилось присущее детям чутье языка:

– Червячее яблоко.

– Жмутные туфли.

– Взбеситая лошадь.

– Дочкастая мамаша.

– Зоопарченный сторож.

– Гроз и тельный палец.

– Пугательные сказки.

[20] А.Н.Гвоздев, Вопросы изучения детской речи, М. 1961, стр. 330.

– Сверкастенький камушек.
– Молоконная кастрюля.
– Какой окошный дом!
– Какой песок песучий!
– Вся кровать у меня крошкинная.
– Что ты мне даешь слепитые конфеты?
– Зубовный врач.
– У нас электричество тухлое.
– Жульничная я, все равно как мальчишка.
– Брызгучая вода.
– Насмарканный платок.
– Лопнутая бутылка.
– Ты, мама, у меня лучшевсехная!
– Это рыбижирная ложка?
– Я не хочу эту сумку: она вся дыркатая.
– Этот дом высокей нашей почты.
– Почему у ящерицы людины пальцы?
– Наше радио очень оручее.
– Уж лучше я непокушанная пойду гулять.
– Исчезлая собака.
– Клевачий петух.
– Раздавитая муха.
– Креслые ноги.
– Махучий хвост.

(Несколько иначе у Чехова: «насекомая коллекция».)

Галочка четырех лет похваляется:

– Говорят: надень чулки – надеваю носки! Говорят надень носки надеваю чулки. Я вообще наоборотливая.

Мальчик услышал, как некая купальщица сказала на пляже:

– Я прямо с ума сошла. Купаюсь четвертый раз.

И спросил у матери часа через два:

– Куда она ушла, сумасошлатая?

Четырехлетняя Майя:

– Лес заблудительный, однойнельзяходительный.

Несмотря на всю свою причудливость, почти каждое из этих прилагательных, изобретенных малым ребенком, соответствует духу русской народной речи, и не было бы ничего удивительного, если бы в каком-нибудь из славянских языков оказались такие слова, как «червячее яблоко» или «заблудительный лес».

СКРЕЩИВАНИЕ СЛОВ

Из созданных ребенком прилагательных мне особенно пришлось по душе слово «блистенький»:

– Моя чашка такая блистенькая (блестящая и чистенькая сразу).

Блистенький – синтетическое слово. В нем слиты два разных слова, корни которых созвучны. Таково же услышанное мною недавно: бронемецкая машина.

Замечу кстати, что такое скрещение двух разных корней наблюдается не только в прилагательных. Например:

– Я поломою (мою полы).
– Где же твоя волосетка? (сетка для волос).
– Я безумительно люблю кисанек! (безумно плюс изумительно).

К этой же категории относится слово переводинки – переводные картинки.

Недавно мне сообщили о маленьком Юре, которого взрослые назойливо спрашивали:

– Чей ты сын?

Вначале он всякий раз отвечал:

– Мамин и папин!

Но потом это ему надоело, и он создал более краткую формулу:

– Мапин!

– Смотри, какая жукашечка ползет! (жук плюс букашечка).

– Давай сделаем из снега кучело! (куча плюс чучело).

Примеряет бескозырку:

– Шапка с морякорем (моряк плюс якорь).

Кира, лет двенадцати, крикнула:

– Мама, дай мне, пожалуйста, луксусу!

Я не понял, чего она хочет.

– Луксус – это лук с уксусом, – пояснила мне Кирина мать. – Кира, когда была маленькая, так быстро произносила «лук с уксусом», что у нее получался «луксус». Слово это осталось в нашей семье навсегда.

Владимир Глоцер в детстве кого-то обозвал подхализой (подхалим плюс подлиза).

Трехлетняя Таня Дубинюк:

– У моего папы тоже такой пиджакет (пиджак плюс жакет).

И вот гибрид паука с тараканом:

– Мама, я боюсь, на полу паукан!

Луксус, мапин, пиджакет, паукан, подхализа, волосетка, безумительно, блистенький – подобные составные слова создаются не только детьми. И.Е.Репин в своей книге «Далекое близкое» выразился, например, о газетных писаках, что они «шавкали из подворотни». Это была обмолвка. На самом деле он хотел написать «тявкали, как шавки», – но слово «шавкали» так выразительно, что отказаться от него было жалко, и я как редактор книги свято сохраняю его в репинском тексте.

Когда два схожих слова вклиниваются одно в другое так, что в результате получается новое, состоящее из двух приблизительно равных частей, это слово называется гибридным. Примером такого гибрида может служить слово драмедия (драма + комедия); слово это придумал один из друзей Чарли Чаплина, стремившийся охарактеризовать те своеобразные киноспектакли, которые созданы гениальным актером.

«Его комедии балансируют на грани трагедии. Для этого подходящее название – драмедия»[21].

Таким же гибридом является другое английское слово смог, сложенное из двух слов: смок – то есть дым, и фог – туман.

«Смог, – говорит Сергей Образцов, – непроницаемый, рыжий, отравленный углеродом холодный пар»[22].

Слово это возникло давно: оно встречается в английской газете «Daily News» уже в 1905 году. Знаменитый английский писатель Льюиз Керролл, автор «Алисы в стране чудес», очень любил сочинять такие составные слова и называл их «слова-чемоданы»[23].

По своей структуре эти «взрослые» слова-чемоданы – драмедия, смог и шавкали – ничем не отличаются от детских волосеток, пауканов и луксусов.

ТИПИЧНЫЕ «ОШИБКИ» ДЕТЕЙ

Среди детских местоимений особенным своеобразием отличаются притяжательные:

– Это чьиная мама? Ихинная?

– Это ктойтина шляпа?

– Это ктошина девочка?

– Тетя Нина, а Волга кавонина?

Слово «чья» приходит сравнительно поздно.

---

[21] Чарльз Чаплин-младший, Мой отец Чарли Чаплин, «Иностранная литература», 1961, № 7, стр. 150.

[22] С.Образцов, О том, что я увидел, узнал и понял во время двух поездок в Лондон, М. 1937, стр. 174–175.

[23] «Вопросы языкознания», 1961, № 4, стр. 141–142.

Местоимения указательные нередко чудятся детям даже там, где их нет. Я, например, в раннем детстве был уверен, что этажерка – два слова: эта жерка.

И говорил: «на этой жерке», «под этой жеркой» и проч. Теперь я убедился, что такую же ошибку совершают очень многие дети, чуть услышат слово «этажерка».

Писатель Юрий Олеша сообщил мне, что пятилетний Игорь Россинский наряду с «этой жеркой» ввел форму «та жерка». А другой пятилетний говорил: «та буретка» и «эта буретка».

Труднее всего малым детям даются капризные неправильные формы глаголов:

– Мой папа воевает.

– Не воевает – войнует.

Или:

– Лампа уже зажгита.

– Зачем ты говоришь «зажгита»? Надо говорить: «зажгина»!

– Ну вот, «зажгина»! Зажгёна!

Иногда этот лингвистический спор принимает форму монолога. Мальчик, спавший в одной комнате со мною, тихо говорил сам себе, уверенный, что я его не слышу:

– Мы сплям?

– Но…

– Мы сплим?

– Не…

– Мы сплюм?

– Не…

Так и не дошел до формы: спим.

Вообще неправильными глаголами дети распоряжаются так, словно это глаголы правильные, и с математической точностью от одной формы производят по аналогии все прочие:

– Рыбка оживела.

– Бабушка меня скипидаром потрила.

– Ты не дадошь, а я взяму.

– Я вам зададу, подождите.

– Нарисовай мне барбоса.

– Спей мне песню о глупом мышонке.

– Котя Ляльку колотил, Ляля громко визгала.

– Когда дети входят в комнату, их наслаждают конфетами.

– Ты чувствуешь, как теплый глаз к твоему уху прижмался?

– Верка плювается.

– Укладила куклу спать.

– Я как только лягну, так и вижу сон.

Любопытно, что большинство изъявительных форм произведено здесь механически от повелительных: лягну от ляг, зажмила от зажми, потрила от потри, принесила от принеси.

– Юрик меня поцелул.

А повелительные столь же прямолинейно производятся от неопределенного: спей, нарисовай, причесай.

– Я искаю револьвер. – Она драется.

Впрочем, дети по инерции могут создать из любой глагольной формы любую глагольную форму.

– Наташа, идем в столовую.

– Не хочу идёмить в столовую.

И вот еще более яркий пример: повелительное наклонение глагола, произведенное от восклицания, не имеющего к глаголам никакого касательства:

– Боже мой! Боже мой! – ужасается бабушка, увидев, как измазался в глине ее четырехлетний Володя.

Володе не нравятся ее причитания.

– Пожалуйста, не божемойкай! – говорит он сердито.

С.Изумрудова сообщила мне такой замечательный разговор двух четырехлетних девиц:

– А я твоего петушка спря-та-ю (очень протяжно).

– А я отыскаю.

– А ты не отыскаешь.

– Ну, тогда я сядаю и заплакаю.

– Ты же пил чай.

– Да не пил я. Я только пивнул капельку.

– Стрелка на часах ходнула разок.

– Он, как больнуло живот!

– Я только немножко откуснул от пирожка.

– Пойдем в этот лес заблуждаться… Да что ты от меня все ухаживаешь?

Деревенской девочке сказали, что мы собираемся в лес; она спросила:

– Всколькером?

Это слово так очаровало меня, что, признаться, в первую минуту я даже подумал: ввести бы его в нашу «взрослую» речь. Нам его давно не хватает. Изволь говорить: «В каком числе человек вы собираетесь в лес?», когда можно коротко и прямо сказать: «Всколькером?»

Здесь ребенок (тоже вполне самостоятельно) подошел к самым истокам народной речи, ибо в народе на Севере бытует форма «сколькеро», которая по аналогии с «пятеро», «шестеро» относится исключительно к одушевленным предметам[24].

Вообще для ребенка пластичны даже такие слова, форма которых, по убеждению взрослых, не подлежит изменениям. Интересны формы сравнительной степени, образованные от таких слов, как едва, нельзя, звезда, утро, никогда не знавших этой формы.

Воспитательница детского сада сказала, например, об одном из питомцев:

– Бедный мальчик, он едва идет!

– Подумаешь! – ревниво отозвался другой. – Я, может быть, иду еще едвее!

Девочкам дали по белой кувшинке:

Оля. Смотри, у меня как звездочка!

Катя. А у меня еще звездее!

– Вставай, уже утро!

– Я буду ждать, когда станет утрее.

– За это нельзя браться, а за это еще нельзей, да?

Благодаря многократным и единообразным воздействиям речи, которую ребенок с утра до вечера слышит от всех окружающих, в уме у него создаются соответствующие грамматические обобщения; сам того не замечая, он умело и тонко применяет их к каждому данному случаю.

Возьмем хотя бы только что приведенное слово «пивнул». Конечно, ребенок не выдумал этого слова: суффикс ну, означающий мгновенность, однократность, законченность действия, подсказан ребенку взрослыми, от которых он, несомненно, слыхал «чихнул», «хлебнул», «глотнул», «повернул», «заглянул» и т. д. Да и самое слово «пивнул» существует в наших диалектах. Но ребенок его никогда не слыхал, и то обстоятельство, что он в совершенстве постиг сложную экспрессию суффикса ну и так удачно применил свое обобщение к одному из тех слов, которым в обычной «взрослой» речи этот суффикс не свойствен, говорит о самостоятельной конструктивной работе ребенка.

– У меня развязнулся шнурок.

– У мамы коса расплетнулась!

Особенно выразительно звучит у детей суффикс ну в тех глаголах, в которые он не допускается взрослыми. Это видно из такого, например, диалога:

Кира. Мама, Лена кривляется!

Лена. Неправда!

Кира. А кто сейчас кривнулся?

Или вспомним такие слова, как «ихинная», «кавонина», «ктойтина», «сумасошлатая» и т. д.

Хотя они построены по готовым моделям, но самый выбор именно той модели, которая наиболее пригодна для каждого данного случая, никоим образом нельзя свести к механическому подражанию.

VI. АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОГО НАСЛЕДИЯ ВЗРОСЛЫХ КРИТИК И БУНТАРЬ

[24] Ел. Тагер, Зимний берег, М. 1957, стр. 46, «Сколькеро [горностаев] увернулись».

К сожалению, у нас все еще не перевелись теоретики, которые продолжают твердить, будто ребенок, как автомат, без раздумья, послушно копирует нашу «взрослую» речь, не внося в нее никакого анализа.

Эта неправда декларируется даже в научных статьях – именно декларируется, потому что доказать ее никак невозможно. Стоит только внимательнее приглядеться к языковому развитию детей, чтобы стало ясно, что подражание у них сочетается с самым пытливым исследованием того материала, который предлагают им взрослые:

– Кочегарка – жена кочегара?

– Судак – это которого судят?

– Начальная школа – это где начальники учатся?

– Раз они пожарные, они должны делать пожар, а тушить пожар должны тушенники!

Какой ребенок уже на четвертом году не приставал к своей матери с такими вопросами, в которых заключается самая строгая и даже придирчивая критика «взрослых» речений:

– Почему сверчок? Он сверкает?

– Почему ручей? Надо бы журчей. Ведь он не ручит, а журчит.

– Почему ты говоришь: тополь? Ведь он же не топает.

– Почему ты говоришь: ногти! Ногти у нас на ногах. А которые на руках – это рукти.

– Почему ты говоришь: рыба клюет? Никакого клюва у ней нет.

– Почему разливательная ложка? Надо бы наливательная.

– Почему перочинный нож? Надо бы оточительный. Никакие перья я им не чиню.

Нет ребенка, который в известный период своего духовного роста не задавал бы подобных вопросов. Названный период его жизни характеризуется самым пристальным вглядыванием в конструкцию каждого слова.

Я, например, знаю очень многих ребят, отвергающих слово «художник», так как они уверены, что, если слово начинается наречием «худо» – значит, это слово ругательное. О.И.Капица рассказывает о пятилетнем мальчике, который говорил про художника, сделавшего иллюстрацию в книжке:

– Он совсем не художник: он очень хорошо нарисовал.

Смастерив какую-то картинку, этот же мальчик воскликнул:

– Посмотрите, какой я хорошник.

Когда же картинка особенно удается ему, он говорит:

– А теперь я прекрасник![25]

О чем бы мы ни говорили с ребенком, мы не должны забывать, что он, жадно впитывая в себя наши слова, требует, чтобы в них была безупречная логика, и не прощает нам ни малейших ее нарушений.

Это очень наглядно показывает такой, например, эпизод.

Мать рассердилась и сказала трехлетнему Ване:

– Ты мне всю душу вымотал!

Вечером пришла соседка. Мать, разговаривая с нею, пожаловалась:

– У меня душа болит.

Ваня, игравший в углу, рассудительно поправил ее:

– Ты сама сказала, что я у тебя всю душу вымотал. Значит, у тебя души нету и болеть нечему.

Ему неведомо, что такое душа, но он по своему трехлетнему опыту знает, что, если что-нибудь выпито, вылито, вымотано, оно перестает существовать, – и говорить, будто оно болит, не годится.

Таких случаев великое множество.

Проезжая в Крыму по степи, я назвал эту степь пустыней. Но моя четырехлетняя спутница указала на кусты:

– Это не пустыня, а кустыня.

Четырехлетний Вадик с удивлением увидел, что взрослые наливают в молочник не молоко,

[25] О.И.Капица, Детский фольклор, Л. 1928, стр. 181.

а вино.

– Теперь это не молочник, а виновник.

Требуя, чтобы в конструкции каждого слова была самая прямолинейная логика, ребенок сурово бракует слова, логика которых не удовлетворяет его:

– Это не синяк, а красняк.

– Корова не бодает, а рогает.

Леночка Лозовская (четырех с половиною лет), увидя утят, воскликнула:

– Мама, утки утьком идут!

– Гуськом.

– Нет, гуси – гуськом, а утки – утьком.

В тех взрослых, которые окружают ребенка, он, естественно, видит непогрешимых учителей языка. Он учится у них с младенческих лет, старательно копируя их речь.

Но тем разительнее тот строгий контроль, которому он эту речь подвергает.

Услышав, например, что бабушка сказала кому-то: «Ты тогда еще под стол пешком ходил», внучка перебивает ее язвительным смехом:

– Разве под стол на извозчиках ездят?

Когда же бабушка сказала однажды, что вот скоро и праздник придет, внучка возразила, смеясь:

– Разве у праздника – ножки?

Этот вопрос о ножках задают очень многие дети, полемизируя таким образом с нашим метафорическим истолкованием слова «идти».

Слишком широкое и многообразное применение слова «ходить» то и дело сбивает малышей с толку.

Мать приказала ребятам запереть за нею дверь на крючок и никого не впускать, «так как, – пояснила она, – по городу ходит скарлатина».

В отсутствие матери кто-то долго стучался к ним в дверь.

– Приходила скарлатина, но мы не впустили.

Правда, в конце концов у детей создается привычка к нашим «взрослым» идиомам и метафорам, но эта привычка вырабатывается не слишком-то скоро, и любопытно следить за различными стадиями ее возникновения и роста. Приведу один очень характерный пример. В семье заговорили о новой квартире, и кто-то сказал, что ее окна выходят во двор. Пятилетний Гаврик счел необходимым заметить, что окна из-за отсутствия ножек не могут ходить по дворам. Но произнес он это свое возражение без всякой запальчивости, и было видно, что для него наступил тот период языкового развития, когда дети начинают примиряться с метафоричностью наших «взрослых» речей. Этот период, насколько мне удалось заметить, у нормальных детей начинается на шестом году жизни и заканчивается на восьмом или девятом. А у трехлетних и четырехлетних детей такой привычки нет и в зародыше. Логика этих рационалистов всегда беспощадна. Их правила не знают исключений. Всякая словесная вольность кажется им своеволием.

Скажешь, например, в разговоре:

– Я этому до смерти рад.

И услышишь укоризненный вопрос:

– Почему же ты не умираешь?

Ребенок и здесь, как всегда, стоит на страже правильности и чистоты русской речи, требуя, чтобы она соответствовала подлинным фактам реальной действительности (в той мере, в какой эта действительность доступна ему).

Бабушка сказала при внучке:

– А дождь так и жарит с утра.

Внучка, четырехлетняя Таня, тотчас же стала внушать ей учительным голосом:

– Дождь не жарит, а просто падает с неба. А ты жаришь котлету мне.

Дети вообще буквалисты. Каждое слово имеет для них лишь один-единственный, прямой и отчетливый смысл – и не только слово, но порою целая фраза, и, когда, например, отец говорит угрожающе: «Покричи у меня еще!» – сын принимает эту угрозу за просьбу и добросовестно усиливает крик.

– Черт знает что творится у нас в магазине, – сказала продавщица, вернувшись с работы.

– Что же там творится? – спросил я.

Ее сын, лет пяти, ответил наставительно:

– Вам же сказали, что черт знает, а мама разве черт? Она не знает.

Отец как-то сказал, что шоколадную плитку нужно отложить на черный день, когда не будет другого сладкого. Трехлетняя дочка решила, что день будет черного цвета, и очень долго и нетерпеливо ждала, когда же придет этот день.

Четырехлетняя Светлана спросила у матери, скоро ли наступит лето.

– Скоро. Ты и оглянуться не успеешь.

Светлана стала как-то странно вертеться.

– Я оглядываюсь, оглядываюсь, а лета все нету.

ПРОТИВ МЕТАФОР

Тут все дело в том, что мы, взрослые, если можно так выразиться, мыслим словами, словесными формулами, а маленькие дети – вещами, предметами предметного мира. Их мысль на первых порах связана только с конкретными образами. Потому-то они так горячо возражают против наших аллегорий и метафор.

Спрашивает, например, одна женщина у своей Наташи, четырех с половиною лет:

– Не скажешь ли ты мне, как понять, когда говорят, что один человек хочет другого в ложке воды утопить?

– Что ты? В какой ложке?! Что это? Скажи еще раз.

Мать повторяет.

– Это не может быть! – возражает Наташа. – Никогда не может быть!

И тут же демонстрирует всю фактическую невозможность такого поступка: схватывает ложку и быстро кладет ее на пол.

– Смотри, вот я!

Становится на ложку.

– Ну, топи меня. Человек не поместится… весь сверху будет… Ну вот, смотри… нога больше ложки…

И выражает презрение к подобным оборотам «взрослой» речи, искажающим реальную действительность:

– Но хочу я про это… Глупости какие-то…[26]

«Пришел Иван домой, а лягушка и спрашивает: „Что это ты голову повесил?“»

Игорь так и представил себе, что снял Иван голову и повесил на гвоздик.

Иные дети, наделенные юмором, нередко притворяются для шутки, что не могут понять те или иные идиомы нашей речи, дабы принудить нас к более строгому соблюдению правил, которые мы сами дали им.

Пожалуешься, например, при ребенке:

– У меня сегодня ужасно трещит голова!

А ребенок насмешливо спросит:

– Почему же не слышно треска?

И тем подчеркнет свое отрицательное отношение к странной (для него) манере взрослых выражать свои мысли метафорами, столь далекими от подлинных реальностей жизни.

Дети-юмористы часто придираются даже к понятным словам, чтобы поставить нам в вину их «неточность».

Мать зовет свою трехлетнюю Киру к себе под одеяло «поласкаться» и слышит иронический вопрос:

– Разве мама полоскательная чашка?

Мать говорит дочери после долгой разлуки:

– Как ты похудела, Надюша. Один нос остался.

– А разве, мама, раньше у меня два носа было? – иронически возражает четырехлетняя дочь.

---

[26] Н.П.Антонов, Развитие мышления и языка ребенка в дошкольном возрасте, «Советская педагогика», 1953, № 2, стр. 60 и 63.

Сердитый отец говорит четырехлетнему сыну:

– Чтобы этого у меня и в заводе не было!

Сын отвечает рассудительным голосом:

– Но ведь здесь не завод, а квартира.

Услышав, что женщина упала в обморок, ребенок саркастически спрашивает:

– А кто ее оттудова вынул?

Играя с Жоржем оловянными солдатиками, я сказал про одного из них, что он будет стоять на часах. Жорж схватил солдатика и со смехом помчался туда, где висели стенные часы, хотя ему было отлично известно, что такое «стоять на часах».

Впрочем, такая полемика с нашей «взрослой» речью не всегда производится в шутку. Я знаю пятилетнюю девочку, которая краснеет от гнева, когда при ней говорят о баранках.

– Почему ты называешь их баранками? Они не из барана, а из булки.

Требуя от взрослых точной и недвусмысленной речи, ребенок иногда ополчается на те привычные формулы вежливости, которыми мы пользуемся автоматически, не вникая в их подлинный смысл.

Дядя дал Леше и Бобе по бублику.

Леша. Спасибо.

Дядя. Не стоит.

Боба молчит и не выражает никакой благодарности.

Леша. Боба, что же ты не скажешь спасибо?

Боба. Да ведь дядя сказал: не стоит.

Чаще всего эта детская критика вызвана искренним непониманием нашего отношения к слову.

Ребенок, которого мы сами приучили к тому, что в каждом корне данного слова есть отчетливый смысл, не может простить нам «бессмыслиц», которые мы вводим в нашу речь.

Когда он слышит слово «близорукий», он спрашивает, при чем же тут руки, и доказывает, что нужно говорить близоглазый.

– И почему кормилица? Надо поилица. Ведь не котлетами же будет она нашего Зёзьку кормить!

– И почему перчатки? Надо пальчатки.

– Мама, вот ты говоришь, что сосульки нельзя сосать. Зачем же их назвали сосульками?

Иногда ребенок протестует не против смысла, а против фонетики данного слова. Писатель Н.Прянишников сообщает мне из Уральска про тамошнюю четырехлетнюю девочку, которая с возмущением узнала, что имя нарисованного в книжке человека – Шекспир. Она даже отказалась повторить это имя:

– Так дядей не зовут, а только службу!

Должно быть, слово Шекспир прозвучало для нее как Сельмаш, Мосгаз, Детгиз и т. д.

Замечательно, что даже малыши, еще не умеющие связно излагать свои мысли, и те заявляют протест против сбивчивости и неясности наших речей.

Говорю Вове (пятнадцати с половиной месяцев):

– Вот наденем носочки и пойдем гулять.

Он не дает мне надеть их и, протягивая к ним руки, повторяет: «Носоки, носоки». Я не понимаю, в чем дело, и думаю, что он не хочет одеваться. Но он хватает у меня носки, прикладывает их к носу, громко смеется и опять повторяет: «Носоки, носоки», указывая этим, что, по его убеждению, носочками не могут называться предметы, которые не имеют касательства к носу. Он так мал, что даже не может выразить эту мысль при помощи слов, но мимика его не оставляет сомнений, что он считает глубоко неправильным то несоответствие между названием и вещью, которое в данном случае допущено нами. Таким образом, еще почти бессловесный, он уже выступает с полемикой против нашего отношения к слову.

Конечно, подражательные рефлексы ребенка чрезвычайно сильны, но ребенок не был бы человеческим детенышем, если бы в свое подражание не вносил критики, оценки, контроля. Только этот неослабный контроль над нашей установленной речью дает ребенку возможность творчески усвоить ее.

Когда эти мои наблюдения над аналитическим подходом ребенка к словам впервые появились в печати, против них безапелляционно восстали педологи. Поэтому я с таким радостным

чувством прочитал у одного из самых зорких и тонких экспериментаторов, покойного Н.Х.Швачкина, что уже с двух лет «ребенок начинает высказывать свое отношение к речи окружающих, замечая ее особенности, и даже критиковать речь своих товарищей»[27].

Приятно сознавать, что твои мысли, высказанные лет тридцать назад, вполне подтверждаются авторитетом науки.

«Активное отношение ребенка к речи окружающих, – говорит ученый, выражается и в том, что он начинает уточнять их речь, внося в нее коррективы»[28].

Ведь это буквально то самое, что было отмечено мною в одном из первых изданий книжки «От двух до пяти»!

В статье Швачкина изучаются младшие дети – от одного года до двух с половиною, но если бы эксперименту подверглись дошкольники более старшего возраста, стало бы еще очевиднее, что ребенок усваивает нашу «взрослую» речь не только путем подражания, но и противоборствуя ей.

Это противоборство бывает двоякое:

1. Неосознанное, когда ребенок даже не подозревает о том, что он забраковал наши слова и заменил их другими.

2. Нарочитое, когда ребенок сознает себя критиком и реформатором услышанных им речений.

И в том и в другом случае основные законы установленной, выработанной взрослыми речи остаются для ребенка непреложными. На них он никогда не посягнет; если же он восстает против некоторых наших речений, то лишь для того, чтобы вступиться за эти законы. Мы кажемся ему законодателями, нарушающими свои же уставы, и он требует, чтобы мы выполняли их с наивысшею строгостью.

Иногда, впрочем, дети великодушно снисходят к заблуждениям взрослых, и полемика завершается полюбовным размежеванием двух различных «систем языка».

– Мама, – предлагает четырехлетняя Галка Григорьева, – давай договоримся. Ты будешь по-своему говорить «полозья», а я буду по-своему: «повозья». Ведь они не «лозят», а возят.

Но такая покладистость – явление сравнительно редкое. Чаще всего ребенок защищает свою версию горячо и упрямо, не допуская никаких компромиссов:

– Почему ты говоришь – «колоть дрова»? Ведь дрова не колют, а топорят.

Многие ошибки ребенка объясняются, по-моему, тем, что из нескольких функций той или иной части слова он усваивает всего лишь одну и начисто отвергает другие.

Заметив, например, что суффикс ка придает многим словам уничижительный смысл (Ванька, Сонька, Верка и т. д.), ребенок не видит, что то же самое окончание ка обладает иногда другими свойствами и применяется при других обстоятельствах. Поэтому он готов протестовать против этого ка даже тогда, когда уничижительный оттенок отсутствует.

– Ругаться нехорошо: надо говорить не «иголка с ниткой», а игола с нитой.

Я спросил у трехлетней Оли:

– Почему ты называешь веревку – «верева»?

– А тебе приятно будет, – пояснила она, – если тебя будут Корнюшкою звать?

Она же с демонстративным упрямством называла свою кошку – коша:

– Она коша, потому что хорошая; а когда она будет плохая, я назову ее кошка.

А трехлетний Игорь по той же причине называет белку – бела.

Здесь основная причина большинства тех словесных ошибок, которые совершает ребенок: действуя аналогиями, он не догадывается о многообразии функций, выполняемых данной частицей слова.

Обычно ему бывает известна всего одна-единственная функция этой частицы, и всякий раз, когда мы выходим за пределы единственно известной ему функции, он уличает нас в искажении слов.

---

[27] Н.Х.Швачкин, Психологический анализ ранних суждений ребенка. Вопросы психологии речи и мышления, «Известия Академии педагогических наук», М. 1954, вып. 54, стр. 127.

[28] Н.Х.Швачкин, Психологический анализ ранних суждений ребенка. Вопросы психологии речи и мышления, «Известия Академии педагогических наук», М. 1954, вып. 54, стр. 128.

Таких фактов тысячи, и все они неопровержимо свидетельствуют, что ребенок в меру своих умственных сил очень часто бессознательно анализирует тот языковый материал, который дают ему взрослые, и порою даже бракует его, если то или иное речение почему-либо не соответствует общим грамматическим или логическим нормам, усвоенным ребенком ранее в процессе его общения со взрослыми[29].

VII. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ШТАМПОВ СВЕЖЕСТЬ ДЕТСКОГО ВОСПРИЯТИЯ СЛОВ

Только игнорируя все это множество фактов, можно утверждать, наперекор очевидности, будто ребенок механически, слепо, без раздумья и критики принимает от нас наше языковое наследие.

Нет, всякий, кто внимательно наблюдает детей, не может не заметить, что приблизительно к четырехлетнему возрасту у них появляется сильнейшая склонность анализировать (большею частью вслух) не только отдельные слова, но и целые фразы, которые они слышат от взрослых.

Ибо (повторяю опять и опять!) смысловое восприятие слов и словесных конструкций у ребят значительно острее, чем у нас.

Мы так давно орудуем словами, что наше словоощущение притупилось. Мы пользуемся речью, не замечая ее. А ребенок вследствие свежести своих восприятий есть требовательный контролер нашей речи.

Услышав, например, выражение «они живут на ножах», ребенок так и представляет себе, что существуют большие ножи, на лезвиях которых лежат и сидят какие-то странные люди.

Когда же он услышал, что пришедшая в гости старуха «собаку съела» на каких-то делах, он спрятал от нее своего любимого пса.

А когда кто-то спросил у него, скоро ли ему стукнет шесть лет, он прикрыл свое темя руками.

У трехлетней Тани порвался чулок.

– Эх, – сказали ей, – пальчик-то каши просит!

Проходит неделя, а пожалуй, и больше. Вдруг все с удивлением видят, что Таня украдкой насыпала в блюдечко каши и тычет туда палец ноги.

Издавна пользуясь речью, мы именно благодаря этому долгому сроку успеваем забыть первичное значение множества слов.

Это забвение – закономерный и в высшей степени благотворный процесс, что видно хотя бы из нашего отношения к именам и фамилиям. Я знаю ребенка, который так и прыснул от смеха, услыхав фамилию «Грибоедов», ибо ему ясно представился ее изначальный смысл: человек, замечательный тем, что он питается одними грибами. Мы же, взрослые, связываем с этой фамилией столько светлых и величественных ассоциаций, что давно уже забыли ее прямое значение. От нашего внимания раз навсегда ускользнуло, что в слове «Грибоедов» есть «гриб».

Детскому сознанию несвойственно такое вытеснение смысла из произносимого слова.

Мне пишут о пятилетнем Алике, который, впервые услышав фамилию «Горький», спросил:

– Почему у него невкусная фамилия?

Тогда как из тысячи взрослых людей, говорящих о Горьком, едва ли найдется один, который сохранил бы в уме первоначальное значение его псевдонима.

– А у Ломоносова ломаный нос? – спросила четырехлетняя Саша, к великому удивлению взрослых, которые, произнося фамилию великого человека, никогда не замечали того странного образа, который заключается в ней.

То же и с именами. Говоря о Льве Толстом, кто же из нас ощущает, что лев – это дикий зверь! Но Боря Новиков, пяти с половиною лет, серьезно сообщил своей матери, что слушал по радио передачу о Тигре Толстом – так свежо и остро у ребенка ощущение каждого слова, которое, к нашему счастью, уже притупилось у нас.

Именно поэтому для детей недоступны самые простые идиомы.

---

[29] Об этом «выравнивании по аналогии» см. книгу А.А.Реформатского «Введение в языкознание», М. 1960, стр. 228.

– Я в школу не пойду, – заявил пятилетний Сережа. – Там на экзамене ребят режут.

Спрашивают его о сестре:

– Что же это твоя Иришка с петухами ложится?

– Она с петухами не ложится – они клюются: она одна в свою кроватку ложится.

– Вот зимой выпадет снег, ударят морозы…

– А я тогда не выйду на улицу.

– Почему?

– А чтоб меня морозы не ударили.

Иногда это детское непонимание нашей фигуральной или метафорической речи приводит взрослых к немалым конфузам.

Четырехлетняя Оля, привезенная матерью к тетке в Москву, долго смотрела на нее и на дядю и наконец, во время чаепития, разочарованно и очень громко воскликнула:

– Мама! Ты говорила, что дядя сидит у тети Анюты на шее, а он все время сидит на стуле.

К сожалению, осталось неизвестным, что сказала при этой оказии мать.

Свежесть реакций ребенка на взрослую речь сказывается именно в том, что каждую нашу идиому дети воспринимают буквально.

– С тобой голову потеряешь, ей-богу! – говорит, например, сердитая мать.

– Со мною не потеряешь: найду – подниму.

Про какого-то доктора большие говорили в присутствии Мити, что денег у него куры не клюют. Когда Митю привели к этому богатому доктору, он, конечно, сейчас же спросил:

– А где у тебя твои куры?

Для взрослых всякая такая реализация метафоры является, конечно, сюрпризом. Тот, кто сказал про старуху, будто она «собаку съела», даже не заметил, что упомянул о собаке. Тот, кто сказал о сварливых супругах, будто они «живут на ножах», не заметил в своей речи ножей. Тот, кто говорил про богатого доктора, будто куры не клюют его денег, ни на минуту не подумал о курах. В том и заключается огромная экономия наших умственных сил, что, оперируя готовыми штампами речи, мы почти никогда не вникаем в их изначальный смысл. Но там, где для нас – привычные комбинации примелькавшихся слов, стертых от многолетнего вращения в мозгу и потому уже не ощущаемых нами, для ребенка – первозданная речь, где каждое слово еще ощутимо. Когда мы говорим «навострить лыжи», у нас не возникает представление о лыжах и о том, что для скорейшего передвижения на них, их необходимо «вострить».

Поэтому ребенок так часто попадает впросак, прислушиваясь к нашим разговорам. Когда, например, один трехлетний американец узнал, что на афише цирка напечатано: «За детей – полцены!» (то есть, иными словами, дети платят за вход половину), он, по словам Джемса Сэлли, обратился к своей матери с просьбой:

– Мама, купи мне ребеночка: они стали такие дешевые.

Двухлетняя Джана, которую я уже цитировал на одной из предыдущих страниц, говорила знакомым, что ее мать на луне, так как неоднократно слыхала от взрослых, что мать уехала в отпуск на месяц.

Пятилетний Стася услышал по радио, что враги были под самой Москвой.

– Значит, и под нашей террасой?

Слова «под Москвой» он воспринял буквально и решил, что речь идет о больших подземельях, прорытых под улицами и зданиями города.

– Мама, что такое война?

– Это когда люди убивают друг друга.

– Не друг друга, а враг врага!

Когда мы произносим «друг друга», мы вполне резонно забываем, что то слово, которое дважды повторяется здесь, связано с понятием «дружба». Только благодаря этому забвению в нашей речи возможны такие обороты, как: «они ненавидят друг друга», «они пакостят друг другу» и т. д. Но для свежего и острого восприятия детей отказ от прямого значения слов невозможен, и они требуют, чтобы люди сражались не «друг с другом», а «враг с врагом».

Такая критика получаемого от взрослых языкового материала представляется мне одним из очень многих путей, которые в конце концов приводят ребенка к полному обладанию родной речью.

ОБЩЕДЕТСКИЕ СЛОВА

Критическое отношение к смыслу и форме слов наблюдается не только у особо одаренных детей, но чуть ли не у всех без изъятия. Это видно уже из того, что каждый нормальный ребенок зачастую придумывает те же слова, какие в том же возрасте придумываются другим малышом, и третьим, и четвертым, и пятым, ибо все эти слова создавались по одним и тем же общенациональным законам.

За свою долгую жизнь я видел по крайней мере десяток ребят, которые независимо один от другого заново придумывали слово «никовойный».

Т.Анциферова из г. Пушкина сообщает:

«„Мазелин“, очевидно, общедетское слово, бродячий сюжет… Все мои дети в известном возрасте называли так вазелин – и без всякой преемственности».

То же произошло и со словом «рогается». Судя по письмам, получаемым мною, дети в огромном своем большинстве не понимают чуждого им слова «бодаться» и всякий раз изобретают заново более наглядное слово.

В.Евстигнеев сообщает из Гомеля:

«На вопрос, что такое вихрахер, лизык и намакаронился, моя Зоя ответила правильно».

Т.Кузнецова из Великих Лук пишет мне, что ее двухлетняя Дина создала те самые слова, которые есть в моей книжке: лога (ложка), подуха (подушка) и плюнка (слюна).

– Боря свою плюнку пальчиком мажет!

Вообще оказывается, что существует обширная группа слов, которые всякий раз сочиняются сызнова всяким новым поколением русских детей.

Н.Елисеева (Ленинград) сообщает мне, что из числа слов, приводимых в одном из первых изданий этой книжки, ее Надя самостоятельно придумала не только мазелин, но и лошаду.

С разных концов СССР несколько родителей поведали мне почти одновременно, что их дети тоже изобрели кверхногается.

Особенно многочисленны случаи одинакового оглаголивания имен существительных: от Архангельска до Астрахани русские дети во всех селах, деревнях, городах вновь и вновь сочиняют слова: топорить, молоточить, отскорлупать, начаёпиться. Так же широко распространены общедетские названия орудий работы: колоток, копатка и другие.

Слово «всехный» оказалось действительно всехным: теперь мне известны двадцать восемь «изобретателей» этого слова.

В их числе – шестилетний сын Льва Толстого Ванечка. Когда Софья Андреевна показала Ванечке участок земли, предназначенный ему во владение, мальчик рассердился и – в качество природного толстовца – сказал:

– Ах, мама, всё – всехнее[30].

Существуют не только слова, а целые фразы, которые вновь и вновь создаются детьми.

Когда-то я опубликовал в своей книжке выражение моего младшего сына:

– Посоли сахаром!

Потом, лет через двадцать, услышал такую же фразу от другого трехлетнего мальчика, а теперь нахожу ее вновь в недавнем дневнике Н.А.Менчинской, которая записала о своем сыне (четырех с половиною лет): «Употребил такое выражение: „посоли сахаром“»[31].

Было бы небесполезно составить словарь, таких общедетских речений, изобретаемых сызнова чуть не каждым трехлетним-четырехлетним ребенком. Они схожи, а порой и тождественны, так как взрослые, в лице бабок, отцов, матерей, воспитателей, не только внушают каждому ребенку одинаковые общенациональные – принципы построения речи, но и дают однородный строительный материал. И один изобретатель отлично понимает другого.

«Одинаковые принципы»? «Однородный строительный материал»? Еще недавно к таким утверждениям было принято относиться враждебно. Их объявляли антинаучною ересью. Считалось, что буржуазные дети говорят на каком-то другом языке, чем дети, рожденные в семье про-

[30] «Красная новь», 1928, № 9, стр. 162.

[31] Н.А.Менчинская, Развитие психики ребенка. Дневник матери, М. 1957, стр. 139.

летариев, и что принципы построения речи не могут быть у тех и других одинаковыми.

Поэтому редакторы требовали, чтобы я, говоря о каком-нибудь слове, произнесенном трехлетним ребенком, всякий раз во что бы то ни стало указывал, к какому социальному слою принадлежит названный мною малыш, и демонстрировал бы при этой оказии, какая глубокая пропасть лежит между языком «Пети Буржуйчикова» и языком «пролетария Симы».

Ибо в то время многие лингвисты, философы, литературоведы, историки ошибочно считали доказанным, будто каждый язык есть непременно явление классовое.

Но теперь, когда мы окончательно утвердились в той истине, что язык у всех классов данного народа один, стало до очевидности ясно, как дики и бесплодны попытки найти коренные различия в языке двухлетних-трехлетних детей, к какому бы социальному слою ни принадлежали их семьи.

Развитие языка совершается у всех малышей по одним и тем же законам: все русские дети равно оглаголивают имена существительные, удваивают первые слоги, выбрасывают трудные согласные, борются с нашей метафорической речью, называют сухарики кусариками, лопатки – копатками, пружинки – кружинками. Ведь все без исключения русские дети черпают свои языковые ресурсы из одного и того же словарного фонда, подчиненного одной и той же грамматике. Хотя, конечно, социальная среда не может не влиять в какой-то мере на лексику того или иного ребенка, но методы ее усвоения везде и всегда одинаковые.

VIII. МАСКИРОВКА НЕВЕДЕНИЯ ЧУЖИЕ ГРЕХИ

Всем памятны вещие строки, которые написал Лев Толстой о самых первых годах своей жизни:

«Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего страшное расстояние»[32].

Среди ранних приобретений детского разума величайшую ценность для всей будущей жизни детей имеет, конечно, язык, его словарный фонд, его грамматика.

Подумать только, что в эти первые годы ребенку предстоит овладеть теми изощреннейшими формами речи, которые на протяжении своей тысячелетней истории создал многомиллионный народ!

Здесь главный пафос всей жизни ребенка, и, хотя он сам почти не замечает тех гигантских усилий, при помощи которых так планомерно, целесообразно и деятельно совершает он этот процесс, все же я не раз наблюдал, что безупречно правильное усвоение речи является для многих детей предметом честолюбия и гордости.

К сожалению, я не располагаю достаточным количеством материалов, которые давали бы мне право утверждать, что это благородное честолюбие, основанное на жажде интеллектуальных побед, свойственно всем без исключения детям, но даже те случайные сведения, которые удалось мне собрать, говорят о широкой распространенности этого чувства.

Впервые оно поразило меня при встрече с Юриком, двух с половиной лет, который однажды обмолвился и сказал вместо винтики – тинтики.

Его поправили, и он заявил, не смутившись:

– Это Боря сказал тинтики, а Юрик сказал: винтики.

Среди близких знакомых Юрика никакого Бори тогда не было, Юрик изобрел этого Борю специально затем, чтобы взваливать на него все свои ошибки и промахи, а себе приписывать непогрешимость речи:

– Это Боря сказал: мамовар, а Юрик сказал: самовар.

– Это Боря сказал: дан-дан, а Юрик сказал: чемодан.

Изобретя несуществующего Борю и нагрузив его всеми своими ошибками, хитроумный малыш обеспечил себе полный душевный комфорт. Благодаря этому небывалому Боре сам он при всех обстоятельствах всегда и везде ощущал себя безупречным знатоком языка, получая вдобавок возможность издеваться над побежденным соперником. При помощи такой махинации

[32] Л.Н.Толстой, Собрание художественных произведений, т. 10, М. 1948, стр. 247.

двухлетний человек раз и навсегда застраховал себя от обид, наносимых его самолюбию.

Всякая новая ошибка только возвышает его в собственном мнении, всякая неудача ощущается им как новый триумф. Но до чего, значит, мучительно для самолюбия детей сознание своего неумения, своей неспособности! До чего, значит, невыносима для Юрика мысль о его ошибках и слабостях, если он счел необходимым изобрести двойника и, наградив его своими ошибками, неукоснительно полемизирует спим!

Чем больше я вглядывался в двухлетних-трехлетних детей, тем яснее мне было, что этот Юрик не исключение, а правило.

Точно такой же эпизод сообщает французский романист Жорж Дюамель об одной трехлетней парижанке:

«Она страшная шалунья, хитрая и изобретательная. Она производит опыты над человеческой речью. Но для того чтобы избежать ответственности, она приписывает их воображаемому брату»[33].

Ведь это слово в слово то самое, что проделывал Юрик.

То же сообщает мне и Галина Дмитриевна Катанян о своем сыне:

«Когда ему было три года, он выдумал себе брата Васю-Касю, на которого валил все свои ошибки. Этого брата он представлял себе так живо, что ревел, когда я ему говорила, что не пущу Васю-Касю к нам, и оставлял ему конфеты, пряча их под подушку».

Такой же случай сообщает мне В.Подключникова из Иркутска:

«Трехлетняя Клара ошиблась и назвала мой капот компотом. Это вызвало общий смех. Стали говорить, что на самой Кларе надета каша, на ее сестре Ляле – кисель и т. д. Клара смеялась вместе с нами, и в конце концов заявила: „Эта Ляля такая чудачка. Надо говорить: капот, а она говорит: компот“.»

О необходимости борьбы с этими ребячьими уловками напоминает мне Д.Я.Фельдман (Москва).

«У моего сына Додика, – пишет она, – существовала мифическая личность „Андрюша“. Этот Андрюша был виновником всех его прегрешений, и нам стоило многих трудов убедить его в том, что надо быть мужественным и уметь честно признавать свою вину, не сваливая ее на Андрюшу».

ИНСТИНКТ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ

Вот какую важную роль в умственной жизни ребенка играет это «лингвистическое честолюбие». Оно чрезвычайно полезно ему в деле усвоения речи. Ведь когда ребенок награждает своими ошибками выдуманного им «Васю-Касю», он тем самым раз навсегда избавляется от этих ошибок. После того как Юрой был, например, изобретен несуществующий Боря, который якобы назвал самовар «мамоваром», а винтики «тинтиками», мальчик навсегда закрепил в своей памяти правильные формы этих слов.

Признаться в скудости своих познаний ребенок считает стыдом именно потому, что все его детство заполнено неутомимой познавательной деятельностью, и он, пытливейший из всех земных существ, ценит знания превыше всего.

Помню, как очаровала меня двухлетняя Ира, которая с великолепной находчивостью прибегла к очень тонкому маневру, чтобы замаскировать тот обидный для ее самолюбия факт, что она умеет считать лишь до двух.

Отец дает ей ложку и спрашивает:

– Сколько у тебя ложек?

– Одна.

Дает другую:

– Теперь сколько?

– Две.

Дает третью:

– Теперь сколько?

[33] Жорж Дюамель, Игры и утехи. Перевод с французского В.И.Сметанича, Л. 1925, стр. 71.

– Много.

– Нет, ты скажи.

Ира с преувеличенным выражением брезгливости отодвигает от себя третью ложку:

– Возьми, она грязная!

И при помощи этой лицемерной уловки ей блистательно удается утаить от себя и других скудость своих математических сведений, из чего следует, что сознание такой скудости не доставляло ей большого удовольствия.

Четырехлетняя девочка не выговаривает звука «р». Дядя, дразня, говорит ей:

– Наденька, скажи слово «рыба».

– Окунь, – отвечает она.

Простодушное лукавство детей отмечено и в детской поэзии. В одном из стихотворений Агнии Барто говорится о мальчике, не умеющем произнести звук «р» и потому называющем Марину – Малиной:

Она твердит: – Скажи «метро»,
В метро поедем к дяде.
– Нет, – отвечает он хитро,
В автобус лучше сядем.
(Буква «р»)

Гуляя с теткой по улице, мальчик двух с половиною лет останавливается у книжного киоска.

Продавец спрашивает:

– Умеешь читать?

– Умею.

Мальчику дают книгу:

– Читай.

Он, подражая бабушке, хватается внезапно за карман:

– Я забыл дома очки.

Ребенок не стал бы прибегать к таким дипломатическим хитростям, если бы сознание своей неумелости не было для него так огорчительно. Он хочет во что бы то ни стало считать себя умелым и знающим.

Должно быть, такое самообольщение до поры до времени практически необходимо ребенку. И не оттого ли он так громко ликует, когда ему удается подметить какую-нибудь мнимую речевую ошибку, якобы совершенную взрослыми?

Вообще инстинкт самоутверждения чрезвычайно силен в этом возрасте.

Я заметил, что даже самые застенчивые, скромные люди были в детстве хвастунами и бахвалами.

Бахвальство малолетних ребят очень верно изображено Верой Пановой в ее прелестной повести «Сережа». Сережу везут в автобусе. Его соседом оказывается толстый мальчишка, сосущий леденцового петуха на палочке.

Щеки у соседа были замусолены леденцом. Он тоже смотрел на Сережу, взгляд его выражал вот что: «А у тебя леденцового петуха нет, ага!» Подошла кондукторша.

– За мальчика надо платить? – спросила тетя Паша.

– Примерься, мальчик, – сказала кондукторша.

Там у них нарисована черная черта, по которой меряют детей: кто дорос до черты, за тех надо платить. Сережа стал под чертой и немножко приподнялся на цыпочках. Кондукторша сказала:

– Платите.

Сережа победно посмотрел на мальчишку. «А на меня зато билет берут, сказал он мысленно, – а на тебя не берут, ага!»

Склонность к самохвальству, к возвеличению своего «я», своей личности за счет всякого другого лица (или даже предмета) свойственна, насколько я знаю, огромному большинству малышей с самого раннего возраста.

Поэт Валентин Берестов сообщает мне о своей двухлетней Марине:

«Видит безногую куклу и говорит, торжествуя:

– А у Марины ножка не сломалась!

Ночью у ее семилетнего дяди заболели зубы. Он заплакал. Маринка проснулась и тотчас же:

– А Марина не плачет!

Узнав причину его слез, заявляет:

– А у Марины не болят!

И все это с большим удовольствием».

Мне пишут про мальчика, который, поселившись в деревне, вдруг потребовал, чтобы ему нашили на штаны и на куртку заплаты, потому что одежда деревенских ребят, с которыми ему приходилось играть, была в то далекое время покрыта заплатами.

Он так надоел матери, что она пришила ему «на живульку» на самых видных местах лоскутки, и сияющий Вася всем и каждому хвастался:

– А у меня тоже заплаты!

Хвастают напропалую, чем придется. Сидят, например, на пляже и строят песчаные башни.

– Ага, а моя башня выше!

– А зато мне гланды вырезали, а тебе нет! Ага!

Особенно сильно такая жажда самоутверждения сказывается у детей во всех случаях, относящихся к каким-нибудь умениям и знаниям.

IX. ЛОЖНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ СЛОВ

Ребенок, который живет среди взрослых и постоянно присутствует при их разговорах, то и дело слышит такие слова, смысл которых ему непонятен. Часто он пытается осмыслить их сам, не обращаясь за объяснениями к старшим, вполне уверенный, что эта задача не представит для него особенных трудностей. Он решает ее «по вдохновению», внезапно, не обладая для этого никакими другими ресурсами, кроме сильнейшего языкового чутья, и не мудрено, что, пытаясь самостоятельно добраться до смысла непонятных речений, он принужден прибегать к самым фантастическим выдумкам.

Услышала, например, трехлетняя Кира, что у какой-то женщины родились двояшки, и в ту же минуту прибежала ко мне:

– Понимаешь: родились два мальчика и оба называются Яшки. Их так и назвали: два Яшки (двояшки). А когда они вырастут, их будут звать Миша и Лева.

Этот миф о двух Яшках избавил Киру от мучительного чувства, которое испытывает каждый ребенок, когда ему становится ясно, что он чего-нибудь не понимает.

А когда маленькой Тане сказали, что у нее на наволочке ржавчина, она без смущения спросила:

– Это мне лошадка наржала?

Но более всего замечателен миф, при помощи которого трехлетняя девочка превратила непонятное ей слово «блокада» в понятные ей «облака». Во время гражданской войны ее отец вошел с газетой и сказал:

– А блокаду сняли!

Девочка была поглощена чаепитием и словно не слыхала отцовского возгласа. Но через час она сообщила подруге:

– Облака-то сняли! Сняли с неба облака!

Та подумала и спросила печально:

– А как же дождик?

И посмотрела в окно.

Увидит ребенок в деревне крестьянина, несущего грабли, и решает, что это – грабитель.

– Ломовик! – говорит он про мальчика, который ломает игрушки.

В каждом слове, которое детям случается услышать от взрослых, они с младенческих лет привыкают искать его корень, очищенный от приставок и суффиксов.

Плодотворный метод такой лингвистической (и совершенно неосознанной ими) работы вскрывается лучше всего в тех ошибках, которые они порой совершают при этом.

Двухлетней Саше, например, в слове «отпугивать» почудился тот же корень, что в «пуговице». Она так я спросила у бабушки, пытавшейся расстегнуть ей пальто:

– Зачем ты меня отпугиваешь?

Ей, очевидно, хотелось, чтобы пальто оставалось «запуганным» (то есть застегнутым на все пуговицы).

Та же Саша, услышав как-то слово «наблюдать», решила, что оно происходит от «блюда»: положить какие-нибудь вещи на блюдо – в этом, по ее догадке, и состоит на-блюде-ние.

Такие ошибки чрезвычайно типичны. Они повторяются снова и снова в каждом новом поколении детей. С Сашей я познакомился в марте 1956 года – и тут же вспомнил, что еще четверть века назад мне встретился подобный же филологический казус. В Сестрорецке на даче соседские дети долго лепили из глины какую-то замысловатую фигурку, потом утвердили ее на дощечке, которая звалась у них блюдом, принесли ко мне и сказали:

– Вот тебе и наше наблюдение.

Оказалось, что наблюдением они, как и Саша, считают все, лежащее на блюде.

Пользуясь такими словами, как ломовик, наблюдение, отпугивать, малыши не меняют ни фонетики, ни морфологии существующих слов – они присваивают им другую семантику, наполняют их другим содержанием.

Лодырь – это человек, который делает лодки, а всадник – «это который в саду»; «деревня – где деревьев много»; «кустарник – сторож, который караулит кусты»[34]. Мельница – жена мельника, а казак, конечно, муж козы. «Дядя Филя – спец» – про человека, который любит поспать. Фантазер – «кто пускает фонтаны».

Володя, встретив в Куоккале какого-то финна с ребенком, сказал своему отцу:

– Вот идет финн, а с ним финик.

Он и раньше слышал слово «финик», но, как теперь обнаружилось, всегда считал, что это маленький финн.

И как вы думаете, что может значить наше «взрослое» слово «беспомощный»? Четырехлетний Игорь, впервые вылепив снежную бабу без помощи взрослых, с гордостью заявил окружающим:

– Эта баба совсем беспомощная!

Он нередко слыхал это слово в разговорах родителей и по-своему осмыслил его.

Майя крикнула своей старшей сестре:

– Хватит тебе секреты говорить! Секретарша какая!

А трехлетняя Таня сказала:

– Мы ходим на прогулку, – мы прогульщики!

Ни одного из этих слов дети не придумали сами: и «секретарша», и «прогульщики», и «лодырь», и «фантазер», и «всадник» услышаны ими от взрослых. Каждое слово они воспроизвели вполне правильно, не изменяя в нем ни единого звука. Но подлинный смысл услышанных слов ускользнул от них. Не подозревая об этом, они дают каждому слову свое толкование, и хотя тут же выясняется, что из-за недостатка житейского опыта все слова истолкованы ими неверно, даже в этих ложных осмыслениях сказалось присущее маленьким детям великое чутье языка.

Ведь легко можно представить себе какой-нибудь из славянских народов, у которого лодырем зовут человека, имеющего отношение к лодкам (сравни: аптекарь, библиотекарь, слесарь, поводырь и др.), а ломовиками именуются взломщики.

Если не знать, что в слове «спец» две последние буквы относятся к корню, необходимо принять их за суффикс (как в словах «куп-ец», «кузн-ец»), и тогда слово «спец» неминуемо получит присвоенное ему ребенком значение: человек, для которого спанье есть профессия.

Эти ошибки показывают, в каком направлении совершается мозговая работа ребенка, когда он принимает от нас наше обширное речевое наследие. Они обнажают те методы, при помощи которых ребенок овладевает этим колоссальным богатством.

Он требует логики от каждого слова и если не находит ее, то выдумывает. Когда пятилетняя Ёлка впервые увидела ломоть пеклеванного хлеба, она всмотрелась в него и сказала с уверенностью:

– А, понимаю. Это птицы его поклевали.

В самом деле, если не знать польского глагола «питловаць» (то есть молоть чисто и мелко), приходится прибегнуть к такой выдумке.

---

[34] Последний пример взят у А.Н.Гвоздева, Вопросы изучения детской речи, М. 1961, стр. 309.

– Консервы делают в консерватории, да? – спрашивал у деда Игорек.

И сколько я знаю детей, которые думают, что насупились это значит наелись супу, а отравились – наелись травы.

Такое стремление ребенка по-своему истолковывать непонятные речения взрослых было отмечено Горьким в его рассказе «Страсти-мордасти». Там выведен маленький мальчик, одинокий калека, который додумался до того, что богадельня – это место, где делают бога («дельня» – мастерская, как «швальня»).

И точно таким же манером малолетний Тургенев объяснил себе слово «вонмем» (то есть вслушаемся), выкрикиваемое дьяконом в церкви.

«Кто-то, – вспоминает Тургенев, – завел речь о том, как зовут дьявола, никто не мог сказать, зовут ли его Вельзевулом, или Сатаной, или еще как-нибудь иначе.

– Я знаю, как зовут, – сказал я и сам испугался.

– Ну, если знаешь, говори, – отозвалась мать.

– Его зовут „Мем“.

– Как? Повтори, повтори!

– Мем.

– Это кто тебе сказал? Откуда ты это выдумал?

– Я не выдумал, я это слышу каждое воскресенье у обедни.

– Как так – у обедни?!

– А во время обедни выходит дьякон и говорит: вон, Мем! Я так и понял, что он из церкви выгоняет дьявола и что зовут его Мем.

Удивляюсь, как меня за это не высекли. Но, как ребенок, я на тот раз был совершенно искренен – просто не понял славянского слова „вонмем“ и толковал его по-своему»[35].

Как бы ни были неправильны выводы, к которым приходит ребенок, самый метод, приводящий его к ним, безупречен, – метод анализа составных элементов слова и осмысления их взаимных отношений.

Зарубежные психологи часто относятся к этим детским догадкам не слишком почтительно. «Уж не раз изучали, – говорит Пиаже, – спонтанную (!) этимологию, к которой дети питают такое пристрастие, и затем их изумительное стремление к вербализму, то есть к фантастическому истолкованию плохо понятых слов: эти два явления показывают, как легко ребенку удовлетворить свой ум произвольными обоснованиями»[36].

Я же не могу не восхищаться упорной и планомерной работой ребенка, направленной к овладению языковыми ресурсами взрослых.

Без устали работает его самонадеянный мозг над анализом каждого непонятного слова и выдвигает одну за другой ряд рабочих гипотез, которые должны внести в этот хаос хотя бы иллюзорный порядок.

Незнание жизни заставляет ребенка поневоле оперировать этими временными гипотезами, но тут ничего страшного нет, так как гипотезы вскоре вытесняются точными данными опыта, главным образом благодаря педагогическому вмешательству взрослых.

И разве не показательно, что этих ошибочных представлений так мало по сравнению с необъятным количеством слов, смысл которых угадан ребенком с абсолютной точностью.

К счастью, ложное истолкование взрослых речений очень редко приносит детям какой-нибудь существенный ущерб. Мне известен лишь один-единственный случай, когда тяготение к анализу составных элементов слова имело неблагополучный результат. Трехлетний Вадя объелся в лесу сыроежками, умозаключив, что если они сыроежки, значит, есть их полагается сырыми.

СЛОВО ОТОЖЕСТВЛЯЕТСЯ С ВЕЩЬЮ

Конечно, анализ слов далеко не единственный метод, которым ребенок приходит к их осмыслению; порою это дается ему интуитивно благодаря изумительной чуткости к эмоциональному звучанию слов.

Так, одна трехлетняя девочка, услышав на лестнице шум, зашептала:

---

[35] Я.П.Полонский, И.С.Тургенев у себя, «Нива», 1884, № 2, стр. 38.

[36] Ж.Пиаже, Речь и мышление ребенка, М. 1932, стр. 108.

– Мамочка, я боюсь. К нам, наверно, Трамот польет.

– Какой Трамот?

– Такой большой, тяжелый и грохает по ступенькам.

Я не сразу понял, что такое Трамот. Потом мне объяснили: это не душегуб и не зверь, это – сокращенное название Транспортно-материального отдела, где служил отец этой девочки.

О Трамоте часто говорилось в семье, и девочку всегда пугало это слово, так как в самом его звуке ей чудились бегемотная свирепость и грузность: ТРАМОТ. Не мудрено, что, когда она услыхала на лестнице топот, она сразу решила, что это и есть Трамот – жирный, неуклюжий, жадный.

Таких случаев можно привести очень много. Слово часто имеет в сознании ребенка такой же конкретный характер, как и та вещь, которую оно обозначает. Оно, так сказать, отожествляется с вещью. Всякие шишиги, кикиморы, буки, которыми взрослые пугают ребенка, именно потому и страшны для него, что в его уме имена этих свирепых чудовищ сливаются с самими чудовищами. Это бывает даже в тех случаях, когда ребенок сам выдумывает какое-нибудь страшное слово. Я впервые убедился в этом, когда с моей маленькой дочерью случился один эпизод, который я записал по горячему следу в таких непритязательных стишках:

Дали Мурочке тетрадь,
Стала Мура рисовать.
«Это – козочка рогатая».
«Это – елочка мохнатая».
«Это – дядя с бородой».
«Это – дом с трубой».
«Ну, а это что такое,
Непонятное, чудное,
С десятью рогами,
С десятью ногами?»
«Это Бяка-Закаляка
Кусачая,
Я сама из головы ее выдумала».
«Что ж ты бросила тетрадь,
Перестала рисовать?»
«Я ее боюсь».

Впрочем, возможно, что Мура была более испугана графическим изображением чудовища, чем звуками его страшного имени. Но во всех других случаях, которые приводятся здесь, на детей действует одна лишь фонетика. Товарищ моего детства, писатель Борис Житков, рассказывал мне, что в трехлетнем возрасте он выдумал слово «Убзика» (с ударением на «у») и долго боялся глядеть вечерами под отцовский диван, потому что сам же уверил себя, будто там прячется эта страшная Убзика.

Как восприимчивы дети к звучанию слов в этот период своего языкового развития, показывает, например, такой диалог.

– Что такое Бардадым? Как ты думаешь? – спрашивают у четырехлетнего Вали.

Он сейчас же отвечает без всяких раздумий:

– Страшный, большой, вот такой!

И показывает рукой в потолок.

– А кто такой Миклушечка?

– А это маленький, хорошенький… Мик-лушечка.

Без такого повышенного чутья к фонетике и морфологии слова один голый подражательный инстинкт был бы совершенно бессилен и не мог бы привести бессловесных младенцев к полному обладанию родным языком. Правда, нельзя забывать, что это обладание во всех случаях – без единого исключения является результатом совместной работы ребенка и тех, кто окружает его. Но все усилия взрослых были бы совершенно бесплодны, если бы дети раннего возраста не проявляли изощреннейшей чуткости к составу и звучанию слов.

«Те очень ошибаются, – писал еще К.Д.Ушинский, – кто думает, что в этом усвоении ре-

бенком родного языка действует только память: никакой памяти недостало бы для того, чтобы затвердить не только все слова какого-нибудь языка, но даже все возможные сочетания этих слов и все их видоизменения; нет, если бы изучали язык одной памятью, то никогда бы вполне не изучили ни одного языка»[37].

Кроме лингвистической памяти, необыкновенно сильной у малолетних детей (особенно в отношении морфологии слов), здесь проявляется именно та повышенная речевая одаренность, которая, как сказано выше, присуща любому ребенку в возрасте от двух до пяти.

Когда я лет тридцать назад с восхищением отметил в печати это драгоценное детское качество, тогдашние педологи встретили эту идею как нелепую антинаучную выдумку.

Люди, которым была чужда и враждебна самая мысль о диалектическом развитии ребенка, с негодованием отнеслись к утверждению, высказанному мною в начале настоящей главы, что у старших дошкольников речевая одаренность к шести-семи годам иссякает и мало-помалу вытесняется новыми, столь же целесообразными качествами.

Между тем в настоящее время эта истина уже утвердилась в науке. Бесчисленные наблюдения доказывают, что к восьми годам убывает не только речевая одаренность ребенка, – но зачастую и всякая другая. «Приблизительно в восьмилетнем возрасте дети постепенно теряют творческий музыкальный дар, который зарождается в них примерно с полуторагодовалого возраста», свидетельствует знаменитый дирижер Леопольд Стоковский[38]. Ниже мы увидим, что то же самое происходит и с детьми-стихотворцами. О детях-рисовальщиках и говорить нечего: это подтвердит всякий живописец, практически изучавший разные стадии детского художественного творчества.

Конечно, сказанное относится не ко всем детям. Истинные, прочные таланты благополучно переступают этот – установленный мудрой природой рубеж. А главное, в широком биологическом и социальном плане здесь не только утрата, но – повторяю! – и приобретение. То обстоятельство, что у детей в определенный период их душевного роста начисто исчезает всякая способность (и склонность) к словотворчеству, знаменует собою успешное завершение процессов, при помощи которых ребенок овладевает родным языком.

ФОНЕТИКА ДЕТСКОЙ РЕЧИ

Эта тема не входит в круг моих наблюдений. Здесь я могу лишь попутно сказать, что, как мне кажется, ребенок добирается до правильного произношения слов столь же сложным, извилистым и трудным путем, каким он приходит к их нормативной конструкции. Например, один мой знакомый ребенок, для того чтобы овладеть словом «кооператив», истратил не меньше пятнадцати месяцев. И не механическим присовокуплением новых слогов к тем, которые были добыты прежде, создавал он всякую новую форму, а другими, более изощренными способами:

Сначала: пиф.

Потом: пиф-пиф.

Потом: аппф.

Потом: капиф.

Потом: каапиф.

Потом: патиф.

Потом: копатиф.

И наконец: кооператив.

Сын Н.А.Менчинской, судя по ее дневнику, больше двух с половиной месяцев овладевал словом «лампа»:

Сначала: ям.

Потом: яма.

Потом: тапа.

Потом: ляпа.

---

[37] К.Д.Ушинский, Родное слово, Собр. соч., т. II, М. 1948, стр. 559.

[38] Леопольд Стоковский, Музыка для всех нас, М. 1959, стр. 58.

Потом: лампа[39].

Чтобы овладеть словом «пуговица», ему, как видно из того же дневника, понадобилось четыре месяца:

Сначала: пу.

Потом: пуга и пуца.

Потом: пугитя и т. д.[40]

Все это очень близко к той схеме, которая дана известным физиологом Н.И.Красногорским, одним из учеников и сотрудников И.П.Павлова.

«Новые наблюдения показывают, – пишет Н.П.Красногорский, – что при образовании слов огромное значение имеет сила раздражителя, то есть звуковая сила фонем и слогов, из которых составляется слово. Ребенок в первую очередь берет и упрочивает повторением первый, последний или наиболее сильный ударный слог в слышимом слове. В дальнейшем он присоединяет к этому слогу второй по силе раздражитель и уже только после этого вводит в формирующееся слово относительно слабый, ранее опускаемый слог. Образовывая слово „молоко“, ребенок фиксирует и произносит сначала слог „мо“, как первый раздражитель, связывая его с оптическим раздражителем при виде молока. В дальнейшем он присоединяет к этому слогу второй ударный слоговой раздражитель – „ко“ и, смотря на молоко, говорит „моко“. Наконец он вводит третий слог – „ло“ в конце или в середине слова, произносит „моколо“ и наконец „молоко“.

В другом случае ребенок при виде молока произносит сначала „ням-ням“, то есть отвечает генерализованной речевой реакции. Затем, дифференцируя молоко, он синтезирует сразу два ударных слога и, заменяя „ло“ звуком „я“, говорит „маяко“; наконец, вводя „л“, произносит „маляко“.

„Поразительным фактом, – указывает ученый, – является огромная синтетическая объединяющая сила головного мозга у детей уже в самом раннем возрасте“[41].»

Добавлю от себя, что эта «огромная синтетическая объединяющая сила» мышления чудесным образом проявляется у детей уже в период пассивной речи, когда ребенок еще не умеет произнести ни одного слова. Период пассивной речи, которая поверхностному наблюдателю кажется просто молчанием, – самое творческое время развития речи ребенка.

X. ДЕТСКАЯ РЕЧЬ И НАРОД

Разнообразными и пестрыми кажутся факты, изложенные на предыдущих страницах. Но кто захочет пристально вдуматься в них, тот увидит, что если не все они, то огромное их большинство служит доказательством одной-единственной мысли, которая и связует их в единое целое.

Эту мысль провозглашали не раз, но чаще всего в виде некоего абстрактного догмата. Между тем давно уже назрела потребность обосновать ее фактами, наполнить ее конкретным, живым содержанием.

Мысль эта очень проста: ребенок учится языку у народа, его единственный учитель – народ.

Задача настоящей главы – утвердить эту мысль, сделать по возможности так, чтобы читатель на основании наглядных свидетельств самостоятельно пришел к убеждению, что здесь не декларация, не звонкая фраза, а подлинное явление действительности, что в деле языкового воспитания детей взрослые, к какому бы социальному слою ни принадлежали они, в сущности, являются только посредниками между детьми и народом.

Прежде всего нельзя забывать, что, как уже сказано, взрослые с самого рождения ребенка щедро снабжают его такими корнями, флексиями, приставками, суффиксами, которые будут служить ему до конца его дней. Все эти морфемы народны, и, таким образом, дети, принимая

[39] Н.А.Менчинская, Развитие психики ребенка. Дневник матери, М. 1957, стр. 57–58.

[40] Н.А.Менчинская, Развитие психики ребенка. Дневник матери, М. 1957, стр. 55.

[41] Н.И.Красногорский, К физиологии становления детской речи. Журнал высшей нервной деятельности имени И.П.Павлова, вып. 4, т. II, 1952, стр. 477.

языковое наследие предков и даже создавая из предоставленного им материала свои «собственные» слова и речения, тем самым приобщаются к народному творчеству, ибо ни один из неологизмов ребенка никогда не выходит за рамки, установленные народной традицией.

Недаром сплошь и рядом оказывается, что дети сочиняют такие слова, которые уже существуют в народе («людь», «сольница», «смеяние», «обутка», «одетка» и т. д.). Это было бы невозможно, если бы самый дух народного словотворчества не был в значительной мере усвоен детьми еще раньше, чем спи овладели первыми десятками слов (даже в период пассивной речи).

Только благодаря этому они могут легко и свободно создавать такие слова, как «тормозило», «расширокайтесь», «отмухиваться», «кустыня», «красняк» и т. д., обладающие чисто народной экспрессией.

В один и тот же день – в январе 1955 года – я получил два письма от читателей. В одном сообщали мне о таком диалоге:

– Майя, что ты делаешь?

– Я заключаю дверь. (То есть запираю на ключ.)

В другом письме приводилось восклицание четырехлетнего Бори:

– Нелина мама уехала и заключила мой стульчик! (То есть опять-таки замкнула на ключ, – очевидно, в чулане.)

И, конечно, я не мог не вспомнить, что прежде в слове «заключить» корень ключ ощущался гораздо сильнее, чем нынче. У Барсова, например, в его книге «Причитания Северного края», в фольклорной легенде «Происхождение горя народного», говорится о каких-то ключах, что они приладились «к тюрьмам заключенным» (то есть именно к запертым на ключ)[42].

Ребенок не мог бы самостоятельно воссоздать это старорусское слово в его первоначальном значении (которое нынче уже совершенно забыто), если бы родной народ, снабдивший его материалами для построения слов, не вооружил его – одновременно с этим – нужными методами для их построения.

Вспомнилось также у Николая Успенского: «Мужики заключались в эвтой риге»[43].

Когда на одной из предыдущих страниц я приводил детское слово «ещёкать» (от наречия «ещё»), мне и в голову не приходило, что это же новообразование может параллельно возникнуть среди взрослых в народной среде.

В.О.Перцов сообщил мне такой эпизод, слышанный им от П.П.Бажова. Был когда-то на уральском заводе один инженер, любивший при всякой оказии произносить утомительно длинные речи. Каждую речь он неизменно заканчивал традиционным призывом, где часто повторялось словечко «еще» («Будем работать еще продуктивнее, еще энергичнее» и т. д.). Это «еще» произносилось им особенно громко. Слушатели подметили однообразный покрой его обильных речей, и один из них, когда в речи оратора появилось «еще», облегченно вздохнул и шепотом утешил Бажова:

– Ну, теперь скоро конец! Уже начал ещёкать (по местному произношению – «ишшокать»).

Не показательно ли, что неологизм малыша ленинградца совпадает до полного тождества с тем словом, которое создал экспромтом на далеком Урале взрослый «простой человек»?

Если бы речь и мышление двухлетних, трехлетних, пятилетних детей не были проникнуты общенародными нормами языка, мы никогда не могли бы наблюдать отмеченную выше особенность детского словотворчества, которая заключается в том, что разные, очень разные дети, отдаленные друг от друга большими пространствами, из поколения в поколение самостоятельно придумывают одни и те же слова – будь это в Крыму, или в Новгороде, или где-нибудь у китайской границы.

Так, например, слово «кусарик» я услышал впервые от трехлетней девочки в 1904 году, потом через двадцать лет я прочитал в «Дневнике» А.Д.Павловой, что ее Адик тоже «изобрел» это слово. И вот через полвека, минувшей осенью, костромская жительница Наталья Борщевская со-

[42] Характерно, что Некрасов, списывая для себя эту легенду, предпочел придать слову «заключенный» его современное значение: «к тюрьмам заключенных», то есть «к тюрьмам узников», потому что в эпоху Некрасова редко говорили «заключенные двери», «заключенные тюрьмы», и слово «заключенный» стало применяться к людям (Н.А.Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. III, М. 1949, стр. 636).

[43] Н.В.Успенский, Повести, рассказы и очерки, М. 1957, стр. 67.

общает мне в письме о своем внучатном племяннике Вове (двух с половиной лет), что он тоже называет сухарик «кусариком».

Таких фактов великое множество, и, конечно, они никогда не имели бы места, если бы дети в своем словотворчестве не опирались на одни и те же законы развития языка, надолго установленные русским народом.

Выше я привел одно слово, изобретенное трехлетним ребенком:

– Мама сердится, но быстро удобряется.

Это слово вызывает у взрослых улыбку, ибо связывается в их уме с удобрением полей. Между тем ребенок самостоятельно произвел его от слова «добрая» (в смысле «сердечная») и знать не знает ни о каком удобрении (где «добрый» означает «унавоженный», «тучный»).

Замечательно, что в старорусском языке, лет триста назад, «удобряться» и значило сменять гнев на милость, размягчаться душой. Протопоп Аввакум так и писал в своей книге: «бабы у добрились». Та же форма сохранилась в народной пословице: «Удобрилась мачеха на пасынка».

Здесь одно из наиболее наглядных свидетельств, что при создании всякого нового слова ребенок почти всегда применяет те же самые методы, какие применяет народ.

И разве не знаменательно, что слово «всколькером», которое у меня на глазах создал четырехлетний ребенок под Брянском, оказалось давно существующим в речевом обиходе народа! Ю.Трапезников сообщил мне, что в Вологодской области, в деревне Горке (Ковжевского сельсовета), принято, например, говорить:

– Всколькером, бабы, завтра по ягоды пойдем?

Это ли не доказательство близости детского языка и народного!

Или возьмем хотя бы слово «льзя», которое снова и снова создается детьми, услышавшими от взрослых «нельзя».

Ведь оно и сейчас существует в народе, о чем недавно напомнил мне в письме П.В.Зимин. «Я живу, – пишет он, – в г. Вельске, Архангельской (ранее Вологодской) области и как любитель занимаюсь изучением здешнего диалекта. Так вот я слышал здесь такие выражения:

– А льзя ли, батюшка, здесь пройти-то?

– Силуян Ликарионович, льзя ли так делать-то?»

Полное совпадение детского языкового мышления с общенародным.

Или, например, слово «ворк» вместо нашего взрослого слова «ворчание». Алёна, внучка художника В.М.Конашевича, однажды заявила ему:

– Я бабушке не спускаю: она ворчит, а я строптивлюсь. Один ворк, один строптив.

Ворк не может быть чужд языку, в котором, как указывал Пушкин, «хлоп употребляется в просторечии вместо хлопанье», «шип вместо шипение»:

Он шип пустил по-змеиному.

Защищая от своих критиков слова «хлоп», «молвь», «топ», Пушкин писал:

«Слова сии коренные русские. „Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ“.

Ворк, изобретенный четырехлетним ребенком, относится к той же категории слов, так как вся фактура этого слова создана по законам русского народного языкового мышления. К той же категории, что „шип“, „ворк“, принадлежит и слово „пад“ (вместо падение):

– Проехались по ледяной дорожке и никакого паду.»

Выше мне уже случалось писать, что многие создаваемые малышами слова ничем не отличаются по своему построению от тех, какие создавались в разное время писателями, величайшими мастерами русской речи. Например, детские глаголы «намакаронился», «отскорлупать», «замолоточить» и проч. сконструированы по тому же принципу, по какому русские классики создавали такие слова, как «стушеваться», «озакатить», «магдалиниться», «выгрустить».

Этого не могло бы случиться, если бы дети и писатели не пользовались однородными приемами построения слов – теми, какие внушены им народом.

И в других областях детского словотворчества наблюдаются такие же закономерности. Найдя в письмах Чехова «стишины» и «спасибище», а в стихах Маяковского «огромные незабудищи» и «глаза тарелины», проф. А.Н.Гвоздев сопоставляет с ними восклицание своего четырехлетнего сына, где использованы такие же экспрессивные суффиксы увеличительности.

– Смотри, какую красоту я делаю. Какую красотищу! Какую красотину! Смотри: какая

красота![44]

Из чего автором делается вполне правильный вывод, что по своим формам создаваемые ребенком слова целиком совпадают с неологизмами русских писателей, «так как и те и другие пользуются одними и теми же морфологическими ресурсами русского языка»[45] – иначе говоря одним и тем же «стройматериалом».

Когда ребенок произносит какое-нибудь слово неправильно или сделает случайную ошибку в синтаксическом построении фразы, мы, взрослые, то и дело заявляем ему: «так не говорят», «так нельзя говорить», «нужно сказать вот эдак». Не значит ли это, что в каждом подобном случае мы выступаем от лица народа в качестве его уполномоченных, его представителей? Выражение «так не говорят», которым мы всегда корректируем малышей, лишь по внешним признакам может считаться безличным, на самом же деле оно означает: «так не говорит наш народ».

Этим «нужно» и «нельзя» мы заявляем ребенку сложившуюся тысячелетиями волю народа, которую ребенок, в свою очередь, будет передавать своим детям и внукам, а те – своим, обеспечивая этим путем дальнейшую устойчивость основного народного словарного фонда и тех мудрых (опять-таки народных) грамматических правил, которым этот фонд подчинен.

Мы только что упомянули два слова: «кусарик» и «кустыня». Они принадлежат к той же категории слов, что «копатка», «мазелин», «колоток», «пескаватор», «лизык» и т. д. Происхождение всех этих слов одинаково: они порождены постоянным стремлением детей внести в звучание каждого слова, услышанного ими от взрослых, ясный и отчетливый смысл.

Путь, который приводит ребенка к подобным словам, тот же самый, каким некоторыми слоями народа создавались слова типа «вошпиталь», «гульвар», «мараль» и другие. Знаменательно, что этот прием реконструкции слов относится к той области лингвистики, которая так и зовется «народная этимология».

Здесь нам до очевидности ясно, как детское словотворчество смыкается с народным.

Настоящая глава для того и написана, чтобы обосновать эту истину долголетним опытом живого общения с детьми. Между тем еще лет десять назад нельзя было и заикнуться о ней. Воображая, будто язык есть явление классовое, тогдашние горе-лингвисты настаивали, чтобы автор этой книжки не смел говорить про общенародную основу детской речи, а непременно доказывал бы, будто речевое развитие пролетарских детей диаметрально противоположно речевому развитию буржуазных. Но сколько я ни вслушивался в детские речи, сколько ни раздумывал над ними, я при всем желании не мог уловить ни малейшего различия между теми путями, какими приходят к обладанию родным языком сын лавочника, сын священника и сын пролетария. Пути были те же, и этапы развития те же.

Но можно ли было говорить о подобных вещах в той обстановке, которая господствовала тогда в науке о языке! И так как при таких обстоятельствах главная идея этой книжки оставалась невысказанной, книжка теряла свою целевую направленность и приобретала характер пестрого сборника разрозненных, бессвязных наблюдений, относящихся к развитию детской речи.

Лишь теперь эти наблюдения могут быть сведены в одно целое, ибо при всем своем разнообразии они говорят об одном: что детская речь на всех этапах своего развития питается неисчерпаемой жизненной силой народного родного – языка.

Ближе всего к этой истине подошел в свое время Ушинский.

«Усваивая родной язык, – писал он, – ребенок усваивает не одни только слова, их сложения и видоизменения, но бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка, – и усваивает легко и скоро, в два-три года, столько, что и половины того не может усвоить в двадцать лет прилежного и методического учения. Таков этот великий народный педагог – родное слово!»[46]

Только что было отмечено, что, вместо того чтобы сказать «запираю на ключ», ребенок часто предпочитает говорить «заключаю».

– Дверь заключена.

---

[44] А.Н.Гвоздев, Вопросы изучения детской речи, М. 1961, стр. 300.

[45] А.Н.Гвоздев, Вопросы изучения детской речи, М. 1961, стр. 466.

[46] К.Д.Ушинский, Родное слово, Полн. собр. соч., т. II, М. 1948, стр. 560.

– Бабушка заключила буфет.

– Отключи сундук.

Я говорил, что, вернув этому старинному слову его забытое первоначальное значение, ребенок тем самым обнаруживает свою близость к основам народного языкового мышления.

Теперь мне сообщают из Болгарии, что в данном случае детьми воскрешен архаизм, который и поныне живет в родственном славянском языке. Оказывается, у болгар даже нет выражения «запирать на ключ». Там говорят: «аз заключвам вратата» – то есть именно то самое, что говорят у нас дети: «я заключаю ворота». Заключване – запирание на ключ. Заключен – запертый на ключ, заключенный.

Об этом пишет мне из Софии молодой филолог Калина Иванова, работающая в болгарской Академии наук. Ее письмо вполне подтверждает догадку, высказанную мною в одном из первых изданий «От двух до пяти», что в братских славянских языках непременно должны отыскаться слова, которые «изобретает» русский малолетний ребенок.

«Вы проводите мысль, – пишет Калина Иванова, – что у ребят очень четкая классификация словообразовательных средств. Свой тезис вы подкрепляете примерами, как ребята, так сказать, „открывают“ заново существующее в русских диалектах слово. Очень интересная мысль! Я подумала, что вам не будет безынтересно знать, что некоторые из слов-выдумок русских детей совпадают с литературными болгарскими словами и таким образом еще раз подчеркивают вашу мысль о лингвистическом чутье детей. Так, например, у нас солонка – сольница; вполне живой глагол – пленять, имеется у нас и слово „плюнка“.»

Недаром (скажу от себя) весло по-болгарски гребло, а подводная лодка подводница.

Эти «иностранные» слова были в разное время «изобретены» у меня на глазах русскими детьми под Москвой в Переделкине. А сейчас Е.В.Гусева из Киева сообщает, что ее внучка Зоя буквально на днях тоже назвала весло греблом.

Калина Иванова выражает мою заветную мысль следующей многознаменательной формулой, открывающей большие перспективы в деле дальнейшего изучения речи детей:

«Таким образом, малые дети бессознательно обнаруживают общие тенденции развития славянских языков, которые иногда получают развитие в одном языке, а в другом существуют лишь как потенции».

Эти потенции никогда не могли бы осуществляться детьми, если бы дети не стояли так близко к самым родникам народного словотворчества.

Этот изумительный факт станет еще более явственным, если мы обратимся к другому славянскому языку – чешскому. Оказывается, что слово тепломер (вместо термометр), изобретенное в России четырехлетним ребенком, с давних времен существует у чехов, как законное «взрослое» слово.

Русский ребенок именует перчатки – пальчатками и солонку – сольницей, не подозревая о том, что по-чешски перчатки палчаны, а солонка – солничка. Даже слово насмарканный (платок), придуманное русским ребенком, давно существует у чехов: насмарканы (кипесник).

Обо всем этом любезно сообщают мне из города Мартин чешские читатели Сватова и Иржи Ланде, подтверждая тем самым мою давнюю догадку о том, что детское словотворчество почти всегда подчиняется строгим законам, управляющим формированием лексики родственных славянских народов.

Возвращаясь к слову «заключать», считаю необходимым напомнить, что в Библии, переведенной на старославянский язык, оно встречается именно в том самом значении, какое придают ему дети.

Как бы ни была велика разница между детьми из различных социальных слоев, как бы ни было разнообразно содержание их речей, в их словотворчестве это сказывается меньше всего. Почти все дети одним и тем же путем приходят к обладанию живой народной речью: почти все они равно оглаголивают имена существительные, удваивают первые слоги, выбрасывают трудные согласные, борются с нашей метафорической речью, называют сухарики – кусариками, лопатки – копатками, пружинки – кружинками.

Не то – игры, монологи, разговоры детей. Тут, как мы видим, разница воздействия социальной среды проявляется значительно резче. Хотя, конечно, нельзя отрицать, что и лексика малых ребят (состав и объем их словаря) тоже в значительной мере связана с той бытовой обстановкой, в которой им приходится жить.

XI. ВОСПИТАНИЕ РЕЧИ

Но, восхищаясь теми чудесными методами, при помощи которых ребенок овладевает родным языком, не забываем ли мы, что мы, взрослые, призваны обучать его правильной речи? Не отказываемся ли мы от роли его воспитателей? Ребенок, например, сказал «отмухиваться», или «блистенький», или «журчей», или «елка обсвечкана», и пусть эти слова кажутся нам превосходными – вправе ли мы культивировать их в речи детей?

Конечно нет! Это было бы вопиющей нелепостью. Хотя никто не может отнять у нас права восхищаться словотворчеством ребенка, но мы нарушили бы элементарнейший педагогический принцип, если бы вздумали хвалить при ребенке то или иное из сочиненных им слов и попытались искусственно удержать это слово в его лексиконе. Как бы ни радовали нас некоторые неологизмы ребенка, мы, его учителя и воспитатели, оказали бы ему очень плохую услугу, если бы оставили в его обиходе то или иное из сочиненных им слов. Как бы ни нравились нам слова «колоток» и «кусарик», мы обязаны тут же заметить ребенку:

– Так не говорят, ты ошибся. Нужно сказать «молоток» (или нужно сказать «сухарик»).

Задача воспитателя заключается в том, чтобы возможно скорее приблизить речь детей к речи взрослых. Нужно решительным образом осудить тех «чадолюбивых» родителей (к счастью, очень немногих), которые, гурмански смакуя причудливую лексику детей, для собственного развлечения нарочито консервируют в их речи всевозможные «сердитки» и «мокрессы» и тем самым тормозят ее развитие.

Иные матери, бабки и деды так восхищаются всяким словечком, какое придумает милый их сердцу ребенок, что даже забывают обидеться, когда тот этим словечком выказывает свое неуважение к ним.

Алена, пяти с половиною лет, стала как-то распекать своего деда:

– Что у тебя в голове? Сено?! А если мозги, так уж очень недодумчивые!

А дед, вместо того чтобы пристыдить грубиянку, стал громко восхвалять (в ее присутствии!) выдуманное ею словцо:

– Как выразительно, как метко: не-до-дум-чи-вые!

И тем доказал, что мозги у него и в самом деле обладают тем свойством, какое в них отметила Алена.

Еще неразумнее поступают родители, которые записывают детскую речь на глазах у ребенка, нисколько не заботясь о том, чтобы скрыть от него свои записи. Ребенок, заметив, что взрослые видят в нем чуть не оракула, теряет непосредственность и становится развязным ломакой с неисправимо испорченной психикой.

Вот что сообщает мне про одного из таких злополучных детей его «недодумчивый» и не в меру чадолюбивый родитель:

«Прочитали ему сказку о попе и Балде. Зная, что его „перлы“ заносятся мною в тетрадку, тщеславный человечек изрек:

– Мама, у тебя толоконный лоб. Папа, запиши это!

Узнав, что я читаю знакомым кое-что из тетрадки с его „перлами“, Славик тенью выскользнул из комнаты и помчался к соседскому мальчику:

– Эдик, иди скорее про меня слушать!»

Очевидно, этот милый родитель даже и не подозревает о том, что, превращая ребенка в «тщеславного человечка», хвастуна и позера, он немилосердно калечит его.

Смаковать при ребенке слова, создаваемые им в возрасте от двух до пяти, – значит поощрять в нем зазнайство, самолюбование, а заодно и пренебрежение к старшим.

Но отсюда отнюдь не следует, что воспитателям дано право деспотически вмешиваться в самый процесс детского словотворчества.

Исправляя словесные ошибки детей, нельзя преграждать им тот естественный путь, которым они из поколения в поколение дорабатываются до правильных форм родного языка. Здесь нужен большой педагогический такт, ибо дело идет о сочетании самой неукоснительной требовательности с глубочайшим уважением к детской психике.

Нужно помнить, что создание «колотков» и «кусариков» – вполне закономерный процесс, хотя, конечно, так же закономерны усилия взрослых ввести этот процесс в определенные рамки

и тем самым помочь ребенку усвоить общепринятую речь, овладеть ее словарем и грамматикой.

Не забудем, что наряду с этой важной задачей у нас есть другая, не менее важная: систематически обогащать речь ребенка новыми и новыми словами. А так как в умственной жизни детей всякое обогащение словами неразрывно связано с обогащением знаниями, ответственность педагогов, осуществляющих эту задачу, представляется нам очень серьезной.

«Для всех детей дошкольного возраста, – читаем в журнале „Дошкольное воспитание“, – необходима прочная, тесная связь представления со словом. Большой простор для обогащения словаря детей новыми словами дает воспитателю окружающая природа. „Сильный дождь пошел, настоящий ливень!“ говорит воспитатель детям, и они прочно связывают свои непосредственные впечатления с новым словом „ливень“. Наряду с новыми словами воспитатель терпеливо и настойчиво добивается уточнения тех слов, которыми ребенок постоянно пользуется, но имеет порой весьма неточное представление о предмете, к которому слово относится. Борода и подбородок, табуретка и скамейка – нередко дети не дифференцируют эти предметы; словом „полка“ они называют и полку и этажерку, не делая никакого различия. Воспитатель не удовлетворяется тем, что ребенок знает новое слово и правильно относит его к предмету. Он добивается, чтобы ребенок пользовался этим словом, употреблял его в своей речи. Для этого воспитатель дает детям возможность часто сталкиваться с данным предметом, рассматривать его, действовать с ним, ставит их перед необходимостью называть вещь. Если ребенок непринужденно, к случаю употребляет новое слово, значит, оно действительно вошло в его словарь»[47].

Мы уже говорили о том, что всевозможные народные песни, сказки, пословицы, поговорки, загадки, составляющие любимую умственную пищу дошкольников, лучше всего приобщают ребенка к основам народной речи.

В последнее время детские сады всей страны с удесятеренной энергией взялись за речевое воспитание дошкольников. Ведется дружная борьба с такими, например, диалектизмами малых ребят, принесенными из домашней малокультурной среды, как «вздравствуй», «транвай», «пондравилось», «хочем», «хотишь», «ляжь», «мы лягем», «калидор», «мы обратно лепили снежную бабу» и проч.[48].

Речь младшего дошкольника, как мы только что видели, особенно бедна прилагательными. В речи детей прилагательные, по данным Вахтерова, составляют всего три-четыре процента. Поэтому задача «обогащения детей прилагательными имеет существенное значение»[49].

Но и здесь все дело в педагогической чуткости. Я, например, знаю родителей, которые, вознамерившись выполнить эту задачу, так ретиво принялись за работу, что пришлось обуздывать их пыл. Ибо нельзя же перегружать детский мозг огромными дозами таких недетских эпитетов, как «трогательный», «меланхолический», «изысканный», «томный», «банальный», «роковой» и т. д. Для ребенка ни один из них не имеет (и не может иметь) никакого конкретного смысла, так как все они – за пределами его личного опыта, и те родители, которые торопятся преждевременно навязать их ребенку, тем самым приучают его к пустословию. Тактичный педагог, исполненный уважения к детям, к закономерностям их нормального языкового развития, всегда найдет возможность обогащать их речь без такого насилия над ними.

Задача воспитателя не в том, чтобы возможно скорее снабдить малыша преизбыточным количеством недетских имен прилагательных, которые ребенку еще не скоро понадобятся, а в том, чтобы раз навсегда вооружить его важнейшими навыками соотносить качественные приметы вещей (размер с размером, окраску с окраской и т. д.), потому что у ребенка до двухлетнего возраста – даже несколько позже – «сфера качества… не получила четкого расчленения. Умея отличать качество от количества или от действия, ребенок в то же время не в состоянии правильно противопоставить их друг другу.

---

[47] «Работа по родному языку – одна из важнейших задач воспитания». Редакционная статья в журнале «Дошкольное воспитание», 1947, № 12, стр. 3.

[48] «Дошкольное воспитание», 1955, № 6, стр. 17–40.

[49] Л.А.Пеньевская, Обучение родному языку. Сборник «Вопросы обучения в детском саду», М. 1952, стр. 123. Ссылку на Вахтерова я заимствую из этой статьи.

Поэтому он большому противопоставляет красное, поломанному маленькое…»[50]

– Принеси мне коробочку точно такой величины, но чтоб была побольше.

Характерный пример неумения детей дифференцировать качества: четырехлетняя Лида Григорян, для которой сплели венок из одуванчиков, увидела такой же венок на подружке:

– У нас венки одинаковые, желтого размера!

Отмечая эту особенность мышления младших дошкольников, Н.Х.Швачкин подробно рассказывает, как под влиянием педагогического эксперимента дети мало-помалу овладели соотношением качеств двух однородных предметов. «В связи с этим, – справедливо замечает ученый, – мышление ребенка становится все более упорядоченным и суждения его о качествах предметов более уточненными»[51].

И вот еще пример такого же своеобразного отношения к логике:

– У тебя большой шар, а у меня красненький.

Таким образом, воспитание речи есть всегда воспитание мысли. Одно неотделимо от другого. Когда двухлетний ребенок, узнав слово «красный» и осмыслив его, выбирает из груды разноцветных предметов одни только красные – красный грибок, красное ведерко, красный лоскут, красную пуговицу, – это значит, что он, пользуясь словом, произвел четкий анализ всего этого ряда вещей и объединил их при помощи синтеза.

«Такому методу умственной деятельности… научило ребенка слово… говорит ленинградский психолог А.А.Люблинская. – Без речи, без слова наглядность нема. Она задерживает познание детей на уровне конкретного и особенного, не давая возможности перейти к отвлеченному, а значит, и раскрыть существенное…»[52]

Речевое развитие детей, конечно, невозможно сводить к одному лишь обогащению их словаря. Развитие это выражается также и в том, что речь их с течением времени становится все более связной. Вначале ребенок выражает свои мысли и чувства отдельными восклицаниями, междометиями, отрывочными, краткими словами или даже фрагментами слов, которые понятны лишь тем, кто находится в повседневном и непрерывном общении с ребенком. Чаще всего отрывочные эти слова являются по своему существу, так сказать, спрессованными фразами. Когда годовалый ребенок говорит, например, «ту» (стул), это может значить: «посади меня на стул», «пододвинь ко мне стул», «положи мои игрушки на стул» и т. д. Целые фразы вмещаются здесь в одном-единственном (к тому же урезанном) слове.

– Пойдем тук-тук! (к соседям, где пляшут).

– Пойдем кхы-кхы! (к тете, которая часто кашляет).

Проходит всего год, и мы на каждом шагу убеждаемся, что ребенок уже овладел основными законами синтаксиса. У него уже хватает умения выражать свои мысли фразами. Но мысли эти еще так неустойчивы, эмоциональны, раскидисты, они с таким необычайным проворством прыгают с предмета на предмет, что нельзя и ждать от детей в этом возрасте сколько-нибудь сосредоточенной, связной, правильно построенной речи. Тут-то и необходимо педагогическое воздействие взрослых. Правда, эта прыгающая детская речь зачастую бывает прелестна своей живой, горячей непосредственностью, но, как бы мы ни любовались ею, мы все же должны всеми способами отучать от нее своих малолетних питомцев и прививать им навыки последовательной и связной речи, что и делается в настоящее время в наших детских садах. Там детей всячески побуждают к рассказыванию (предлагая им, например, изложить содержание демонстрируемой перед ними картинки), причем очень внимательно следят, чтобы форма изложения была наиболее связной[53].

---

[50] Н.Х.Швачкин, Психологический анализ ранних суждений ребенка. Вопросы психологии речи и мышления, «Известия Академии педагогических наук», М. 1954, вып. 54, стр. 129.

[51] Н.Х.Швачкин, Психологический анализ ранних суждений ребенка. Вопросы психологии речи и мышления, «Известия Академии педагогических наук», М. 1954, вып. 54, стр. 131.

[52] А.А.Люблинская, Роль речи в развитии зрительного восприятия у детей. Сборник «Вопросы детской и общей психологии», М. 1954, стр. 18 и 29.

[53] См. интересную статью А.М.Леушиной «Развитие связной речи у дошкольников». «Ученые записки Ленинградского педагогического института имени А.И.Герцена», т. 35, Л. 1941, стр. 21–72.

Все это, конечно, прекрасно, но опять-таки только в том случае, если у воспитателя есть педагогический такт. Если же он своей ежеминутной придирчивостью будет слишком стеснять малышей в свободном выражении их чувств и мыслей, если он не даст никакого простора их эмоциональным высказываниям, он рискует обесцветить их речь, сделать ее анемичной и скудной, убить в ней ее чудесную детскость и тем нанести ей непоправимый ущерб. Топорные методы здесь не годятся, излишняя ретивость окажется здесь только вредна, и хорошие результаты могут быть достигнуты лишь тем воспитателем, который будет действовать исподволь, в меру, не слишком навязчиво, почти незаметно.

Глава вторая
НЕУТОМИМЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

I. ПОИСКИ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НОВИЧОК В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ

Разум ребенка у нас не в чести.

Всякому, кто высказывает какую-нибудь вздорную мысль, мы нередко говорим с раздражением:

– У тебя детская логика!

Или:

– Ты рассуждаешь, как малый ребенок.

Или еще обиднее:

– Глуп, как дитя!

Многим это кажется вполне справедливым: ведь и вправду очень часто приходится слышать от малых ребят самые нелепые суждения и домыслы.

Но стоит только вдуматься в эти «нелепости», и мы будем вынуждены раз навсегда отказаться от такого скороспелого мнения: мы поймем, что в этих «нелепостях» проявляется жгучая потребность малолетнего разума во что бы то ни стало осмыслить окружающий мир и установить между отдельными явлениями жизни те прочные причинные связи, которые ребенок стремится подметить с самого раннего возраста.

Правда, это не всегда удается ему.

Однажды в дачной местности под Ленинградом случилось такое событие: когда небо на закате было красное, подстрелили бешеного пса. С тех пор Майя, двух с половиною лет, всякий раз, когда видела алое вечернее небо, говорила с полным убеждением:

– Опять там бешеную собаку убили!

Легко глумиться над юной мыслительницей, воображающей, будто из-за какого-то дохлого пса небо запылало огнем! Но разве здесь не сказывается та драгоценная тяга к установлению связи между отдельными фактами, которая является движущей силой всех созданных человеком наук?

Эта тяга зачастую приводит ребенка к самым фантастическим выводам. Вот, например, каким образом четырехлетняя Тася усвоила слово «ученый». Впервые с этим словом она встретилась в цирке, где показывали ученых собак. Поэтому, когда полгода спустя она услыхала, что отец ее подруги – ученый, она спросила радостно и звонко:

– Значит, Кирочкин папа – собака?

Ошибка опять-таки чрезвычайно почтенная: в ней сказывается великолепная способность человеческою разума применять ко всякому новому комплексу незнакомых явлений результаты жизненного опыта, добытые в других областях.

Но опыт ребенка микроскопически мал, и оттого ребенок пользуется им иногда невпопад.

Поезд налетел на свинью и разрезал ее пополам. Катастрофу увидела пятилетняя дачница Зоря Котинская и пролила много слез. Через несколько дней ей попалась навстречу живая свинья.

– Свинья-то склеилась! – закричала в восторге Зоря.

Вот до чего ребенку неведомы простейшие вещи, с которыми ему приходится сталкиваться! Новичок в окружающем мире, он на каждом шагу попадает впросак, громоздя ошибку на

ошибку.

Каждый малыш совершает несметное множество подобных ошибок, основанных на глубочайшем незнании самых элементарных вещей и явлений.

Мой трехлетний сын впервые познакомился с сосновыми шишками, когда они валялись на земле под деревьями. И лишь через месяца два увидел их на ветках сосны с верхнего этажа нашей дачи:

– Шишки на дерево полезли как-то.

До чего скудны сведения малых ребят о простейших закономерностях жизни, лучше всего можно видеть из тех потрясающе наивных вопросов и домыслов, с которыми они обращаются к старшим:

– Мама, кто раньше родился: ты или я?

– Папа, а когда ты был маленький, ты был мальчик или девочка?

– Я люблю снег больше солнышка. Из снега можно крепость построить, а из солнышка что?

– Я люблю чеснок: он пахнет колбасой!

– Мама, крапива кусается?

– Да.

– А как она лает?

– Море – это с одним берегом, а река с двумя.

– Под кроватью живут мышкины птенчики.

– А если оторвать голову и я ее в руки возьму, будет она разговаривать?

– Страус – это жираф. Только птица она.

– Индюк – это утка с бантиком.

Крошит курам капустные листья, которые они не едят.

– Это я им в запас, на потом, когда они станут кроликами.

– Мама, что это радио говорит: война, война! Что это такое – война?

– Это когда враги нападают на мирную страну, убивают людей, поджигают города, села, деревни.

Анка снимает радио.

– Куда ты понесла радио? Поставь на место!

– Несу на помойку.

– Зачем?

– Чтобы не было войны!

– Что ли, ножик – вилкин муж?

– Ой, луна вместе с нами летит и в трамвае и в поезде! Тоже на Кавказ захотела!

– Папа, да сруби ты, пожалуйста, эту сосну… Она делает ветер; а если ты срубишь ее, станет тихо в я пойду гулять.

Солнце опускается в море.

– Почему ж оно не зашипело?

Впервые увидал полумесяц:

– Ой, ракета луну поломала.

– Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?

– Если я вырасту тетей, буду врачом. А вырасту дядей – инженером.

Валерик четырех лет:

– Мама, ты была девочкой?

– Да, была.

– В школу ходила?

– Ходила.

– А с кем я дома оставался?

Леша взял кость от говядины, зарыл ее у себя под окном, чтобы выросла корова. По вечерам он поливал эту кость, а по утрам бегал проверять, не показались ли из-под земли коровьи рога.

Моя Мура, трех с половиною лет, совершила такой же безумный (и в то же время вполне закономерный) поступок, который я тогда же попытался прославить в стихах:

Мура туфельку снимала,
В огороде закопала:
Расти, туфелька моя,
Расти, маленькая!
Уж как туфельку мою
Я водичкою полью,
И вырастет дерево,
Чудесное дерево!
Будут, будут босоножки
К чудо-дереву скакать
И румяные сапожки
С чудо-дерева срывать,
Приговаривать:
«Ай да Мурочка,
Ай да умница!»

– Собаки нужны охотнику, чтобы на него зайцы не напали?

Увидала на Невском огромный термометр:

– Улица заболела.

У Славы в папиросной коробке пчела.

– Зачем ты мучаешь пчелу? Выпусти ее.

– Как же! «Выпусти»! Я ее доить буду! Она мне будет мед давать!

Эвакуированная семья устроилась спать под открытым небом у вокзала.

– Мама, почему мы не взяли с собой нашу крышу?

И солнце и звезды в одно мгновение создаются ребенком из маленького пламени в печке:

– Топи, топи, папа, пусть огонь летит на небо, там из него сделаются и солнце и звезды.

Я знал мальчика, который часто допрашивал мать, куда уходит ночь по утрам. Наткнувшись однажды на глубокую яму, на дне которой была темнота, он прошептал понимающе:

– Теперь я знаю, куда прячется ночь.

И вот причина появления весны:

– Зиме стало холодно, она и убежала куда-то.

Такая же эрудиция в области политэкономии:

– Мама, сходи на базар, купи, пожалуйста, побольше денег.

Засыпая в непривычном Крыму:

– Мамочка, потуши солнце.

Увидела поезд:

– Вот откуда облака! Их паровозы делают.

– Ложись на мою подушку, будем вместе мой сон смотреть!

Когда обидят двухлетнего Элю, он говорит угрожающе:

– Сейчас темно сделаю!

И закрывает глаза, убежденный, что благодаря этому весь мир погрузился во тьму.

– Как ты спал? Что видел во сне?

– Ну да! Разве в такой темноте что-нибудь увидишь!

Трехлетней Иринушке подарили крохотные кукольные качели.

Писатель Пантелеев спросил:

– Можно мне на них покачаться?

– Нет, они пока еще маленькие.

– Мама, знаешь, небо сделано из пластмассы!

– Мама, из чего делают корку на хлебе?

– Из муки.

– А как же потом ее на хлеб натягивают?

Миф о происхождении двугорбых верблюдов.

Мать говорит своему трехлетнему Лёсе:

– Слезь с окна, упадешь, будешь горбатый.

– А верблюд, наверно, два раза падал.

Леночка Люляева попросила у бабушки китайский сервиз.

– Когда будешь выходить замуж – подарю.

Леночка сейчас же к отцу:

– Папочка, дорогой, давай с тобой поженимся, и тогда у нас будет китайский сервиз.

Здесь в каждом слове, в каждом поступке ребенка сказывается полное незнание простейших вещей и явлений.

Но, конечно, я привожу эти факты не затем, чтобы глумиться над детским невежеством.

Напротив, они-то и внушают мне уважение к ребенку, так как свидетельствуют, сколько гигантской работы приходится проделывать детскому мозгу, чтобы уже к семилетнему возрасту преодолеть этот умственный хаос.

Нельзя не удивляться тому, за какой маленький срок ребенок овладевает таким несметным богатством разнообразных познаний.

Уже ко времени поступления в школу он начисто освобождается от тех заблуждений, которые были присущи ему в возрасте от двух до пяти.

К этому времени его эрудиция становится так велика, он так чудесно ориентируется в мире вещей и явлений, что уже не скажет ни одной из тех фраз, какие приводятся в настоящей главе: ему уже твердо известно, что шишки не взлезают на дерево, что куры не становятся кроликами и вилка не бывает женою ножа. Уже та неизмеримо огромная разница, какую мы замечаем в объеме познаний младшего дошкольника и младшего школьника, говорит о чудодейственной активности детского разума в этот ранний период его бытия.

Вот, например, как велика неосведомленность малых детей в области анатомии, физиологии людей и животных.

Голый мальчик стоит перед зеркалом и говорит, размышляя:

– Глаза, чтобы смотреть… Уши, чтобы слышать… Рот, чтобы говорить… А пуп зачем? Должно быть, для красоты…

– У Юры в носу понос!

– Ой, мама, меня под коленкой тошнит!

Сережа, двух с половиною лет, с большим любопытством глядел, как женщина, придя к его матери, кормит свою девочку грудью.

– Мама, – спросил он, – а когда я был маленький, я тоже так пил молоко?

– Да.

– А как ты его туда наливала?

Другой столь же глубокий вопрос, заданный при тех же обстоятельствах.

Мать кормит грудью новорожденную Катю. Старший Максим лет пяти, правнук А.М.Горького, спрашивает с величайшей серьезностью:

– А кофе там тоже бывает?

– У Аленки на руках одни мизинчики!

– Мама, мама, у меня болит блюдечко!

И указала на коленную чашку.

– У коровы из титеньки морковки торчат.

Бабушка вынула искусственные зубы. Юра расхохотался:

– А теперь глазки выньми!

– Вот чудо – я пью и кофе, и воду, и чай, и какао, а из меня выходит один только чай.

– Мама, сними с меня башмак. У меня на правой ноге ладошка чешется.

– Ах, мамочка, у тебя только две груди?

– А ты что думал?

– А я думал – как у нашей Дамки: в два ряда по всему животу.

ПОИСКИ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

Но сколько бы мы ни приводили подобных ошибок, нельзя не восхищаться проявившимся в них упорным стремлением детского разума внести хотя бы иллюзорный порядок в разрозненные, дробные знания о мире.

Пусть ребенок на первых порах устанавливает ассоциации по случайному признаку, пусть иные применяемые им аналогии ложны, все же самое желание ребенка ответить на вопросы: за-

чем? почему? каким образом? – есть важнейшее качество его младенческой психики.

В этом искании закономерностей – основа культуры, залог прогресса человеческой мысли; и как бы ни спотыкался ребенок на первых порах (а спотыкается он буквально на каждом шагу!), он идет по верному пути.

Каждое из тех детских суждений, которые мы сейчас приводили, основано либо на ассоциации по смежности, либо на ассоциации по сходству.

Ассоциацию по смежности применила, например, двухлетняя Майя – та, о которой сказано в самом начале главы. Ее сильно поразили два факта, совпавшие случайно во времени: закатное небо, пламеневшее невиданными алыми красками, и выстрел милиционера в собаку.

Именно потому, что эти два факта были для нее так неожиданны, новы и ярки, она выделила их из ряда других – и тотчас же установила между ними причинную связь, решив, будто собак убивают всегда, когда небо становится красным.

Пусть на этот раз она ошиблась, но все же, повторяю, она проявила важнейшую склонность ума человеческого к отысканию взаимной обусловленности наблюдаемых фактов.

Здесь, так сказать, эмбрион причинно-следственного мышления, свойственного всему человечеству.

Конечно, ошибочные суждения детей мы, взрослые, должны искоренять самым настойчивым образом; но нельзя же оставаться слепыми к тем замечательным приемам мышления, которыми оперирует ребенок даже тогда, когда совершает ошибки.

Ошибки очень скоро преодолеются жизненной практикой, навыки же к причинно-следственному истолкованию фактов останутся у ребенка навсегда.

Чудесно сказано об этом у Сеченова: «Ребенок начинает сознавать предметы внешнего мира не только в их обособленности, но и со стороны взаимных отношений, как цельных предметов друг к другу, так и частей каждого отдельного предмета к своему целому. Пониманию ребенка открываются через это те пружины материального бытия, которыми связываются объекты внешнего мира и которые составляют основу как обыденного, так и научного миросозерцания.

Из элементарных размышлений ребенка вырастает мало-помалу та грандиозная цепь знаний, которая, начинаясь самым поверхностным расчленением конкретных фактов материального мира, увенчивается точным, непогрешимым математическим знанием»[54].

От «поверхностного расчленения фактов» Майя, как мы видели, уже перешла к отысканию их взаимных отношений. Правда, она даже попытки не делает определить качества наблюдаемых ею вещей, а просто связывает их произвольной каузальной (причинной) связью.

Следующий шаг на этом пути – ассоциации по сходству (и различию) предметов. Наиболее наглядным примером такой ассоциации является сделанное трехлетним ребенком определение индюка: «Индюк – это утка с бантиком».

Одно частное понятие ребенок определяет другим, и в этом его ошибка; но самое его тяготение к классификации объектов материального мира по видовым и родовым признакам, к сопоставлению их с другими объектами является надежной основой всей его будущей умственной деятельности.

II. ПОЛУВЕРИЕ

Но, конечно, ребенок есть ребенок, а не ученый педант.

При всей огромности своей интеллектуальной работы он никогда не чувствует себя умственным тружеником, неутомимым искателем истины.

Он то играет, то прыгает, то поет, то дерется, то помогает бабушке или маме хозяйничать, то капризничает, то рисует, то слушает сказку, и уразумение окружающей жизни никогда не воспринимается им как специальная задача его бытия.

Никогда не выделяет он мышления из всей своей жизненной практики, да и самое мышление у него в эту пору очень неустойчиво, прерывисто и легко отвлекается в сторону.

Длительная сосредоточенность мысли не свойственна раннему дошкольному возрасту.

---

[54] И.М.Сеченов, Кому и как разрабатывать психологию? Избранные философские и психологические произведения, М. 1947, стр. 268.

Часто случается, что, создав ту или иную гипотезу для объяснения непонятных явлений, ребенок через минуту уже забывает о ней и тут же импровизирует новую.

В конце концов он доработается мало-помалу до более верного понимания действительности, но, конечно, нельзя ожидать, что за неправильной гипотезой сразу же последует более правильная.

Он идет к истине большими зигзагами.

Иногда в его уме очень мирно сожительствуют два прямо противоположные представления. Это видно хотя бы из такой изумительной фразы одной четырехлетней москвички:

– Бог есть, но я в него, конечно, не верю.

Бабушка внушала ей догматы православной религии, отец, напротив, вовлекал ее в безбожие, и она, желая угодить и той и другой стороне, выразила одновременно в одной крошечной фразе и веру и неверие в бога, обнаружив большую покладистость и (в данном случае!) очень малую заботу об истине:

– Бог есть, но я в него, конечно, не верю.

Высказывая два положения, взаимно исключающие друг друга, ребенок даже не заметил, что у него получился абсурд.

– А бог знает, что мы ему не верим?

Ни в социальном, ни в биологическом плане тюте истины еще не нужны ему, и оттого он так охотно играет понятиями, легко создавая для себя разнообразные фикции, и распоряжается ими то так, то иначе, как вздумается.

Четырехлетняя девочка играет деревянной лошадкой, как куклой, и шепчет:

– Лошадка надела хвостик и пошла гулять.

Мать прерывает ее: лошадиные хвосты не привязные, их нельзя надевать и снимать.

– Какая ты, мама, глупая! Ведь я же играю!

Из дальнейшего выясняется, что истина о неотделимости лошадиных хвостов издавна известна девочке, но именно поэтому она может оперировать противоположным понятием, создавая воображаемую ситуацию, дабы играть со своей бесхвостой лошадкой, как с куклой, – то есть одевать, раздевать ее.

Чем больше вглядываюсь, тем яснее вижу, что наши «взрослые» отношения к истине нередко бывают чужды ребенку – особенно во время игры.

Какие только игры не увлекают ребенка! Среди них очень заметное место принадлежит смысловым играм, целесообразность которых вполне очевидна: ребенок как бы тренируется для будущей умственной деятельности.

Одна из этих игр заключается именно в том, что ребенок, услышав два разных истолкования одного и того же факта, соглашается одновременно «верить» обоим.

Очевидно, в такие минуты истина кажется ему многообразной, пластичной, допускающей неограниченное число вариантов.

Здесь вполне применимо меткое английское слово halfbelief! полуверие, вера наполовину.

Это полуверие имеет разные степени, и порою мне кажется, что ребенок управляет им по собственной воле.

Пятилетняя Люся спросила однажды у киевского кинорежиссера Григория Прокофьевича Григорьева:

– Почему трамвай бегает туда и сюда?

Он ответил:

– Потому что трамвай живой.

– А отчего искры?

– Сердится, хочет спать, а его заставляют бегать – вот он и фыркает искрами.

– И неправда! – закричала Люся. – Он не живой и не сердится.

– Если бы не живой, не стал бы бегать.

– Нет, там такая машина, мне сам папа сказал, я знаю!

Григорьев был обескуражен ее реализмом и смолк. Но через некоторое время услышал, к великому своему изумлению, как Люся поучает подругу:

– А ты и не знаешь? Если бы не живой, разве бегал бы взад и вперед? Видишь – искры: трамвай сердится, хочет спать, набегался за день.

Подруга слушает ее и верит ей ровно настолько, насколько это нужно для данного случая.

Люся продолжает наслаждаться гипотезой о живом и очень сердитом трамвае. И хотя ей отлично известно, что такое трамвай, она не без успеха вычеркивает из своего сознания истину, мешающую ее смысловой игре.

Ибо временами ребенок не столько приспособляется к истине, сколько истину приспособляет к себе ради воображаемой игровой ситуации.

Моя правнучка Машенька, начиная с двухлетнего возраста, выражала свое тяготение к сказке, к фантастическим представлениям о мире при помощи словечка «как будто».

Вот отрывок из дневника ее матери:

«Она уже прекрасно знает, что ни животные, ни предметы не могут говорить. Однако пристает ко мне с вопросами:

– Мама, а что сказала лошадь дедушке как будто?

Или:

– Мама, а что стул сказал как будто столу, когда его отодвинули? Он сказал: „Мне без столика скучно“ как будто, а столик как будто заплакал.

И если я не всегда могу сообразить, что сказал „как будто“, допустим, дом грузовику, она мне подсказывает и велит повторять.

– Когда мы идем за грибами, то они как будто говорят: „Давайте вылезать из земли, за нами идут“.»

Из дальнейших записей того же дневника выясняется, что девочка чувствовала себя полной хозяйкой всех создаваемых ею иллюзий и по своему желанию могла отказаться от них, если они нарушали ее интересы.

Как-то за чаем она закапризничала и заявила, что ей не хочется булки. Мать попыталась воздействовать на нее при помощи того же «как будто».

– Видишь, булочка как будто просит, чтобы ты ее скушала.

И услышала резонный ответ:

– Булка говорить не умеет. У булки нет ротика.

И такое повторялось не раз: девочка, в случае надобности, тотчас же отрекалась от всяких «как будто» и становилась трезвой реалисткой. Ибо у нее, как у всех малышей, было чисто игровое отношение к фантастике, и она верила в свои иллюзии в той мере, в какой они были нужны ей для ее познавательных игр.

Точно так же относится ребенок и к сказочный вымыслам.

Некий велемудрый отец, оберегая свою дочь от фантастики, сочинил для нее, так сказать, антисказку, где проводилась мысль, что бабы-яги вообще не существует в природе.

– Я и без тебя знала, – ответила девочка, – что бабы-яги не бывает, а ты мне расскажи такую сказку, чтоб она была.

По существу это двойственное, игровое отношение к реальности ничем не отличается от того, какое выразилось в незабываемой фразе:

– Бог есть, но я в него, конечно, не верю.

Процесс добывания истины нисколько не затрудняет ребенка. Многие проблемы он решает мгновенно, экспромтом, на основании случайных аналогий, иногда поражающих своей фантастичностью.

Мать готовится печь пироги. Ее пятилетняя дочь сидит на подоконнике и спрашивает:

– Откуда берутся звезды?

Мать не успевает ответить: она занята своим тестом. Девочка следит за ее действиями и через несколько минут сообщает:

– Я знаю, как делают звезды! Их делают из лишней луны.

Эта внезапная мысль подсказана ей пирожками. Она увидела, как мать, изготовляя большой пирог, отрезает от раскатанного теста все «лишнее», дабы вылепить из этого «лишнего» десяток-другой пирожков[55].

Отсюда созданная детским умом параллель между пирожками и звездами, которая в ту же минуту привела его к новой теории о происхождении планет.

---

[55] Этот пример я заимствую из статьи А.В.Запорожца «Развитие логического мышления у детей в дошкольном возрасте». Сборник «Вопросы психологии ребенка», М.-Л. 1943, стр. 82.

III. «СТО ТЫСЯЧ ПОЧЕМУ»

Все это так… Но этим не должно заслоняться от нас основное стремление детского разума овладеть наибольшим количеством знаний, необходимых для правильной ориентации в мире.

Какой бы неустойчивой и шаткой ни казалась нам (особенно в первые годы) умственная жизнь ребенка, мы все же не должны забывать, что ребенок от двух до пяти – самое пытливое существо на земле и что большинство вопросов, с которыми он обращается к нам, вызвано насущной потребностью его неутомимого мозга возможно скорее постичь окружающее.

Главное отличие человека от всех, даже высших, животных заключается в том, что животные, встречаясь с каким-нибудь жизненным фактом, никогда не спросят себя, почему этот факт существует.

Вопросы «почему?», «отчего?» возникают лишь в уме у человека.

«Желание узнать причины, как что делается возле нас, совершенно естественно человеку в каждый возраст, – утверждает А.И.Герцен в своих „Разговорах с детьми“. – Это всякий испытал на себе. Кому не приходило в голову в ребячестве, отчего дождь идет, отчего трава растет, отчего иногда месяц бывает полный, а иногда видна одна закраинка его, отчего рыба в воде может жить, а кошка не может?.. Людям так свойственно добираться до причины всего, что делается около них, что они лучше любят выдумывать вздорную причину, когда настоящей не знают, чем оставить ее в покое и не заниматься ею.

Такого любопытства – знать, что и как делается, – звери не имеют. Зверь бегает по полю, ест, коли что попадется по вкусу, но никогда не подумает, почему он бегает и отчего он может бегать, откуда взялся съестной припас, который он ест. А люди всем этим заботятся»[56].

Больше всего люди «заботятся» этим в ребячестве. С возрастом пытливость угасает, особенно у тех, кто привык думать и жить по инерции…

Не то ребенок – в возрасте от двух до пяти.

Вот стенографическая запись вопросов, заданных с пулеметною скоростью одним четырехлетним мальчуганом отцу в течение двух с половиной минут.

– А куда летит дым?

– А медведи носят брошки?

– А кто качает деревья?

– А можно достать такую большую газету, чтобы завернуть живого верблюда?

– А осьминог из икры вылупляется или он молокососный?

– А куры хожут без калош?

И вот вопросы другого ребенка:

– Как небо получилось?

– Как солнце получилось?

– Отчего луна такая ламповая?

– Кто делает клопов?[57]

Иногда эти вопросы следуют один за другим более замедленным темпом. В неизданном дневнике Ф.Вигдоровой приводятся такие вопросы ее пятилетней дочери:

«Кто такой гигант? – А гигант может поместиться в нашей комнате? – А если встанет на четвереньки? – А гиганты ходят в одежде или голые? – А что гиганты кушают? – Они добрые или нет? – А может один гигант убить всех фашистов?

Все это не сразу, а порознь. Значит, голова продолжает работать, раздумывать».

Машенька о радио:

– А как же туда дяди и тети с музыкой влезли?

И о телефоне:

– Папа, когда я с тобой говорила по телефону, как же ты туда, в трубочку, забрался?

Мне сообщают о трехлетнем мальчугане, который задал такой же вопрос.

---

[56] А.И.Герцен, Разговоры с детьми, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XIV, М. 1958, стр. 206.

[57] К.Рождественская, Особенности детского восприятия. Журнал «Детская литература», 1940, № 5, стр. 10.

Его тетка, физик по образованию, тотчас же принялась объяснять ему устройство телефонного аппарата.

Он внимательно слушал ее, но после всех объяснений спросил:

– А как же папа оттуда вылез?

– Кто сделал дырки в носу?

– И почему у одних только мамов есть молоко для маленьких, а у папов нет?

Гораздо реже, чем «отчего?» и «почему?», ребенок задает вопрос: «зачем?» Но все же задает его с горячим упорством.

К трем годам – порою даже раньше – он проникается твердой уверенностью, что все окружающее существует не «просто так», а для какой-нибудь точно обозначенной цели, – главным образом для удовлетворения его собственных нужд и потребностей. Корова – чтобы давать ему молоко, яблоня, чтобы снабжать его яблоками, тетя Зина, чтобы по праздникам угощать его тортом. Когда же целесообразность окружающих его людей и предметов остается непонятной ему, он видит здесь нарушение строго установленных законов природы и заявляет протест:

– Мама, зачем это в каждую черешню кладут косточку? Ведь косточки все равно надо выбрасывать.

– Зачем снег на крыше? Ведь по крыше не катаются ни на лыжах, ни в санках!

– Ну хорошо: в Зоопарке звери нужны. А зачем в лесу звери? Только лишняя трата людей и лишний испуг.

Иногда вопросы «для чего?» и «зачем?» возникают у малых детей в самых неожиданных случаях.

Трехлетняя Верочка от кого-то услышала, что не следует вставать с левой ноги, и решила всегда вставать с правой. Но запомнить, где левая нога, а где правая, было не так-то легко, и Вера не раз ошибалась. Эти ошибки очень огорчали ее. В конце концов она чуть не со слезами воскликнула:

– И зачем это приделали левую ногу?

У Чехова есть крохотный рассказ «Гриша», где собрано столько наблюдений над малым ребенком, сколько иной профессиональный психолог не сделает за всю свою жизнь. Гриша (двух лет восьми месяцев), как и всякий человек его возраста, задает себе вопросы «почему?» и «зачем?» по поводу многих предметов и лиц, причем считает их существование оправданным лишь в той мере, в какой они служат ему. Так, по его убеждению, часы в столовой нужны исключительно для того, чтобы махать маятником и звонить. Еще больше оправдано существование няни и мамы:

«Они одевают Гришу, кормят и укладывают его спать, но для чего существует папа – неизвестно»[58].

С возрастом познавательные интересы ребенка все более утрачивают свою неустойчивость, и уже к пяти-шести годам он начинает серьезнейшим образом относиться к материалу своей интеллектуальной работы.

Очень убедительно говорится об этом в письме, которое написала мне из города Пушкина юная мать, Нина Васильева, о своем четырехлетнем Николке:

«…Он настойчиво расспрашивает меня, что такое война, что такое граница, какие народы живут за границей, кто с кем воевал и с кем дружно жил, с кем собирается воевать и что побуждает к войне тех или других и т. п. Отбою нет: так настойчиво, точно хочет заучить.

Я часто отказываюсь отвечать ему, потому что не знаю, как примениться к четырехлетнему уму; он раздражается и даже начинает презирать меня за незнание.

– Как устроен водопровод, паровой котел, трактор, автомобиль, электрическое освещение, что такое гроза, откуда берутся реки, как охотятся на диких зверей, на каждый вид в отдельности, отчего заводятся в утробе матери детеныши – „от пищи, что ли?“ – подробно о птицах, о жителях прудов, где мы копаемся сачком, – вот его вопросы, они исходят исключительно от него самого без всякого толчка с моей стороны, и все они трактовались еще в прошлом году, когда ему было три года.

Часто я отвечаю ему в духе: „Вырастешь, Саша, узнаешь“, – как у Некрасова. Он серьез-

[58] А.П.Чехов, Собр. соч. в 12-ти томах, т. 4, М. 1955, стр. 188.

нейшим образом, очень продуманно говорит:

– Не будешь мне отвечать, я буду глупый; а если ты не будешь отказываться мне объяснять, тогда, мама, я буду все умнее и умнее…»

Не всякий ребенок способен так отчетливо и внятно мотивировать требования, которые он предъявляет ко взрослым, но всякий предъявляет их с такой же настойчивостью.

Эти требования четырехлетний Сережа лаконически выразил в таком обращении к маме:

– Я почемучка, а ты потомучка!

И те взрослые, которые брезгливо отмахиваются от «докучных» вопросов ребенка, совершают непоправимо жестокое дело: они насильно задерживают его умственный рост, тормозят его духовное развитие. Правда, в жизни ребенка бывают периоды, когда он буквально замучивает своих бабок, отцов, матерей бесконечными «почему» и «зачем», но чего бы стоило наше уважение к ребенку, если бы мы ради личных удобств лишили его необходимейшей умственной пищи?

«Есть детский возраст, – пишет Борис Житков, – это между 4-мя и 6-ю годами, когда дети неотступно, просто автоматически, кажется, на каждое слово взрослых отвечают, как маньяки, как одержимые: почему?

– Птичка летает, птичка порхает! – пробует отвлечь их взрослый.

Но ребенок неукоснительно спрашивает:

– Почему порхает?

Даже „серенький козлик“ не утешает, сейчас же вопрос:

– Почему серенький?

Но не только „почему серенький?“ – вопросы ставят родителям прямо деловые, конкретные вопросы. Тут у родителей часто не хватает сведений, а тогда чаще не хватает смелости ответить: „Не знаю. Погоди, справлюсь, скажу“.

Родители в таких случаях зачастую врут.

Врут из двух соображений: во-первых, чтобы отстать от надоедливого „почемучки“, и, во-вторых, чтобы не потерять авторитета всезнайства. Вопросы ребят самые универсальные; нужно, конечно, быть энциклопедистом, чтобы на все эти вопросы дать ответы, а зачастую и быть философом. Какая уж там энциклопедия и философия, когда трое на все голоса пристают и за юбку дергают! И родители волей-неволей брякают, что в ум взбредет. Но слово родителей – авторитет. И вот над авторитетной санкцией размышляют жадные умы.

Часто ни разу в жизни не придется больше поставить этот вопрос, и, право, на всю жизнь западет это раздраженно брошенное слово, и кто знает, когда оно выплывет и окажет незримое свое действие в поступках взрослого человека…

Взрослый давно забросил эти „почему“: то ли устав спрашивать, то ли отчаявшись получить исчерпывающий ответ. Но ребенок, раз поверив в ум и знания взрослых, не отстает и спрашивает:

– А почему глиняный?

А взрослый отвечает что попало, в надежде: вырастет – сам поймет, в чем дело, когда поумнеет. А этот маленький, от которого он отмахивается авторитетной глупостью, не глупей его. Его ум еще не засорен и жадней к знанию»[59].

Но, разумеется, далеко не все родители отвечают что попало.

Чувство своей социальной ответственности за правильное воспитание ребенка заставляет многих матерей и отцов усиленно заниматься самообразованием – специально для того, чтобы исподволь подготовиться к неизбежным вопросам четырехлетних мыслителей.

«Надо признаться, что у меня часто не хватает знаний, чтобы ответить на ряд вопросов детей, – пишет одна мать в стенгазете детского сада. – Те элементарные сведения, которые я получила в школе в области естествознания, биологии, не всегда достаточны, наполовину забыты, а ведь вопросы ребят бывают очень разнообразны… Отвечать на эти вопросы надо, и надо ответить так, чтобы ребенок понял… И вот приходится ходить в планетарий, брать книжку „Правда о небе“, браться за ботанику, зоологию…»[60]

---

[59] Жизнь и творчество Б.С.Житкова, М. 1955, стр. 385–386.

[60] Э.И.Залкинд, Как отвечать на вопросы детей. Сборник «Воспитание ребенка в семье», М. 1950, стр. 230.

Наш воспитательский долг – не только отвечать малышам на их бесконечные вопросы, но и активно пробуждать их пытливость, чтобы число этих вопросов росло. Нужно ли говорить, что из года в год, а порою из месяца в месяц эти вопросы становятся все содержательнее?

Отсюда, конечно, не следует, что мы должны сразу перегружать детский мозг всей своей тяжеловесной эрудицией. «Толково ответить на вопрос ребенка, – писал Горький, – большое искусство, оно требует осторожности». Наши ответы на вопросы детей должны быть строго дозированы. Ведь дети совсем не требуют от нас, чтобы мы раскрывали перед ними всю истину – всю до конца, во всей ее сложности и глубине. Вот один из многих примеров, которые ежедневно убеждают нас в этом.

– Мама, как едет трамвай?

– По проводам идет ток. Мотор начинает работать, вертит колесики, трамвай едет.

– Нет, не так.

– А как же?

– А вот как: динь, динь, динь, ж-ж-ж-ж!

По наблюдениям советских педагогов, «даже дети дошкольного возраста не всегда своими вопросами стараются добиться настоящей, доподлинной причины того или другого явления, объяснение которого можно дать только в научной форме, недоступной ребенку».

Детям понятны главным образом поверхностные, внешние связи между явлениями природы. Поэтому ребенок удовлетворяется иногда простой аналогией, ссылкой на пример[61].

IV. ДЕТИ О РОЖДЕНИИ

Этой особенностью детского разума мы и обязаны пользоваться всякий раз, когда ребенок задает нам вопросы, на которые невозможно ответить со всей прямотой.

К числу таких вопросов принадлежит раньше всего вопрос о рождении.

Наиболее пытливые дети в большинстве случаев уже на четвертом году начинают страстно размышлять о причинах своего появления на свет. Тогда же у них возникают вопросы о том, откуда вообще появляется на земле все живое, и не было, кажется, ребенка, который не создал бы своей собственной гипотезы по этому поводу.

Конечно, все такие гипотезы всегда, без единого исключения, ошибочны, но каждая из них громко свидетельствует о неустанном труде его мысли.

Раздумья о начале всего существующего – закономерность умственного развития ребенка. И когда ребенок спрашивает: «Кто выродил первую маму?» здесь сказывается одна из самых ранних попыток его юного мозга доискаться до первопричин материального мира.

По словам современных исследователей такие вопросы совершенно естественны. «Ребенок, – говорит один из английских ученых, – видит, что на свете существуют мужчины и женщины, старики и юнцы, маленькие дети и большие, он видит, что в его родной семье то и дело появляются новые младенцы, он слышит, что то же происходит и в других семьях, и конечно, он был бы слепым и глухим и притом слабоумным, если бы у него не возникло вопроса о происхождении детей»[62].

Умелые педагоги применяют особую тактику, при помощи которой возможно, не слишком отклоняясь от истины, на первых порах удовлетворить любопытство ребенка, жаждущего проникнуть в тайны рождения человека. «А почему папа не беременный?» – спросил один малыш у воспитательницы детского сада. Она ответила ему с той осторожностью, которую рекомендовал педагогам М.Горький: «Родятся дети только у мам, а папы тоже любят своих детей, заботятся о них. Вы видели, как голуби кормили своих птенчиков: и мама и папа давали птенчикам корм. Яички в гнездышко кладет только мама, а когда мама-голубка улетает, то голубь садится на гнездо и греет яички…» «Вот в таком хорошем, вразумительном тоне дается ответ детям. И дети удовлетворяются», сообщает автор статьи[63].

---

[61] Э.И.Залкинд, Как отвечать на вопросы детей. Сборник «Воспитание ребенка в семье», М. 1950, стр. 225–226.

[62] «The Nursery Years», by Susan Isaaks, London (Routledge and Kegan Paul), 1956, p. 93.

[63] Э.И.Залкинд, Как отвечать на вопросы детей. Сборник «Воспитание ребенка в семье», М. 1950, стр. 227.

Верна ли эта тактика, не знаю. Дети бывают разные, и никаких универсальных рецептов, конечно, у нас не имеется. Здесь нужен индивидуальный подход, причем все зависит от чутья педагогов, от их таланта и такта. Общих норм, равно применимых ко всякому ребенку при всех обстоятельствах, здесь нет и не может быть. Поэтому на дальнейших страницах нам надлежит ограничиться простым воспроизведением наиболее характерных фактов, показывающих, как многосторонен и жгуч интерес малолетних умов к этой – для них непосильной – проблеме.

Вот, например, любопытная запись о моей правнучке Машеньке:

До четырех лет ей внушали, что детей покупают в магазине. Но в четыре года посыпались вопросы: в каком магазине? где? как? и т. д.

Пришлось объяснить, что детей не покупают, а рожают. Например, мама родила Машеньку, а баба Марина – маму и т. д. «А дедушка Коля кого родил? Тети родят девочек, а дяди мальчиков?» – и была возмущена, узнав, что дяди не родят. Далее посыпалось: «Почему Сережа родился у тети Гали, а не у тебя? Не захотел быть в твоем животике? Почему? А почему Людочка родилась позже меня и теперь она меньше меня? Почему она не захотела родиться вместе со мной?»

«Моя шестилетняя Туська, – пишет мне С.А.Богданович, – увидела беременную и стала смеяться:

– У-у, какой живот!

Я говорю ей:

– Не смейся над тетей: у нее в животе ребеночек.

Туська с ужасом:

– Съела ребенка?!»

– И мальчиков мамы родят? А для чего тогда папы?

– Как я родилась, я знаю. А вот откудова вы с папой выродились?

– Мама, кто меня выродил? Ты? Я так и знала. Если бы папа, я была бы с усами.

И снова – на ту же тему:

– Какая это библиотекарша? С усиками?

– Да.

– А почему она с усиками?

– Не знаю.

– Должно быть, ее папа выродил.

– А петух может совсем-совсем-совсем забыть, что он петух, и снести яичко?

– Как это – где я взялась? Ты же сама родила меня своими собственными руками.

– Мам, из чего человеков делают? Что ли, из костёв?

– Дядя, дядя, из большого кролика высыпались вот такие малюсенькие. Иди скорее, а то они влезут обратно, и ты их никогда не увидишь!

Через много лет мне сообщили о девочке, которая, присутствуя при рождении котят, сказала понимающим голосом:

– Это мышки из кошки сыплются.

– Как сделался первый человек? Ведь его родить-то было некому!

Вере три года. Коле пять. Они поссорились. Вера кричит:

– Мама! Не роди этого гадкого Колю!

Коля (злорадно):

– А я уже вырожденный!

– Эта девочка родилась с ручками и ножками или ей их потом приделали?

– Эх, мама, мама, и зачем ты родила этого гадкого Гуку! Сидел бы он лучше у тебя в животе и скучал бы там всю свою жизнь.

В повести Веры Пановой «Сережа» пятилетний герой рассуждает:

«Откуда берутся дети – известно: их покупают в больнице. Больница торгует детьми, одна женщина купила сразу двух. Зачем-то она взяла совершенно одинаковых – говорят, она их различает по родинке: у одного родинка на шее, у другого нет. Непонятно, зачем ей одинаковые. Купила бы лучше разных».

Вообще легенда о том, что родители покупают детей, – одна из самых распространенных

среди младших дошкольников.

Какой-то назойливо шутливый старик сказал пятилетней Наташе об ее младшей сестре:

– Подари-ка мне эту девочку!

– Как же можно! – солидно возразила Наташа. – Мы за нее деньги платили.

Т.К.Горышина пишет:

«С извечным вопросом малолетних исследователей – откуда берутся дети, я столкнулась, когда Кате было четыре года. Относительно себя она безоговорочно приняла версию о покупке в магазине (насколько я знаю, этот современный вариант полностью вытеснил прадедовского аиста). Но уже в пять лет Катя обратилась ко мне с недоумением:

– А откуда звери берут детей? Ведь у них же нет магазинов».

Та же Катя:

– А знаешь, как из мальчика сделать девочку? Нужно надеть на него юбку и бантики, вот и все!

Отец шестилетней Светланы продал принадлежавший ему телевизор.

– Вот и хорошо! – заявила Светлана. – Теперь у тебя есть деньги и ты можешь купить мне братишку.

– Сколько вы заплатили, когда покупали меня в родильном доме?

– Ты весил три килограмма, кажется, по семьдесят пять копеек за килограмм.

– Разве детей продают по весу? Что они, сыр или колбаса?

Пятилетнего Вову иногда заставляли нянчить маленькую Лену, сестру. Соседка в шутку просила его, чтобы он продал ей Лену. Он не соглашался. Но когда ему надоело быть нянькой, он сам принес ей Лену дня продажи.

– У меня нет денег, – сказала соседка.

– А вы возьмите в долг, под зарплату.

Мать пятилетнего мальчика, вернувшись из родильного дома, громко сокрушалась о том, что у нее вместо девочки – мальчик.

Слушая ее жалобы, сын посоветовал:

– А если копия чека осталась, можно и обменять!

Родители Тани (двух с половиной лет) обещали купить ей братишку, но не сейчас, а потом, так как денег у них было маловато. Танечка стала копить медяки и, бросая их в глиняную кошку-копилку, всякий раз нетерпеливо допытывалась, сколько еще не хватает, чтобы купить хотя бы самого дешевого Ваню.

Так прошло месяцев пять. Как-то вечером родители побывали в кино. Узнав об этом, Таня расплакалась:

– Не тратили бы денег на билетики, а скорее купили бы Ваню!

Ира Гмызина (в г. Петропавловске) попросила у матери, чтобы та купила ей девочку Таню.

– Они очень дорого стоят, – ответила мать. – Хочешь, я куплю тебе куклу?

Ира отказалась. Через несколько дней радио объявило о снижении цен.

– Ну, теперь, – закричала Ира, – ты можешь купить мне Таню!

Испытывая жгучую ревность к новорожденной сестре, трехлетний Игорь предложил отцу:

– Давай продадим Нинку обратно в роддом! Давай!

Подружка сказала Люде, что ей купят сестру или брата. Люда с негодованием:

– Не купят, а выродят. Детей покупали, когда было рабство, а теперь всех выраживают.

Дочь ленинградского профессора М.Басова (пяти с половиною лет) сообщила ему как-то в разговоре, что котята, которые родятся у кошки, происходят, по ее убеждению, от съеденных кошкой мышат.

– А маленькие дети как родятся? – спросил отец, испытуя ребенка.

– Тоже у мамы в животе! Вот мама съест телятину, у нее и родится маленький ребеночек.

– А если я съем телятину, у меня родится или нет?

– У тебя тоже родится. У мамы дочка, у тебя сынок.

«Так, – говорит профессор Басов, – ребенком, крайне неожиданно для его собеседника, а может быть, и для него самого, были разрешены сразу две проблемы – происхождение видов и проблема пола».

Марина:

– Нана, если дети стриженые, ты можешь узнать, это мальчик или девочка?

– Нет. Если нет косичек, не могу.

– А мамы, представь себе, догадываются.

Лет тридцать назад, когда в Ленинграде еще существовали пролетки, шестилетний Антон, узнав, что лошади родились «из животика», без всякого удивления спросил:

– Разве у извозчиков такой большой живот?

– Слушай, мама: когда я родился, откуда ты узнала, что я – Юрочка?

– Если бы я знала, что ты такая противная, я бы у тебя не родилася.

– Мама, давай родим себе жеребенка!

Пятилетний Эдик хвастает в коммунальной кухне:

– Папа маме часы обещал, чтобы родила ему девочку. Дал бы часы мне, я бы ему десять штук родил бы.

– В котором часу я родилась?

– В половине седьмого.

– Ой, ты и чаю-то попить не успела!

Каким бы ограниченным ни был жизненный опыт детей, они всегда готовы противопоставить его неправдоподобным измышлениям взрослых.

– Я нашла тебя в лесу под кустом, – сказала мать четырехлетней Ирине.

Та возразила с великолепной иронией:

– Когда мы гуляли в лесу, что-то я не видела, чтобы там дети валялись!

– Мама, мне очень хочется сестренку… Ты, случайно, не хочешь родить мне сестренку? Попробуй, пожалуйста!

– Я бы с удовольствием – папа не позволяет!

– Ну что ж! Вот папа уедет, а мы тогда без него попробуем!

Нередко встречаются дети, которые считают равно актуальными оба метода возникновения людей на земле:

– Мама, ты меня купила или народила?

– Народила.

– Э! А Лёньку мама купила.

– Папа, откуда я взялся?

– Тебя купили на рынке.

– Да, но прежде чем продавать, меня должен же был кто-то сделать!

– Что это ты шепчешь собаке?

– Я ей говорю: народи мне щеночков. А она мне отвечает: родю, родю с удовольствием.

Четырехлетней Иринушке хочется иметь сестру или брата.

– Анна Аркадьевна, – говорит она соседке, – вы не можете дать мне адрес, где вы покупали вашу Катеньку?

– Царица обожала свою дочь, а потом у нее родилася падчерица…

Угроза:

– Вот уеду в Ростов, рожу ребеночка и не напишу, как зовут.

– И зачем ты нам такого злого папу народила?

– Мама, мама, выроди маленького.

– Отстань от меня, мне некогда.

– У тебя же бывает выходной день!

– Мама, когда твой зонтик у тебя разродится, дан мне самый маленький зонтичек.

Родители колеблются, брать ли для Наташи собаку, так как отец этой собаки – дворняга.

– Мама, даю тебе честное слово, наверняка знаю, что там никакого отца и не было.

– Из чего человек сделан?

– Из мяса и костей.

– А кто кожей все это обтягивал?

– Деток мамы родят, а взрослых людей кто?

Наташеньке восемь месяцев. Пятилетняя Лена говорит ей сердито:

– Зачем ты в рот берешь пеленку? Вот заболеешь, умрешь, – тебя мамка второй раз рожать не будет.

– Когда я родилась, папа и мама были в театре. Пришли, а я уже тут.

Саша (трех с половиною лет) растет без отца. Это нисколько не огорчает его.

Его спрашивают:

– Где твоя мама?

– На работе.

– А папа?

– Мы его еще не сделали.

– Ладно, если ты не хочешь, чтобы я был твой сын, так роди меня обратно! (А потом ревет целый день, удрученный своей кощунственной дерзостью.)

О таком же случае я через много лет прочитал в дневнике Ф.Вигдоровой:

– Мама, почему у меня такая скандальная сестра? Роди ее обратно.

Там же такая запись:

– Мама, ну, пожалуйста, роди ребеночка или собачку, ну, прошу тебя! Знаешь, как я буду их любить.

Мать. Ох, как ты мне надоел!

Пятилетний Сережа. Не надо было родить!

– У кого самая первая мама сисю сосала?

–…Наконец-то у девочки народилися папа и мама, и она им очень обрадовалась.

Уже с давнего времени в Швеции, во Франции, в Англии, в США идет агитация за «откровенность» родителей: считают, что психике трехлетних-четырехлетних детей будет нанесен очень тяжелый ущерб, если родители не расскажут им полную правду о тайнах их зачатия и рождения.

Английский педагог Бенджамин С.Грюнберг так и назвал свою книгу: «Родители и половое воспитание» («Parents and the Sex Education»), где громит «отсталых» матерей и отцов, которые считают эту преждевременную откровенность ненужной.

Четырнадцатым изданием вышла в Лондоне книжка К. де Швейниц «Как рождается ребенок», специально предназначенная для детского чтения[64]. Книжка напечатана с подзаголовком «Что каждому ребенку нужно знать», – очень завлекательная, нарядная книжка, с отличными картинками, на великолепной бумаге. В ней с большим литературным искусством рассказывается, как продолжают свой род птицы, растения, рыбы, домашние и дикие животные, а с ними заодно и человек, который таким образом ставится в один биологический ряд со всеми живыми существами.

Казалось бы, чего лучше! Но можно ли назвать эту книжку правдивой? В том-то и горе, что нет. Под лозунгом «говорите ребенку правду» она говорит ему ложь.

Пусть неоспорима та истина, что половой инстинкт дан живым существам исключительно для продолжения рода, но какой же влюбленный согласится считать брачные отношения с любимой только средством для производства детей! Для влюбленных их сексуальная жизнь вполне самоцельна и не преследует никаких утилитарных задач. Задача продолжения рода совершенно вытесняется в их представлении такими бурными и сложными эмоциями, какие доступны только душе человеческой. Если вы ничего не скажете ребенку об этих эмоциях, а сообщите ему лишь о технике зачатия (приравняв эту технику к той, какая наблюдается в мире животных), вы, сами того не желая, обманете его, солжете ему, ибо в вашей схеме никак не вместятся не только Наль и Дамаянти, не только Ромео и Джульетта, не только Леандр и Геро, не только Беатриче и мадам Бовари, но даже чеховская «Попрыгунья» и «Душечка», не говоря уже о «Даме с собачкой».

Вся мировая литература с древнейших времен громогласно свидетельствует, что взаимное притяжение полов отнюдь не обусловлено сознательным намерением продолжить свой род. Неужели Петрарка, воспламенившись внезапной любовью к Лауре, добивался сближения с нею, чтобы стать отцом ее детей? И было ли материнство сознательной целью княжны Мери, когда она полюбила Печорина?

Если отрешить сексуальные отношения от тех эмоций, которые порождаются ими в каждом человеческом сердце, и воспринять их как технический процесс, направленный исключительно к изготовлению детей, это будет понято каждым влюбленным как циническая клевета на любовь, – клевета, опровержением которой служат те мириады лирических песен и любовных стихов, которые слагаются снова и снова каждым новым поколением молодежи. В этих стихо-

[64] «How a Baby is Born», by K. de Schweinitz, London (Routledge and Kegan Paul).

творениях и песнях нашел воплощение тот комплекс возвышенных чувств, без которых любовь – не любовь.

Скажут, что я противопоставляю точной науке – поэзию, которая, как и подобает поэзии, питается одними иллюзиями, не вникая в подлинную сущность вещей. Но ведь такие иллюзии властительны не только над поэтами. Они присущи каждому влюбленному: каждый самый заурядный, самый обыкновенный мужчина субъективно воспринимает свое влечение к женщине как нечто такое, что дорого ему само по себе. Имя этого влечения – страсть.

Бьется сердце беспокойное,
Затуманились глаза,
Дуновенье страсти знойное
Налетело как гроза.

«Дуновенье страсти» – какой же воспитатель возьмется рассказывать о нем маленьким детям, которым оно чуждо, недоступно, непонятно, несвойственно.

Вот почему даже в аисте меньше обмана, чем в той урезанной, искалеченной «правде», которую спешат сообщить своим детям иные слишком торопливые взрослые.

Мне много раз случалось убеждаться, как хорошо забронирован ребенок от ненужных ему мыслей и сведений, которые его воспитатели навязывают ему преждевременно.

«Не могу, – пишет мне одна читательница, – полностью согласиться с тем, что не следует говорить малышам о том, откуда дети берутся. Не следует раскрывать всё, но сказать, что братец или сестрица у мамы в животе, надо. Я была беременна вторым ребенком. Дочка пяти лет бурно встречала меня, когда я возвращалась с работы. Однажды такая бурная встреча причинила мне небольшую боль, и я испугалась за будущего ребенка. Я сказала дочке, чтобы она пока на меня не прыгала, потому что у меня внутри ребенок и его можно ушибить. Надо было видеть, как трогательно стала девочка заботиться о том, чтобы не сделать мне больно. Спрашивала иногда: „А скоро он будет?“ На вопрос о том, как он туда попал, я сказала, что об этом узнает, когда будет постарше. И все было просто. Я думаю, что в этом вопросе надо что-то частично объяснять. Но выдумывать басню о покупке ребенка – никогда не нужно».

Если же мать или отец, не считаясь с возрастными потребностями, все же попытаются сообщить ему полную и неприкрытую «истину» о зачатии, ребенок по законам своего детского мышления непременно превратит эту «истину» в материал для безоглядной фантастики.

Так поступил, например, пятилетний Волик Шмидт, сын академика Отто Юльевича Шмидта, когда его мать откровенно сообщила ему подлинные и подробные сведения о происхождении детей.

Он тотчас же стал импровизировать длинную повесть о своей жизни в материнской утробе:

«– Там есть перегородка… между спинкой и животиком.

– Какая перегородка?

– Такая перегородка – с дверкой. А дверка вот такая маленькая. (Смеется.) Да-да. Я сам видел, когда у тебя в животике был. И комнатка там есть малюсенькая, в ней живет дяденька.

– Какой дяденька?

– Я был у него в гостях, пил у него чай. Потом я играл еще в садике. Там и садик есть маленький, и песочек в нем… И колясочка маленькая… Я там с детками играл и катался.

– А откуда же детки?

– Это у дяденьки породились… Много-много деток. И всё мальчики девочек там нет. И моссельпромовцы сидят… Трое их… Вот такие малюсенькие.

– И ты там жил у них?

– Я приходил к дяденьке в гости, а когда пришла пора родиться, я с ним попрощался за ручку и вышел у тебя из животика».

Рассказ об этом маленьком Волике, населившем материнскую утробу тремя моссельпромовцами, я заимствую из неопубликованного дневника Веры Федоровны Шмидт.

В том же дневнике есть другая любопытная запись:

«После каждого глотка Волик останавливается и как бы прислушивается, что делается у него внутри. Потом весело улыбается и говорит мне:

– Уже побежало по лестничке в животик.

– Как – по лестничке?

– У меня там лестничка (показывает путь от горла до желудка); все, что я кушаю, бежит потом по лестничке в животик… А потом есть еще лестничка в ручках, в ножках… Везде идет то, что я кушаю…

– Это тебе кто-нибудь рассказал так?

– Нет, это я сам видел.

– Где же ты это видел?

– А когда я был у тебя в животике, я видел, какие у тебя лестницы… значит, и у меня такие…»

Вот что сделал пятилетний ребенок из эмбриологических истин, которые поторопилась сообщить ему мать.

Это было давно. Но вот через двадцать лет, в октябре 1962 года, свердловский врач Г.И.Дубровская пишет мне о своем четырехлетнем Илюше, что он, после того как ему сообщили «всю правду» о зачатии и рождении детей, тотчас же стал фантазировать так:

– Я ходил и искал себе маму. Заглянул в сердце к одной тете, к другой тете. Все тети злые. Нашел добрую тетю и пошел жить у нее в животе.

Научная истина, к которой взрослые поспешили его приобщить, отпала от него, словно мяч от стены, потому что до поры до времени он так же не способен усвоить ее, как, скажем, Ньютоновы законы механики.

Лучшим комментарием к вышеприведенным строкам дневника В.Ф.Шмидт могут служить следующие ценные мысли, высказанные А.С.Макаренко.

«Больше всего, – говорит знаменитый педагог, – беспокоились о том, чтобы ребенок был как-то по-особенному разумно подготовлен к половой жизни, чтобы он не видел в ней ничего „стыдного“, ничего тайного. Стремясь к этому, старались как можно раньше посвятить ребенка во все тайны половой жизни, объяснить ему тайну деторождения. Конечно, с настоящим „ужасом“ показывали на тех „простаков“, которые обманывали детей и рассказывали им сказки об аистах и других фиктивных виновниках деторождения. Полагали при этом, что если ребенку все разъяснить и растолковать, если в его представлении о половой любви не останется ничего стыдного, то этим будет достигнуто и правильное половое воспитание.

…Нет никакой срочной надобности торопиться с открыванием „тайны деторождения“, пользуясь для этого случайным вопросом ребенка. В этих вопросах не содержится еще никакого особенного полового любопытства, сокрытие тайны никаких переживаний и страданий ребенку не приносит. Если вы более или менее тактично отведете вопрос ребенка, отделаетесь шуткой или улыбкой, ребенок забудет о своем вопросе и займется чем-либо другим. Но если вы начнете с ним толковать о самых секретных подробностях в отношениях между мужчиной и женщиной, вы обязательно поддержите в нем любопытство к половой сфере, а потом поддержите и слишком рано взбудораженное воображение. То знание, которое вы ему сообщите, для него совершенно не нужно и бесполезно, но та игра воображения, которую вы у него возбудите, может положить начало половым переживаниям, для которых еще не наступило время.

…Против слишком ранних обсуждений полового вопроса с детьми нужно возражать и по другим соображениям: открытое и слишком преждевременное обсуждение половых вопросов приводит ребенка к грубо рационалистическому взгляду на половую сферу, кладет начало тому цинизму, с которым иногда взрослый человек так легко делится с другими самыми сокровенными своими половыми переживаниями»[65].

Как мы видели, ребенок и сам отвергает те сведения, которые преждевременно даны ему взрослыми. Он начисто вычеркивает их из сознания как бы для того, чтобы взрослые могли убедиться, что умственная пища, которую они предлагают ему, в данном случае ему не нужна.

Мать Толи Божинского сообщает мне:

«Я объяснила Толе, что такое беременность. Когда родилась у меня Тиночка, я долго толковала ему, что она „вышла у меня из животика“. Но однажды я рассказала ему сказку об аисте. И потом, когда спросили, откуда у нас Тиночка, он убежденно сказал:

[65] А.С.Макаренко, Половое воспитание, Сочинения, т. IV, М. 1951, стр. 410, 411, 412. Это было одно из заветнейших убеждений Антона Семеновича, и в разговорах со мною он возвращался к нему особенно часто.

– Аист принес.

О Тиночке я никогда не говорила ему, что ее принес аист».

Пришли гости, и кто-то спросил про трехлетнюю Валю:

– Чьи у Вали глаза?

Ему ответили:

– Папины.

«А папа, бедный, значит, без глаз остался», – подумала Валя и тут же сочинила такую гипотезу:

– Когда я еще не родилась, у папы было много глаз, и большие и маленькие; а когда мама купила меня, папа отдал мне большие глаза, а себе оставил маленькие.

Замечательна легкость, с которой ребенок разрешает такие проблемы. Все это – чистейшая импровизация, сродни тем вдохновенным экспромтам, которые он произносит во время игры. Экспромты для него такая же неожиданность, как и для его собеседника. Он за минуту не знает, что скажет, но говорит уверенно и твердо, не сомневаясь в правильности своих измышлений.

Эти измышления – времянки, нечто вроде рабочих гипотез. Через минуту он готов высказывать прямо противоположные мысли, ибо здесь для него зачастую своего рода смысловая игра. Даже если ему приведется случайно присутствовать при рождении каких-нибудь тварей, он и тогда готов истолковать происходящее самым фантастическим образом.

В.И.Качалов рассказывал мне, что когда его сын и Митя Сулержицкий узнали, что у кошки должны родиться котята, они никак не могли догадаться, откуда эти котята появятся.

Митя глянул кошке в ухо и крикнул:

– Теперь уже скоро! Уже лапка видна.

– Мама, правда, что люди от обезьяны произошли?

– Правда.

– То-то я смотрю: обезьян так мало стало.

– Разве ты не знаешь, что все люди произошли от обезьяны: и я, и твоя мама.

– Вы – как хотите. А моя мама – нет.

Еще один «научный» разговор о происхождении человека по Дарвину.

Нина Щукарева спрашивает бабку:

– Бабушка, ты была раньше обезьяной?

– Нет, никогда не была.

– А твоя мама?

– Тоже нет.

– Кто же был обезьяной? Дедушка?

– Бог с тобой. И дедушка не был.

– Ну так, значит, моя московская бабушка.

Во всякой подобной путанице виноваты, конечно, взрослые, которым не терпится обогатить ребенка сложными и многообразными сведениями, еще недоступными несозревшему разуму.

Ведь ребенок не может представить себе те миллионы лет, которые потребовались для эволюционных процессов. Его представления о времени ограничены рамками его крошечного детского опыта.

Поэтому, сколько бы взрослые ни старались приобщить его в полной мере к подобным научным познаниям, это всегда приведет их к неизбежному краху. Когда, например, шестилетнему Коле отец стал рассказывать об эволюции животного мира, мальчик понял его рассказ на свой лад и сообщил товарищам по детскому саду:

– Я знаю: мой дедушка был обезьяной, начал работать и стал человеком. Потом он народил папу, а папа меня.

Для каждого ребенка от двух до пяти жизнь всего человечества начинается в лучшем случае с дедушки.

V. НЕНАВИСТЬ К ПЕЧАЛИ

Прежде чем воспроизвести мои записи о том, как маленькие дети относятся к смерти, я хотел бы в виде краткого предисловия напомнить об одном замечательном качестве детской души

– оптимизме.

Все дети в возрасте от двух до пяти верят (и жаждут верить), что жизнь создана только для радости, для беспредельного счастья, и эта вера – одно из важнейших условий их нормального психического роста.

Гигантская работа ребенка по овладению духовным наследием взрослых осуществляется только тогда, если он непоколебимо доволен всем окружающим миром.

Отсюда – борьба за счастье, которую ребенок ведет даже в самые тяжелые периоды своего бытия.

Пойдите хотя бы в костнотуберкулезный санаторий, где малые дети, привязанные целыми годами к кроватям, вырабатывают в себе, наперекор своей томительной жизни, столько благодатной веселости, что даже многолетние боли не причиняют им травмы, какую причинили бы взрослым.

Пойдите в какой-нибудь из детских театров. Когда на героя нападают разбойники, когда баба-яга превращает его в мышь или ящерицу, юные зрители испытывают душевную боль и требуют, настойчиво требуют, чтобы неприятности, выпавшие на долю героя, прекратились возможно скорее и снова воцарилось безбрежное счастье, которое для психики ребенка является нормой.

В московском театре для детей шла чудесная пьеса талантливого советского драматурга Т.Габбе «Город мастеров». Пьеса предназначена для старших ребят, но на один из спектаклей случайно попал мой пятилетний внук. С горячим увлечением глядел он на сцену и вдруг крепко-крепко закрыл себе ладонями глаза:

– Больше не стану смотреть. Ты скажешь, когда начнется хорошее.

Глаза у него оставались закрытыми, покуда на сцене происходило печальное действо: благородный горбун Караколь, главный герой этой пьесы, попал в западню к врагам и коварный злодей-наместник несправедливо обвинил его в краже кольца, которое сам же и дал ему. Торжество лицемерия и злобы над смелым, благородным героем было так невыносимо для пятилетнего сердца, что внук поспешил зачеркнуть, уничтожить весь этот мучительный для него эпизод.

Лишь тогда отнял он руки от глаз и с прежнею жадностью начал смотреть на сцену, когда убедился, что все бедствия Караколя прошли, и тот счастлив опять.

Почему вообще дети младшего возраста – вовсе не такие уж добрые принимают так близко к сердцу судьбу своих любимых персонажей, будет ли то горбун Караколь, или Буратино, или Аладдин, или Золушка, или Василиса Прекрасная? Почему они горюют и плачут, если этим персонажам приходится плохо, и чувствуют такую горячую радость, когда те становятся победоносны и счастливы?

Главная причина, как мне кажется, заключается в том, что у детей есть способность отождествлять себя с каждым таким персонажем.

Когда мой внучонок закрыл глаза, чтобы не видеть страданий, которые предстояло претерпеть Караколю, это, вероятно, произошло оттого, что он увидел в Караколе себя и ему стало жалко себя. И так как в волшебных сказках герои неизменно бывают бесстрашны, самоотверженны, благородны, активны и всегда, ради победы добра, борются со злыми и темными силами жизни, ребенок ощущает себя таким же участником этой борьбы за добро. Поэтому ему так мучительно видеть, как злые и темные силы хоть на мгновение вытесняют из мира добро. В такие минуты он закрывает глаза, дабы этим незамысловатым приемом обеспечить себе душевный покой.

«В нашей семье, – пишет мне А.Н.Робинсон, – сохранилась старая хорошая книжка „Сказки бабушки Татьяны“. Все три поколения детей на протяжении полувека (мой дядя, я и мои дети), зная заранее содержание этих сказок, всякий раз, когда кто-либо из взрослых читал им сказки или они сами смотрели картинки, упорно пропускали (или переворачивали) те страницы, где говорится о смерти петушка и о гибели серого козлика».

В знаменитой сказке Льва Толстого «Три медведя» девочка заблудилась в лесу, попала к медведям в дом, сломала у них маленький стул, съела их суп: они сердились на нее и бранили ее.

Вова невзлюбил эту сказку и выбросил из нее все неприятное. По его словам, история случилась не с девочкой, а с ним: это он, Вова, заблудился в лесу и попал к трем медведям. Ничего он у них не ломал, а суп хоть и съел, но сейчас же пошел на кухню и приготовил им новую порцию – вкуснее и больше. Медведи оказались предобрые: угостили его медом и яблоками, пода-

рили ему елку с игрушками, научили стрелять из ружья.

Словом, если Лев Толстой изобразит в своей сказке наряду с веселыми эпизодами грустные, четырехлетний ребенок поправит Толстого, вытравит из его сказки печальное, устранит те места, где говорится о неудачах героев, и оставит одни только удачи и радости.

Но решительнее и активнее всех выразил свою жажду оптимистического отношения к миру Алик Бабенышев.

«Он очень любит книги, – сообщает в письме его мать. – Особенно ему нравилась сказка о Буратино. Он всякий раз просил меня, когда я приходила с работы:

– Прочти „Золотой ключик“.

Однажды я увидела, что из книги очень неумелой рукой вырвана страница, все зазубринки торчат.

– Кто это сделал? – спросила я.

– Я.

– Зачем?

– Чтобы он ее не обижал.

Не помню сейчас, кто из героев обижает там Мальвину, но вырвана была действительно та страница, где Мальвину обижали».

Александр Жаров сообщил мне такой эпизод:

Внучка Оленька попросила у бабушки:

– Расскажи сказку!

Бабушка начала:

– Дело было в лесу. Шли маленькие козлята. А навстречу им серый волк…

Оля крикнула:

– Не надо рассказывать!

– Почему?

– Козлят жалко.

Впрочем, и к волку ребенок отнесется с таким же горячим сочувствием, если только из какой-нибудь сказки узнает, что волк – невинно пострадавшая жертва коварных врагов.

Четырехлетний Алик Чернявский спокойно слушал сказку про злую лису и простодушного волка. Но когда он узнал, что хвост у волка примерз и что волк, убегая от врага, был вынужден оставить оторванный хвост в проруби, он очень огорчился его неудачен и дрожащим голосом спросил:

– Но ведь хвост потом вырос? Правда?

– Нет! – отвечали ему. – Этого никогда не бывает.

– Нет, вырос! вырос! вырос! – упрямо настаивал мальчик.

– Да нет же, у одних только ящериц хвосты отрастают опять, а у волков никогда.

Горе Алика не имело пределов. Он так разбушевался, что его долго не могли успокоить. Он рыдал навзрыд и сквозь слезы выкрикивал:

– Вырос! вырос! вырос!

Глупый мышонок в маршаковской «Песне о глупом мышонке» позвал к себе в няньки кошку, и та растерзала его. Четырехлетняя Галя Григорьева вначале и слушать не хотела об этой катастрофической смерти, но после долгого раздумья сказала:

– Наверное, мышка-мать рада, что кошка съела ее мышонка.

– Почему же?

– Да он все пищал, плакал, не давал ей спать… А теперь ей никто не мешает: спи сколько хочешь. Не надо вставать и баюкать его. Правда? Ведь ей стало лучше? Да?

Так своими собственными средствами, без посторонней помощи, дети на каждом шагу создают для себя иллюзию счастья и зорко следят, чтобы она не терпела ущерба.

В последнее время я получил великое множество писем, подтверждающих эти мои наблюдения целыми десятками примеров. Нина Соковнина (Москва) пишет мне о мальчике Саше (2 года 8 месяцев):

«Не любит плохих концовок в сказках и исправляет их. Дед укладывает его спать и поет:

Ай-дуду! ай-дуду!
Потерял мужик дугу.

Поискал и не нашел.
Он заплакал и пошел.

– Нет, не так! – возражает Саша.
– А как же?
– Запряг лошадь и пошел».

Другой малыш, Коля Черноус, трех с половиною лет, совсем избавил эту песню от горестных строк и создал такой вариант:

Ай-дуду! ай-дуду!
Потерял мужик дугу.
Поискал и нашел,
Засмеялся и пошел.

Тот же Саша слушал по радио «Колобок» и очень радовался его спасению от волка и медведя. Но потом он услышал слова: «Вот лиса „ам“ – и проглотила». Саша никак не согласился с этим.

– Нет, он убежал! Вот он бежит, бежит, бежит – слышишь, бабушка?

Тут по радио зазвучала веселая музыка.

– Ну вот, я говорил, что убежал! Вот он прибежал домой: дед и баба и Колобок схватились за руки – пляшут!

И сам приплясывает и в ладоши хлопает, так что бабушке пришлось согласиться, что Колобок прибежал домой.

И снова о Колобке.

«Лет двух от роду, – сообщает Е.Тагер, – я, по словам моей матери, очень любила сказку о Колобке. Но слушала спокойно только до тех пор, покуда Колобку удавалось ускользать от опасных зверей. Когда же доходило дело до лисы, которая его „ам – и съела…“, я поднимала страшный крик: „Не надо, не надо!“ – и пускалась в слезы. Одно спасение от рева было продолжать сказку, заставляя ловкого героя последовательно встречаться со львом, слоном, верблюдом и т. д., причем все эти встречи должны были непременно кончаться торжеством Колобка.

– Весь зоологический сад, бывало, переберу, пока ты уснешь! жаловалась впоследствии мать».

И вот что сообщает мне из города Кропоткина Л.А.Потапова о своей внучке Леночке:

«Ей было три года, я спела ей песенку про кукушку, которая потеряла детей. При словах:

Потеряла детей,
Скучно, бедненькой, ей,

раздались громкие рыдания Леночки, и когда я через несколько дней попыталась ей спеть ту же песенку, она с ужасом зажала мне рот:

– Не надо! Не надо!

То же самое случилось, когда я рассказывала ей сказку „Теремок“, которая кончается тем, что медведь раздавил всех зверей.

В дальнейшем я уже все сказки заканчивала хорошим исходом».

О таком же случае сообщает и писатель Л.Пантелеев. Когда его дочери Машеньке было без малого полтора года, он попытался прочитать ей известный стишок (переведенный с английского):

Дженни туфлю потеряла,
Долго плакала-искала,
Мельник туфельку нашел
И на мельнице смолол.

Машенька так сильно «переживала» первые три строки этого стихотворения («Бедная девочка, ножка босая, голенькая»), что отец не решился прочитать последнюю строку – о жестокости мельника.

И вот, – пишет он в своем дневнике, – вместо «мельницы» я бормочу нечто благополучное

– что-то вроде:

Мельник туфельку нашел,
Положил ее на стол.

Эта жажда радостного исхода всех человеческих дел и поступков проявляется у ребенка с особенной силон именно во время слушания сказок.

Если ребенку читают ту сказку, где выступает добрый, неустрашимый, благородный герой, который сражается со злыми врагами, ребенок непременно отождествляет с этим героем себя.

Всей душой сопереживая с ним каждую ситуацию сказки, он чувствует себя борцом за правду и страстно жаждет, чтобы борьба, которую ведет благородный герой, завершилась победой над коварством и злобой. Здесь великое гуманизирующее значение сказки: всякую, даже временную неудачу героя ребенок всегда переживает как свою, и таким образом сказка приучает его принимать к сердцу чужие печали и радости.

VI. ДЕТИ О СМЕРТИ

Восьмилетний октябренок сказал:

– Аня, я десять раз смотрел «Чапаева», и все он утопает. Может быть, пойти с папой?

Ему хочется думать, что гибель Чапаева – киноошибка и что эту грустную киноошибку он может исправить, добившись, чтобы Чапаев остался в живых. В понимании ребенка счастье – это норма бытия, и оттого трагический конец фильма о любимом герое показался ему противоестественным.

Тем персонажам, которые милы ребенку, все на свете должно удаваться, и никоим образом нельзя допускать, чтобы они умирали, так как, повторяю, с ними он чаще всего отождествляет себя.

Замечательны в этом отношении поправки, которые в разное время внесли два трехлетних мальчугуна в рассказанную им «Красную Шапочку».

Один из них, Андрейка, тотчас же нарисовал иллюстрацию к сказке в виде какой-то бесформенной глыбы и объяснил окружающим:

– Это камень, за ним спряталась бабушка. Волк не нашел ее и не съел.

Второй мальчуган, Никита (по-домашнему – Китя), обеспечил себе такую же уверенность в полном благополучии мира, выбросив из сказки все то, что казалось ему грустным и пугающим. Правда, сказка вышла чересчур уж короткая, но зато вполне утешительная. Китя рассказал ее так:

– Жила-была девочка-шапочка и пошла и открыла дверь. Все. Я больше не знаю!

– А волк?

– А волка не надо. Я его боюсь.

«Волка не надо!» Спрашивается: может ли такой оптимист, не приемлющий ни малейших упоминаний о страхах и горестях жизни, ввести в свое сознание трагическую мысль о смерти – чьей бы то ни было, но говоря уже о собственной?

Если вы вздумаете рассказать ребенку всю правду о смерти, он, из вечного детского стремления к счастью, немедленно примет все меры, чтобы заменить эту правду соответственным мифом.

Вася Катанян, четырех лет, недоверчиво спросил свою мать:

– Мама, все люди умирают?

– Да.

– А мы?

– Мы тоже умрем.

– Это неправда. Скажи, что ты шутишь.

Он плакал так энергично и жалостно, что мать, испугавшись, стала уверять его, что она пошутила.

Он успокоился сразу:

– Конечно, пошутила. Я же знал. Сначала мы будем старенькие, а потом опять станем молоденькими.

Таким образом, он почти насильно вернул себе необходимый ему оптимизм.

А.Шаров в своей интересной статье «Языки окружающего мира» приводит следующий рассказ педагога о трехлетнем Коле:

– Когда мы первый раз выезжали на дачу и воспитательница повела малышовую группу на прогулку, Коля шел позади. Потом вдруг остановился и склонился к траве. Воспитательница подошла и поторопила: «Идем, идем!» Он показал на мертвую синичку и спросил.

– Почему она не летит?

– Птица дохлая, – сказала воспитательница и прикрикнула: – Да иди же ты!

Всю прогулку мальчик был молчалив, задумчив. Утром проснулся раньше всех. Босиком побежал к опушке леса. Синички там не оказалось. Он бегом вернулся и, дождавшись воспитательницы, задыхающимся, немыслимо счастливым голосом воскликнул:

– Тетя Маша! Все-таки она улетела!..

Мальчик так и не принял смерти. Так и утвердил вечность жизни[66].

Вспоминается Егорушка из чеховской «Степи»:

«Вообразил он мертвыми мамашу, о. Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но, как он ни старался вообразить себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему: лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет…» (гл. VI).

Оптимизм нужен ребенку, как воздух. Казалось бы, мысли о смерти должны нанести этому оптимизму сильнейший удар. Но, как мы только что видели, ребенок чудесно забронирован от подобных скорбей. В его душевном арсенале есть достаточно средств для защиты необходимого ему оптимизма. Едва только, на исходе четвертого года, ребенок убеждается в неотвратимости смерти для всего существующего, он торопится тотчас же уверить себя, что сам он вовеки пребудет бессмертен.

В автобусе круглоглазый мальчишка лет четырех с половиною глядит на похоронную процессию и говорит с удовольствием:

– Все умрут, а я останусь.

Великолепно выражена эта детская жажда бессмертия в той же повести Веры Пановой «Сережа»:

«– Мы, что ли, все умрем? [- спросил у взрослых шестилетний малыш.]

Они смутились так, будто он спросил что-то неприличное. А он смотрел и ждал ответа.

Коростелев ответил:

– Нет. Мы не умрем. Тетя Тося как себе хочет, а мы не умрем, и, в частности, ты, я тебе гарантирую.

– Никогда не умру? – спросил Сережа.

– Никогда! – твердо и торжественно пообещал Коростелев.

И Сереже сразу стало легко и прекрасна. От счастья он покраснел покраснел пунцово – и стал смеяться. Он вдруг ощутил нестерпимую жажду: ведь ему еще когда хотелось пить, а он забыл. И он выпил много воды, пил и стонал, наслаждаясь. Ни малейшего сомнения не было у него в том, что Коростелев сказал правду: как бы он жил, зная, что умрет? И мог ли не поверить тому, кто сказал: ты не умрешь!»

– Мама, – говорит четырехлетняя Анка, – все люди умрут. Так должен же будет кто-нибудь вазочку (урну) последнего человека на место поставить. Пусть это буду я, ладно?

Замечательны те многообразные и хитроумные способы, при помощи которых ребенок отгоняет от себя мысль о смерти.

Самообслуживание оптимизмом – могучий закон детской жизни.

Таточка Харитон услыхала от няни песню:

И никто не узнает,
Где могилка моя.
И стала петь ее так:
И никто не узнает,

[66] «Новый мир», 1964, № 4, стр. 143.

Где могилка твоя.

Няня говорит:

– Ты неверно поешь. Нужно петь: «Где могилка моя».

– Я так и пою: «Где могилка твоя»[67].

Бабушка умерла. Ее сейчас закопают. Но трехлетняя Нина не слишком-то предается печали:

– Ничего! Она из этой ямки переляжет в другую, полежит-полежит и выздоровеет!

Мертвые для маленьких бессмертны.

Л.М.Николаенко повела трехлетнюю Марину на кладбище и посадила на могиле ее бабушки клен. Вернувшись, девочка сказала с удовольствием:

– Наконец-то я увидела бабушку Лиду!

– Что ты, Мароша! Ты видела только ее могилку.

– Нет, я видела, как она сама выглядывала в ту ямку, в которую вы сажали деревце.

Девочка пяти лет пришла с мамой на кладбище и вдруг увидела пьяного, который шел, шатаясь, за кустами.

– А этот дядя уже выкопался из могилки?

У Вересаева записан такой разговор:

«– Знаешь, мама, я думаю, люди всегда одни и те же: живут, живут, потом умрут. Их закопают в землю. А потом они опять родятся.

– Какие ты, Глебочка, говоришь глупости. Подумай, как это может быть? Закопают человека большого, а родится маленький.

– Ну что ж! Все равно как горох! Вот такой большой. Даже выше меня. А потом посадят в землю – начинает расти и опять станет большой».

Прошло много лет, и мне сообщили о такой же гипотезе, снова выдвинутой трехлетним ребенком.

– Хоронят старых людей, – это их в землю сеют, а из них маленькие вырастают, как цветы.

Младшим дошкольникам смерть представляется сплошным удовольствием. Волик спрашивал о каком-то покойнике:

– А на чем он ехал хорониться?

– Ты ведь видел, как хоронят.

– Это когда в ящике катают на лошадке? Да?

Жалеть умирающих – не детское дело.

– Я умру, – говорит мать. – Меня сожгут.

– А как же твои туфли? – ужасается дочь (двух с половиною лет).

Фелик вбегает в комнату:

– Мама, я хочу быть курсантом: их хоронят с музыкой, – и шапка на гробу!

Похороны без музыки вообще никуда не годятся.

– Почему умер не играет? Я хочу, чтобы умер играл!

Зато, когда «умер играет», можно встать у окна и хвастать:

– Скоро и моего папу так повезут!

– Наташа, кого хоронят?

– Не поймешь: их много, и все шевелятся.

Скончался дядя Шура. Сегодня хоронят.

– А пойдет за ним музыка?

– Нет, он не военный.

– А ты военный?

– Нет.

– А дядя Гога военный?

– Нет. А что?

– Музыку охота послушать.

---

[67] Возможно, Таточкин вариант этого двустишия был связан также и с тем обстоятельством, что маленькие дети еще не тверды в правильном применении слов «я» и «ты» (см. рассказ Л.Пантелеева «Буква „ты“»).

– Из нашего дома вынесли лодку, а потом еще лодку, в ней умертый дядя, положили его на грузовик, закрыли другой лодкой и увезли.

– Моя бабушка никогда не умрет. Дедушка умер – и хватит.

В соседнем дворе умерла старуха.

– Нет, старик! Я сам видел, что старик! Впереди несут гроб, а старика ведут под руки, а он плачет, не хочет хорониться.

Хоронят женщину. Над нею плачет осиротелая дочь. Сироту уговаривают, чтобы она перестала, но она продолжает рыдать.

– Какая непослушная! – возмущается Юрик и, желая, чтобы его похвалили, спешит заявить своей матери:

– Вот когда ты умрешь, я ни за что плакать не буду.

– Мама! Поехал покойник, а за ним идет большая очередь.

Мать моей правнучки Машеньки пишет:

«Вот примерная эволюция ее представлений о смерти. Сперва девочка, потом – тетя, потом – бабушка, а потом – снова девочка (в два с половиною года). Тут пришлось объяснить, что очень старенькие бабушки и дедушки умирают, их закапывают в землю.

После чего она спросила у бабеньки:

– А почему вас еще в земельку не закопали?

Одновременно с этим возникла боязнь смерти (в три с половиною года):

– Я не умру! Не хочу лежать в гробике!

– Мама, ты не будешь умирать, мне без тебя скучно будет! (И слезы.)

Однако к четырем годам примирилась и с этим».

Когда дети становятся старше, эгоистическая забота о личном бессмертии и о бессмертии ближайших родных начинает сменяться у них бескорыстной мечтой о бессмертии всего человечества. Украинский ученый Н.Н.Гришко сообщил мне о таком разговоре:

– Мама, я тоже умру? – спросила девятилетняя Галка.

– Непременно.

– А скоро?

– Лет через сто.

Галка заплакала.

– Не хочу, мамочка, умирать, хочу жить тысячу лет.

Пауза.

– Я, знаешь, мама, буду учиться на «отлично», потом буду докторшей и выдумаю такое лекарство, чтобы люди никогда не умирали.

– Это тебе не удастся.

– Ну тогда, чтобы люди жили не меньше ста лет. Я буду обязательно такое лекарство выдумывать.

Этот разговор замечателен тем, что в нем детский эгоцентризм сменяется (буквально у нас на глазах) горячей заботой обо всем человечестве.

Ляля Цвейберг пяти лет говорит:

– Вот ведь большие дяди и тети, а чем занимаются – хоронением! Я, конечно, не боюсь, нет, но ведь жалко – хороняют и хороняют, ведь людей хороняют. Пойдем и заявим в милицию – ведь жалко людей-то!

Буквально такое же не-личное чувство прорвалось у пятилетней Сашеньки:

– Зачем люди умирают?.. Мне жалко. Мне всех людей жалко, и чужих жалко: зачем они умирают? (Дневник Ф.Вигдоровой.)

Е.Калашникова пишет мне про пятилетнего Мишу, который, услышав о смерти знакомого, сообщил одному из гостей:

– Дядя, а ведь, знаете, умереть – это очень плохо. Ведь это на всю жизнь!

Двое ребят:

– Не ешь зеленых вишен, умрешь.

– Нет, не умру.

– Видел: вчера хоронили дедушку? Когда был маленький, он ел зеленые вишни – вот и умер.

О своей внучке Аленушке художник В.М.Конашевич пишет:

«Уговаривает нас с бабушкой не умирать, пока она не вырастет: она изобретет лекарство от старости и от смерти. Потому что смерти не должно быть».

Пятилетняя Лена обещает отцу:

– Я всегда буду тебя помнить – даже когда ты умрешь.

И тотчас перебивает себя:

– Нет, лучше мы вместе умрем. А то мне будет очень жаль, если ты умрешь скорей меня.

Отражая в своем сознании реальную действительность, ребенок по самому существу – материалист. Иначе и быть не может: таким формирует ребенка его жизненная, повседневная практика. Факты, приведенные на предыдущих страницах, свидетельствуют, до какой степени чужда ему всякая мистика.

Трезвость суждений ребенка способна поставить в тупик даже взрослых. Сидит, например, трехлетняя девочка, и на лице у нее трудная дума.

– Наташа, о чем ты задумалась?

– Кто будет хоронить последнего человека?

Вопрос деловой, практический: кто похоронит покойника, когда и похоронщики будут в могиле?

У Елизаветы Шабад, в ее книжке «Живое детское слово», приводится такой разговор маленького здравомысла с отцом:

– Папа, если в прошлом году будет война, тебя застреляют?

– Может быть.

– И от тебя ничего не останется?

– Нет.

– Даже точки?

– Да. А ты меня будешь жалеть?

– Чего же жалеть, если ничего не останется![68]

VII. НОВАЯ ЭПОХА И ДЕТИ

Подобных детских высказываний записано у меня очень много, но и приведенных достаточно, чтобы установить основные их типы. Замечательно, что некоторые из них сообщались мне дважды и трижды в разное время из разных источников, и я не мог не прийти к убеждению, что они в значительном своем большинстве характерны для очень многих нормальных детей.

Как уже сказано выше, я приступил к собиранию детских выражений и слов полвека назад, даже раньше, и это дало мне возможность подметить одно очень важное качество собираемых мною материалов – их частую повторяемость, их, так сказать, однотипность: моя правнучка в своем словотворчестве идет точно тем же путем, каким шли мои дети и внуки, и не только в словотворчестве, но и в методах всей своей умственной деятельности.

Эти три поколения детей, которые я мог наблюдать на протяжении столь долгого времени, давали в соответствующем возрасте одно и то же причинно-следственное истолкование одним и тем же явлениям окружающей жизни.

В огромном большинстве читательских писем, получаемых мною, я нахожу уже знакомые мне наблюдения и факты или очень близкие их варианты.

Например, с разных концов Советского Союза мне сообщали и сообщают о детях, которые, услышав от взрослых, что человек – потомок обезьяны, сделали из этого вывод, будто той обезьяной, от которой идет человеческий род, был в недавнее время их дедушка.

Точно так же повторяются опять и опять гипотезы трехлетних-четырехлетних детей, будто девочки произведены на свет исключительно мамами, а мальчики – исключительно папами. Подобно тому как разные дети из поколения в поколение всякий раз сызнова изобретают слова всехный, кусарик, мазелин, ктойтина, рогается, пивнул, методы их умственной работы и в других областях совершенно тождественны и приводят к однородным результатам (зачастую к одинаковым ошибкам).

Зато бесконечно разнообразны детские суждения и помыслы, которые отражают в себе

[68] Е.Ю.Шабад, Живое детское слово. Из работ первой опытной станции Наркомпроса, М. 1925, стр. 51–52.

общественные условия их жизни.

Индустриализация нашей страны, например, вызвала тысячи детских речений, немыслимых в прежнее время. Вот некоторые из них, разносторонне отражающие то широчайшее внедрение техники в быт, которое в последние годы происходит у нас буквально на каждом шагу.

Четырехлетний Миша Юров выписывается из больницы. Прощаясь с ним, нянечка спрашивает:

– Миша, ты москвич?

– Нет, я – «победа»! – отвечает мальчишка, потому что для него, как и для большинства малышей, «москвич» – это раньше всего марка автомобиля.

И, конечно, не только «москвич».

По радио передавали статью о волгоградском сражении. Статья была озаглавлена: «Победа на Волге».

Услышав это заглавие, Славик взволнованно крикнул:

– Дедушка! Авария! «Победа» налетела на «Волгу»!

Трехлетний мальчик, гуляя по городу, увидел остановившуюся на улице лошадь.

– Верно, току у ней нет! – сказал он и обнаружил одной этой коротенькой фразой, что уже появилось такое поколение детей, для которого электропоезда, троллейбусы, трамваи привычнее (а значит, и понятнее), чем лошадь.

Еще не так давно дети всегда наделяли машину свойствами людей и животных:

– Мама, смотри, какой краснощекий автобус!

Но теперь, как мы видим, их так тесно обступила электромеханика, что они объясняют ею даже поведение уличной клячи.

Двухлетний гражданин, у которого во время беготни оторвался шнурок от туфли, садится на траву и вздыхает:

– Пеебой мотое… – что, несомненно, должно означать: «Перебой в моторе». Даже сказать эти слова не умеет как следует, а уже применяет к своей крохотной обуви технический термин.

Девочка впервые увидела в Зоопарке слона. Глянула на хобот и сказала:

– Это не слон, а противогаз.

Кике ставили клизму. Он командовал:

– Ну, включай!

А потом:

– Выключи, выключи!

– Ах, мамочка, какая ты красивая! Как мотоциклетка!

У меня в сказке «Тараканище» есть такие стихи:

Зайчики
В трамвайчике,
Жаба на метле.

Т.Л.Мотылева сообщает мне, что ее четырехлетний сын Миша читал эту сказку по-своему:

Зайчики
В трамвайчике,
Жаба на метро,

то есть модернизировал сказочный транспорт, созданный древней фантазией патриархальной деревни.

Одновременно с этим драматург И.В.Шток написал мне о такой же поправке, внесенной его дочерью Икой:

– Ты неправильно говоришь. Нужно «на метре», а ты говоришь «на метле». Зайчики в трамвайчике, жаба на метре.

– Правда, мама, троллейбус – это помесь трамвая с автобусом?

– «…Волчишко с годами превратился в матёрого волка…»

Что такое «матёрый», Володя не знал и потому пересказывал эту историю так:

– Волчишко поступил в монтеры…

Привычка малолетних детей к автоматике стала так велика в СССР, что я не очень удивился, когда услыхал, как один мальчик, желая выпить томатного соку, громко сказал в магазине:

– Мама, купи мне автоматного соку!

– Давай посмотрим коров – стадо идет.

– А что в них интересного? Если бы в них мотор был!

Городская девочка впервые в деревне. Увидела теленка:

– А он заводной?

Вася воротился из колхоза.

– Что ты там видел?

– Лошадиный прицеп.

То есть попросту – воз.

Мама:

– У одного мальчика два глаза, у второго тоже два глаза. Сколько у них всего глаз?

Костя (с плачем):

– Я глазов считать не умею.

– А что ты умеешь считать?

– Реактивные самолеты.

Даже окраска предметов ассоциируется у современных детей с механизмами. Мне пишут из Ленинграда о пятилетнем Боре, который, увидя в книге слово «лето», напечатанное три раза – красными голубыми и черными буквами, – сказал:

– Это лето – пожарные машины, это лето – поливальные машины, это лето – грузовые машины.

Даже в старинные сказки умудряются советские дети внедрить современную технику. Пятилетний художник, выслушав сказку о бабе-яге, рисует ее избушку на курьих ножках с длиннейшей антенной на крыше.

– Ведь она же радио слушает!

– Слушай, Сереженька, сказку. Созвала как-то бабушка семерых козлят…

– По телефону?

Илюша Розанов (1 г. 10 м.) впервые увидел грозу.

– Бабушка, смотри, какой салют!

Четырехлетний сын инженера Витя Варшавский нарисовал человечка, а сбоку отдельно – нос, уши, глаза, пальцы и сказал деловито:

– Запчасти.

Ему показали картинку: лошадь, впряженная в плуг.

– Что это такое?

Объясняют: лошадка пашет землю.

– Разве лошадка – трактор? – удивляется он.

Вернулся из Зоопарка.

– Ну, Алешенька, что ты там видел?

Ждали, что он начнет говорить о тиграх, слонах, бегемотах. Но Алеша ответил коротко:

– Машину!

(Грузовик, поливавший дорожки.)

Вопрос моего малолетнего внука:

– Дед, а в лошадь бензин наливают?

Лошадь попятилась от вырытой канавы.

– Смотри, Николушка, лошадка испугалась!

– И совсем не испугалась, просто забуксовала.

Детей постарше интересуют проблемы того же порядка, но значительно более сложные. Семилетний Сережа Сосинский:

– Чтоб долететь до какой-нибудь там планеты, надо сто шестьдесят девять лет. Значит, чтобы человек действительно долетел до нее, ему надо по дороге жениться и иметь детей, которые и долетят. Но могут ли рожаться дети в атмосфере?

Он хотел сказать «в безвоздушном пространстве».

Наташа, дочь поэта Д., сочинила такое стихотворение о Лайке:

Отправили собаку
Летать вокруг Земли.
Ей разных бутербродов
На месяц запасли.
Собака громко лает
В кабиночке своей,
А спутник всё летает
Вокруг Земли моей.

Поэту захотелось приписать к этой Наташиной песенке несколько строк своего сочинения.

– Пожалуйста, не надо, – сказала Наташа. – Ты ведь, я знаю, испортишь.

Девочка ехала в поезде с разговорчивой матерью, которую долго ревновала к ее собеседникам; наконец зажала ей рот:

– Мама, закрой свое радио!

Тут опять-таки «метастаз» техники в область бытовых отношений, процесс, противоположный тому, который приходилось наблюдать в детской речи лет тридцать назад.

Е.Ковальчук (Ленинград) сообщает мне замечательный случай одного такого «метастаза», который определяется суффиксом «ист».

«С сыном Эдиком мы приехали в Вильнюс. Это было в 1947 году. Тогда у вокзала стояло много извозчиков. В Ленинграде их уже давно не было, и Эдик никогда их не видел. Он знал, что на свете существуют велосипедисты, таксисты, танкисты, но названия „извозчик“ не знал.

Указав на дрожки, он с восторгом воскликнул:

– Смотри, папа, лошадист поехал!»

Иные старые слова известны советским детям главным образом в связи с современностью. Например, слово «карета». Когда в сказке Андерсена «Огниво» детям читают о том, что солдата повезли в карете, они спрашивают: «Разве он заболел?», так как единственная карета, известная им в наше автомобильное время, есть «карета скорой помощи», которая, кстати сказать, давно уже перестала быть каретой. Впрочем, в последнее время дети чаще всего говорят: «Победа» скорой помощи.

Недавно я читал по радио отрывки из своей книги о Чехове. Рассказывая о его сахалинской поездке, я упомянул, между прочим, что в дороге его обокрали случайные спутники.

Вскоре после этого из Севастополя мною было получено такое письмо:

«Мой 4-летний сын Вова собирался гулять и, казалось, совсем не слушал вашего чтения. Вдруг на лице его появилось выражение ужаса:

– Мама, ты слышишь? Спутника обокрали!»

Сооружает нечто из двух табуреток.

– Что это ты делаешь, Гриша?

– Для твоих сапог гараж строю.

Прочтя эту страницу моей книги, А.Мясникова (Куйбышев) спросила своего племянника Алика:

– Как называется дом, где живут лошади?

Он немедленно ответил:

– Гараж.

– Ну, что ты! Совсем не гараж.

– Ангар.

– Нет, нет, не ангар.

Он замолчал и задумался. Когда же ему сообщили, что жилье лошадей конюшня, он недоверчиво замотал головой.

– Такого слова нету! Выдумываешь!

Этот же Алик, по словам А.Мясниковой, воскликнул, увидя купающегося в Волге коня:

– Папа, лошадь по самый кузов в воду залезла!

Бабушка стоит у окна, показывает двухлетнему внуку автомобиль и сюсюкает:

– Бибика! Сереженька, это бибика!

Внук с пренебрежением глядит на нее:

– Это не бибика, а «победа».

Неинтересным и убийственно скучным представляется пятилетнему Антону Иванову все, что не связано с техникой. О чем бы вы ни говорили ему, он слушает насупившись, с большой неохотой, а чаще всего и вовсе не слушает. Но чуть только дело касается радиолокаторов, динамо-машин, или блюмингов, или самой обыкновенной электрической лампочки, его круглые щеки краснеют, в глазах появляется выражение блаженства, он вскакивает с места и, бегая в восторге по комнате, засыпает говорящего сотней вопросов и не отстанет, пока не получит ответов на свои «как?», «почему?», «для чего?».

Его речь перенасыщена множеством технических терминов. Он сказал, например (цитирую со стенографической точностью):

– Я так устал, как лампочка на сто двадцать вольт, которую включили в сеть на двести двадцать вольт без трансформатора.

И это показалось мне тем более чудесным, что растет он в семье, чрезвычайно далекой от техники: его дед – писатель (Всеволод Иванов), бабка – переводчица повестей и романов, мать – лингвистка, отец – художник (Д.Дубинский), один дядя – филолог, другой – пейзажист.

В троллейбусе.

– Тетя, подвиньтесь!

Молчание.

– Тетя, подвиньтесь, пожалуйста.

Молчание.

– Мама, эта тетя неозвученная?

У бабушки в углу перед иконой никогда не гаснет лампадка.

Леня с удивлением:

– А почему у тебя все время горит стоп-сигнал?

– Вот почитай стихи на кубиках.

– Меня это теперь не интересует.

– А что же тебя интересует?

– Космос.

– Эта церковь закрыта.

– На переучет?

– Бабушка, что с тобой?

– Ох, милый, болею.

– За кого? За «Спартак»? За «Динамо»?

Выше говорилось о ребенке, назвавшем полумесяц «сломатой луной».

Сейчас мне сообщают про мальчика (трех с половиною лет), который во время войны закричал о том же полумесяце:

– Мама, мама, луну разбомбили!

Мальчик лет пяти иллюстрировал Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» и сбоку нарисовал патефон.

– При чем же здесь патефон?

– Ведь у Пушкина сказано: «Идет направо песнь заводит». Раз «заводит», значит патефон.

– Звезды на небе не настоящие, не красные, не такие, как в праздник.

– Звезды – это салютинки, которые за небо зацепились.

– Когда у нас день, в Америке ночь.

– Так им и надо, буржуям!

Характерно, что слово «белый» советскими малышами часто воспринимается не в прямом, а в переносном смысле. Услышав о белых медведях, Вова говорит с удивлением:

– Разве у зверей тоже есть буржуи?

Марина Талашенко маме:

– Стрекоза – это буржуи, а муравей – рабочий… Волк – тоже жадный буржуй, а журавль – рабочий. Вот только не знаю, в басне «Мартышка и Очки» кто же мартышка: буржуй или рабочий?

Внучка инвалида-гардеробщика, узнав, что ее дед заболел и не пойдет сегодня вечером на службу, спросила встревоженным голосом:

– А что же будет с пятилеткой?

«Однажды мы взяли пятилетнего Сашу в кино, и он увидел картину „Ленин в 1918 году“, –

сообщает мне Мария Сластёнина. – Там эсерка Каплан стреляет в Ленина. Это страшно взволновало Сашу. Потом ту же картину показывали по телевизору. Саша сел у самого экрана и, когда Каплан стала целиться в Ленина из револьвера, с силой ударил глиняным петушком по экрану. Стекло разбилось, экран потух. Что произошло? Мы не поняли. Но потом услышали: Саша смеется и кричит с торжеством:

– Не успела! Не успела!

Он был уверен, что ему удалось спасти Ленина от предательской пули».

Соседка. Стоит ли вам сохранять эти туфли для Наточки? Ведь через год они выйдут из моды.

Мать. Мы за модой не гонимся!

Ната. Мы только за мир и дружбу!

Шестилетний Игорь – маме:

– Ты у меня самая красивая, хорошая, миролюбивенькая.

– Пушкина на дуэли убили…

– А где же был милиционер?

О какой бы стране ни зашел разговор, Ирочка тотчас же спросит:

– А они за нас?

Об Илье Муромце:

– Илья Тимуровец.

–…тут баба-яга приземлилась.

– И сказал колдун Олегу: «Ты умрешь от своего коня». И тогда повел Олег коня в колхоз…

– Это кто нарисован?

– Гном.

– А он фашист или наш?

Какой-то мальчишка с большим увлечением слушал пушкинскую сказку о царе Салтане. Но все время его тревожил вопрос: что же такое этот самый Салтан? С одной стороны, он как будто человек симпатичный, а с другой стороны, слишком уж поддается влиянию злой Бабарихи и ее коварных подруг. Поэтому ребенок все время перебивал рассказчика такими вопросами об этом непостижимом царе:

– А что он – правильный? А он хороший? А он наш, советский?

Об этом мальчике я прочитал в одной из статей профессора А.В.Запорожца[69].

Подобный же случай описан в неизданном дневнике Ф.Вигдоровой. Она решала со своей дочерью Галей кроссворд, и им встретилась такая строка: «Известный советский поэт».

Галя сказала:

– Некрасов.

– Какой же он советский! – возразила писательница.

– А разве он не советский? Ведь он же хороший.

Как и для миллионов других наших граждан, «советский» и «хороший» для Гали синонимы.

Правда, Гале в ту пору было уже десять лет, но нужно ли говорить, что в отношении к слову «советский» младшие дети вполне солидарны со старшими? В одной из публикаций Дома детской книги приводится такое восклицание пятилетнего мальчика о сказочном Иване-царевиче:

– Он хороший, Иван-царевич, как наши бойцы. Да?[70]

Если бы Иван-царевич, в представлении нынешнего ребенка, не был наделен качествами советских бойцов, ребенок никогда не полюбил бы его.

Так как эти патриотические чувства советских детей одинаково свойственны и младшим и старшим, я считаю возможным опять выйти за пределы того возраста, которому посвящена моя книжка, и привести из дневника Ф.Вигдоровой следующее высказывание восьмилетней Саши:

---

[69] А.В.Запорожец, Психология восприятия сказки ребенком-дошкольником, «Дошкольное воспитание», 1948, № 9, стр. 40.

[70] М.М.Скудина, Роль советской народной сказки в воспитании моральных качеств у детей дошкольного возраста. Сборник «Литературно-критические чтения», М. 1951, стр. 108.

– Если бы у меня была волшебная палочка, я прежде всего сделала бы так, чтобы ожил Владимир Ильич. Потом, чтобы был жив Галин папа. Потом, чтобы ожили все великие, хорошие люди прошлых веков. А потом я взмахнула бы палочкой в последний раз, чтобы стал коммунизм.

Милиционер задержал машину, нарушившую правила уличного движения. Маленький сын нарушителя, с ужасом наблюдая, как советский милиционер бранит его папу и составляет на него какой-то акт, высунулся в окошечко и просит:

– Дяденька, отпустите нас! Мы – за мир!

– Правда ли, что в Америке все стулья – электрические?

На какую-то просьбу Миши бабушка сказала ему:

– Это тебе по штату не полагается!

– Так ведь штаты – это в Америке, а у нас штатов нет!

– Что это за собака?

– Немецкая овчарка.

– Она сдалась в плен, да?

Пятилетний Саша:

– Мама, а летом холодной войны не бывает?

Играя с ребятами, Саша усвоил себе их выражения: «мирово погулял», «мирово покатался» и проч. На их жаргоне «мировое мороженое» – самое лучшее. Поэтому Саша с недоумением спрашивает:

– Почему мировая война? Как же это: война и вдруг мировая?

Отец Светика Гусева в шутку сказал жене:

– Я тебе приказываю, и ты должна подчиниться.

Светик ястребом налетел на отца:

– Теперь таких мужей не бывает! Теперь такие мужья не нужны. Ты… раньшенный муж!

Он хотел сказать: старорежимный.

С четырехлетним Волей мы гуляли по старинному кладбищу. Среди памятников – мраморный ангел с поднятой кверху рукой. Воля смотрит на памятник и объясняет себе самому:

– Это он «будь готов» делает.

Вообще у огромного большинства малышей выработался своего рода иммунитет ко всему клерикальному. Вересаев рассказывает, как набожная нянька взяла с собой маленького Юрика в церковь. Юрик, вернувшись домой, сообщил со смехом своим близким:

– Мы гуляли в большом, большом доме… Там Петровна голенького дядю нюхала.

– Что ты, Юра, врешь? – возмутилась Петровна. – Какого дядю нюхала?

– А на стенке дядя голенький был нарисован. Петровна подошла к нему близко, машет рукой и нюхает. А старушки все баловались: стукали в землю лбом… А я не баловался, нет!..

В церкви с бабушкой, увидя икону:

– Чей это портрет?

– Это боженька.

– А где он живет?

– На небе.

– Высоко?

– Высоко.

– А реактивка его достанет?

Писатель Рудольф Бершадский сообщает:

«В присутствии пятилетней дочери я однажды рассказывал, как няня постоянно водила меня в церковь.

Дочь недоверчиво перебила меня:

– Папа, разве ты еще при боге родился?»

Тот же Светик Гусев увидел в Зоопарке слона. Он долго рассматривал огромного зверя и наконец спросил у своей матери:

– Чей это слон?

– Государственный.

– Значит, и мой немножечко, – произнес он с большим удовольствием.

Радость обладания государственной собственностью я замечал до сих пор главным образом

у старших ребят.

Стоит, например, школьник на уроке географии у карты и, тыча пальцем в советские тундры, говорит голосом владельца и хозяина: «Торфу мы имеем тут столько-то, ископаемых столько-то».

В литературе это чувство наиболее ярко выражено В.В.Маяковским: «улица моя, дома мои», «мои депутаты», «в моем Моссовете», «моя милиция меня бережет» (поэма «Хорошо!»).

Теперь оказывается, что в последние годы проявления этого нового чувства мы начинаем наблюдать и у дошкольников.

Жаль, что подобные речения детей так и пропадают бесследно, никем не собираемые, никем не хранимые. Ведь в каждом из них причудливо многообразно и ярко отражается переживаемый нами период истории. И было бы поучительно познакомиться с тысячами подобных ребячьих высказываний, собранных по всему СССР, так как детская речь очень часто характеризует те социальные сдвиги, которые происходят в стране.

Нередко приходится наблюдать, как отражается в детских разговорах семья. Специальные технические термины, свойственные отцовской или материнской работе, перекочевывают в речь малолетних детей и начинают своеобразно служить их интересам и надобностям.

Е.В.Гусева сообщает мне о своем маленьком Светике, отец которого служит бухгалтером:

«Когда я ему сказала, что он половину игрушек за лето растерял, он высыпал все игрушки из корзины на пол и говорит: „Надо сделать переучет“.»

У четырехлетней Наташи Васильевой и мать и отец ученые: оба работают над диссертациями.

Увидела Наташа в детской книжке картинку: кошка сидит за столом среди тетрадей и книг:

– Кошка пишет диссертацию!

А сын одного писателя, глядя на вертящуюся карусель, проговорил с нетерпением:

– Папа, скажи редактору этой карусели – нельзя ли мне наконец покататься!

Трехлетняя дочь сапожника, гуляя в садике детской больницы, увидела, что какая-то женщина несет ребенка в приемный покой, и сказала понимающим голосом:

– Починять понесли деточку.

Здесь, конечно, очень большое значение имеет склонность детей к подражанию. Девочка выросла в мире сапожных починок, и не мудрено, что лечение ребенка представилось ей чем-то вроде прибивания каблуков и подметок.

Я рассказывал детям известную сказку о заколдованном царстве, где заснувшие жители не просыпались сто лет. И вдруг дочь уборщицы, пятилетняя Клава, воскликнула:

– Ну и пылища же там была, господи! Сто лет не вытирали и не чистили!

Дима, сын продавца готового платья, использовал терминологию отцовской профессии для излияния родственных чувств:

– Я всех люблю одинаково, а мамочку на один номер больше.

Подобный же эпизод приводится в романе Галины Николаевой «Жатва». Маленькая Дуняша, дочь заведующей молочнотоварной фермой, получила в подарок игрушку – резинового петуха. Оглядев его со всех сторон тем же критическим взглядом, каким ее мать определяла достоинства каждой коровы, девочка изрекла благосклонно:

– Ничего по экстерьеру.

– Тебя нашли в капусте! – говорят городскому ребенку, думая, что он тотчас же представит себе традиционную капустную грядку.

– Разве я был в супе? – слегка удивляется он и тем обнаруживает, что в качестве горожанина никогда не видел огорода. Капуста являлась ему только в тарелке.

К сожалению, кое-где в наших семьях еще сохранились мещанские нравы и навыки. Больно видеть, что в эту трясину втягивают малолетних детей. Вот, например, как отчетливо отражается в их разговорах уродливая семейная пошлость.

– Тетя Оля, отдайте вашу Олечку за меня замуж.

– Зачем?

– Она мне будет готовить, а я буду лежать на диване и читать газету, как папа.

– У нашего Захара две жены: одна родная, другая двоюродная.

– У меня папа – я не знаю кто.

– А у меня папа – шофер.

– А у тебя, Витенька?

– А у меня папа – подлец.

– Кто тебе это сказал?

– Мама.

– Никогда не женюсь! Охота каждый день ссориться!

– Мама, а к Ване-то новый отец приехал и Ваниного отца прогнал.

– Твой папка коммунист?

– Не! Какой он коммунист! Он с мамкой каждый день ругается!

Двухлетней Оле мать купила на день рождения бутылку квасу. Когда стали ее откупоривать, пробка вылетела, и квас, запенившись, полился на стол. Оля побежала к отцу.

– Папа, папа! Бутылку стошнило! – крикнула Оля, неоднократно наблюдавшая такую же «тошноту» у отца.

Не менее отвратительным кажутся мне и такие, например, эпизоды.

Уборщица. Девочка, ты уходи отсюда, ты мне мешаешь пол мыть.

Девочка. Не уйду. Мне мама велела: «Как бы, говорит, она чего не взяла».

Входит электроконтролер:

– Ой, как вас бабушка испугалась! Прямо плитку горячую под кровать бросила.

– Я выйду замуж за Вову, – говорит четырехлетняя Таня, – у него красивый костюмчик, и за Петю тоже: он подарил мне копеечку.

– А как же Леша? Ведь у него столько игрушек!

– Что ж! Придется мне и за него выходить.

У Люды и Саши отец пьянствует, тиранит семью.

Люда:

– Мама, и зачем только ты на папе женилась! Нам бы, знаешь, как втроем было хорошо!

Хочется надеяться, что пошлые нравы, отразившиеся в этих одиннадцати эпизодах, отойдут мало-помалу в далекое прошлое! Ибо с каждым годом у меня все больше накапливается фактов, свидетельствующих о трепетно-чутком внимании великого множества советских родителей к душевному развитию их ребят.

«Уважаемый товарищ Чуковский, – пишет мне один молодой инженер, – мы обращаемся к Вам, как к детскому писателю, за советом несколько необычного характера. В связи с ожиданием рождения ребенка мы оба хотели вести „летопись“ его жизни от 0 до 3–4 лет так, чтобы создалась фотография формирования ребенка, его чувств, речи, физического развития…»

Ребенок еще не родился, но у будущих родителей так огромно уважение к нему, к его будущим чувствам, речам и поступкам, они так верят в значительность его психической жизни, что заранее, еще до его появления на свет, готовятся стать летописцами самых первых его криков и лепетов и, придавая этому делу великую важность, обращаются за советом к профессиональным писателям.

Еще характернее письмо, полученное Агнией Львовной Барто от некиих юных супругов:

«…С какого возраста давать детям Пушкина? И когда давать им читать Маяковского?»

Можно было подумать, что речь идет о подростке или, по крайней мере, о школьнике пятого класса, и лишь в самых последних строках обнаружилось, что родители сильно поспешили со своими вопросами, так как в ту пору их сыну было всего лишь… четыре месяца!

Подобных писем становится все больше. И каждое из них продиктовано таким уважением к ребенку, какого не было и быть не могло в прежней, ветхозаветной России.

Как пренебрежительно относились в былое время к периоду раннего детства, можно видеть из следующей типической фразы в «Записках актера Щепкина»:

«Тут промелькнуло мое детство, весьма неинтересное (?!), как и детство всякого (?!) ребенка»[71].

Чтобы продемонстрировать возможно нагляднее всю огромную разницу между старым и новым отношением к ребенку, приведу два письма, полученные мною в разное время.

Первое написано больше полувека назад (в 1909 году) какой-то разгневанной барыней, прочитавшей в одной из тогдашних газет мои ранние заметки о языке малышей.

[71] Записки актера Щепкина, М. 1933, стр. 33.

«Что касается детского языка, – писала она, – то советую вам почитать Библию; там вы узнаете, как три тысячи лет тому назад премудрый Соломон доказал, что детского языка нет. А я, как мать многих детей, могу вам доказать, что дети, по недостатку развития своих внешних чувств и своего ума, умеют только картавить, то есть коверкать недослышанные слова взрослых, например, „шикана“ – картошка, „обдядя“ – губка, „панфуй“ футляр и т. д.».

Сбоку приписка:

«Вы забыли, что яйца курицу не учат».

В одной этой строке – древнее, тысячелетнее, рабье неуважение к ребенку.

К письму прилагалось такое обращение в редакцию:

«Ваши читатели, конечно, не иначе могут смотреть на статью некоего Чуковского „О детском языке“, как на рождественскую шутку. Но всяким шуткам есть предел… Конец вашей газеты недалек, если она не перестанет брать сотрудников с одиннадцатой версты (то есть из сумасшедшего дома. – К.Ч.)».

Исследовать детскую речь многие считали в то время безумием. Заявить о своем уважении к ребенку значило навлечь на себя неуважение «публики».

Но вот письмо, полученное мною в 30-х годах от одного деревенского школьника:

«Товарищ Чуковский! Я решил завести дневник и записывать речь маленьких людей, будущих строителей социализма. Прошу сообщить мне, как лучше урегулировать это дело. Жду с нетерпением вашего совета. Привет.

Степан Родионов».

Письмо суховатое. Деловое письмо. Насчет того, что детская речь представляет собою большую социальную ценность, у Степана Родионова нет ни малейших сомнений. Для него это дело решенное. Уважение к психической жизни ребенка вошло в его плоть и кровь.

Он спрашивает лишь о методике этой трудной работы, которую берет на себя добровольно, без всяких сентиментальных ужимок, просто как общественную нагрузку. А нагрузок у него не так уж мало. Во втором письме он сообщает:

«Сельсовет назначил меня культармейцем. Сейчас я обязан к перевыборам в Советы ликвидировать неграмотность и малограмотность [взрослых людей]».

Он по самому своему существу – просветитель. Тревога о детях, забота об их приобщении к культуре – для него естественное чувство.

В прежнее время нам, литераторам, писали о детях главным образом лишь матери да бабки, а теперь заурядными становятся письма на эту же тему от девушек, холостяков и подростков, то есть от таких категорий людей, которые прежде считались наиболее равнодушными к детскому быту. Теперь любовь к детям из узко материнского чувства стала массовой, всенародной, разлилась по миллионам сердец.

Вот еще письмо – одно из тех, которые я теперь получаю десятками:

«Я студент ленинградского втуза, не педагог, не отец семейства, и, следовательно, принципиально я далек от мира детей, но…»

Дальше следует обычное признание (очень сдержанное и зачастую застенчивое) в неискоренимом пристрастии именно к «миру детей».

«Я через полтора месяца кончаю десятый класс саратовской школы, пишет школьница Наташа Николюкина. – Братьев и сестер у меня не было и нет, но…»

Следует такое же признание.

И вот письмо московской студентки:

«Я страшно люблю детей – и умных, и глупых, и красивых, и некрасивых, – и во мне вызывают умиление и восторг все их слова и поступки. Хотела бы я знать детей, понимать их, а любить их мне учиться не надо. Я бы очень хотела стать хорошим детским врачом, который сумел бы мягко, чутко и внимательно относиться к своим маленьким пациентам».

Это новое чувство с большой глубиной и силой выразилось в советской художественной литературе. Маленький ребенок стал излюбленным героем таких писателей, как Аркадий Гайдар, Борис Житков, Вера Панова, Л.Пантелеев, Василий Смирнов и другие.

Особенно показательна для наступившей эпохи ребенка книга Веры Пановой «Сережа», вышедшая в 1956 году. Кто из прежних писателей, и великих и малых, решился бы посвятить целую повесть – не рассказ, не очерк, а именно повесть изображению чувств и мыслей самого обыкновенного малолетнего мальчика, и притом сделать его центральной фигурой? Этого в

нашей литературе еще никогда не бывало. Это стало возможным лишь нынче, при том страстном интересе к ребенку, которым в последнее время охвачены в нашей стране широчайшие слои населения.

Так как я не меньше полувека пристально наблюдаю детей и всю жизнь нахожусь в постоянном общении с ними, я считаю себя вправе засвидетельствовать на основании очень долгого опыта, что детская психология изображается в этой повести правдиво и верно, с непревзойденною точностью. Пятилетние, шестилетние советские дети думают, чувствуют, играют, ненавидят и любят именно так, как это изображает Панова. Наблюдения над сотнями наших дошкольников, приведенные мною на предыдущих страницах, полностью подтверждают все то, что сообщается в «историях из жизни» Сережи.

Особенно зорко подмечены талантливым автором этих «историй» неустанные усилия детского мозга, направленные к овладению знаниями, необходимыми для ориентации в окружающем мире. Автор чрезвычайно наглядно показывает, как велика та страстная пытливость, с которой каждый нормальный ребенок стремится к немедленному решению всевозможных вопросов, ежечасно встающих перед его неугомонным умом, – в том числе вопросов о рождении, жизни и смерти.

Достаточно хоть бегло ознакомиться с приведенными мною материалами, чтобы прийти к убеждению, что именно эти вопросы неизбежно встают перед каждым ребенком уже с трехлетнего, четырехлетнего возраста (см. в настоящей книге стр. 451–493).

Но получилась очень странная вещь: вместо того чтобы обрадоваться замечательной книге Пановой, нашлись критики, которые по непонятной причине встретили ее вопиюще несправедливыми, мелочными придирками, словно задались специальною целью во что бы то ни стало отнять у новейшей советской литературы одно из лучших ее достижений[72].

VIII. СЛЕЗЫ И ХИТРОСТИ

На одной из предыдущих страниц я приводил заявление Нюры:

– Я плачу не тебе, а тете Симе!

Нюра точно выразила отношение многих здоровых трехлетних детей к социальной ценности слез.

Ребенок от двух до пяти нередко плачет «кому-нибудь» – с заранее поставленной целью. И отлично управляет своим плачем.

Мать не позволила трехлетнему Коте кидать мячиком в люстру. Он начал бурно и громко реветь, сидя на полу среди комнаты. Мать спряталась за ширму. Он подумал, что она ушла, вытер лицо кулаками, оглянулся и сказал:

– Чего же я реву-то? Никого нет.

И пошел разыскивать мать и, пока разыскивал, не плакал. Матери не нашел, привязался к работнице и тотчас заревел еще пуще.

Профессор К.Кудряшов сообщает в письме, что трехлетний Сережа в разговоре с ним, между прочим, сказал:

– Когда папа и мама приходят домой, я реву.

– А без них?

– При бабуле не реву.

– Почему же?

Сережа развел руками:

– Бесполезно.

Писатель Н.Г.Кон передал мне свой разговор с трехлетней Саррочкой Брахман:

– Я сегодня упала и сильно ушиблась.

– Плакала?

– Нет.

– Почему?

---

[72] Рецензия появилась в «Учительской газете». Протесты см. в «Новом мире», 1956, № 1, стр. 229 и в журнале «Семья и школа», 1956, № 2, стр. 30 (статьи Н.Атарова и О.Грудцовой).

– А никто не видал.

Плакать в одиночку, без слушателей, здоровые дети зачастую считают излишним.

У двух близнецов отец совершенно глухой. Поэтому они ревут лишь при матери. Когда же остаются с отцом, охота плакать у них пропадает.

Тот же Сережа (из повести Веры Пановой) умело управляет своими слезами: когда старшие мальчики прогнали его, у него дрогнула губа, но он крепился: подходила Лида, при ней плакать не стоит, а то задразнит: «Плакса! Плакса!»

Часто случается видеть, как ребенок несет свой плач какому-нибудь определенному адресату.

Его, скажем, обидели в далеком конце парка, и он бежит к отцу или матери по длинной тропинке и при этом нисколько не плачет, а разве чуть-чуть подвывает. Он бережет всю энергию плача до той минуты, когда добежит до сочувственных слушателей. А покуда тратит эту энергию скупо, минимальными порциями, хорошо понимая, что расходовать ее зря не годится.

Вообще эта «энергия плача» исчерпывается у детей очень быстро.

Вова Воронов плакал на улице.

– Подожди, не плачь, – сказала мать, – сейчас будем дорогу переходить. Здесь реветь некогда, надо смотреть, чтобы на нас машина не наехала. Вот дорогу перейдем, тогда можешь снова плакать.

Вова замолчал. Когда перешли дорогу, он попробовал опять зареветь, но ничего не вышло, и он заявил:

– Уже весь рёв кончился.

Поводы для детского плача нередко бывают ничтожными. Мать рассердилась на Лену и назвала ее Ленкой, а потом, когда накрыли на стол, с улыбкой сказала бабушке:

– Ах, ты и селедочку приготовила!

Этого было достаточно, чтобы Лена заревела безутешно.

– Ты даже селедку называешь селедочкой, а меня – Ленкой!

Дети в возрасте от двух до пяти вообще очень склонны к проливанию слез. Недаром говорится: «Он плачет, как ребенок».

– Бабуся, ты куда собираешься?

– К доктору.

Девочка – в слезы. И спрашивает, не переставая рыдать:

– Когда ты уйдешь?

– Да вот сию минуту.

– Зачем же ты мне раньше не сказала – я бы раньше начала плакать!

Еще более выразительный случай произошел недавно в одной московской коммунальной квартире. Женщина с трудом убаюкала грудного ребенка, но на душе у нее неспокойно: за тонкой стеной у соседей проживает трехлетний Ваня, страшный крикун и плакса. Стоит ему закричать, и он разбудит грудного. Желая задобрить этого зловредного Ваню, женщина дает ему большую конфету и просит, чтобы он помолчал хоть часок. Ваня уходит к себе в комнату, послушно молчит, но вскоре возвращается и протягивает конфету соседке:

– На, возьми, не могу – буду реветь.

И с громким ревом выбегает из комнаты.

Дико было думать, что так поступают все дети – всегда, во всех случаях. Чаще всего они плачут бесхитростно, – от боли, от тоски или от обиды. Вспомним, как плакал Сережа (в той же повести Веры Пановой), когда оказалось, что взрослые решили покинуть его. «Он рыдал, обливаясь слезами. Его не берут! Уедут сами, без него!.. Все вместе было – ужасная обида и страдание».

Это плач, выражающий непритворное детское горе, подлинную душевную муку.

Но здесь я говорю не об этих искренних детских слезах, проливаемых без всякой оглядки на взрослых. Сережа рыдал всерьез, ибо не мог не рыдать. Я говорю о тех, к сожалению, многочисленных случаях, когда дети пытаются при помощи слез достигнуть каких-нибудь благ. Как бы ни были забавны эти слезы, сколько бы улыбок ни вызывали они у взрослых, поощрять их, конечно, нельзя. Опрометчиво поступают те взрослые, которые с нелепой угодливостью торопятся исполнить любые желания ребенка, выраженные нарочитым нытьем, и тем самым приучают его с первых же месяцев его бытия к умелому использованию слез.

Вообще в этой неприглядной привычке детей виноваты исключительно взрослые.

Справедливо говорит читательница М.Ф.Соснина (Казань) в одном из своих писем ко мне.

«Если, – утверждает она, – слезы и рев никогда не ведут ни к какой выгодной для ребенка реакции со стороны взрослых, ребенок и не будет плакать из корысти. Ему такая возможность прямо-таки не придет в голову. Значит ли это, что он вообще не будет плакать? Нет, будет, но тогда слезы его будут вызваны чисто физиологической потребностью разрядки накопившихся переживаний…

Вот, например, мой сын, – продолжает т. Соснина, – никогда не плакал из корысти, потому что ничего ему „за плач“ не давали, не делали и не уступали. Как-то его бабушка выразила удивление, что он по какому-то случаю не заплакал. А он ей на это ответил:

– Плакать хорошо только с мамой!

Прекрасное, точное определение душевных потребностей: плакать стоит только тогда, когда можно выплакаться всласть, уютно, удобно, с сочувствующим и понимающим человеком.

И тот ребенок, про которого вы пишете, что он бежит через весь парк, не плача, чтобы не растратить свой плач, а весь излить своим родителям тот, вероятно, из тех же побуждений так поступал: чтобы плакать не как попадя, а выплакаться хорошо, с удобством и нацело, без остатка».

Отсюда ясный педагогический принцип: чтобы из своего плача ребенок не делал вернейшего средства к достижению удобств и выгод, мать должна с первого же дня его жизни подавить в себе стремление слишком горячо реагировать на его слезы и вопли. Ни в коем случае ей не следует давать ему грудь всякий раз, во всякую минуту, едва только он закричит. Кормить его грудью она должна по часам, а не беспорядочно, когда ему вздумается, – и при этом строго-настрого запретить его бабушкам, теткам и сестрам подбегать к нему при первом же крике, брать его на руки, баюкать, качать, лишь бы только он хоть на минуту умолк. Иначе она своими руками толкнет его на то хитроумное использование собственных слез, о котором мы сейчас говорили.

Вообще же говоря, «хитроумие» свойственно детям гораздо чаще, чем принято думать. Сентиментальная легенда о ребенке, как о некоем бесхитростном праведнике, чрезвычайно далека от действительности.

Ибо на самом-то деле ребенок совсем не такой ангелочек, каким он представляется многим слепо влюбленным родителям. Большой дипломат, он нередко внушает себе и другим, будто его своекорыстные желания и требования подсказаны ему чистейшим альтруизмом.

Четырехлетняя Вера говорит, например, своей матери:

– Ты можешь пойти за мороженым… Я не для того говорю, что за мороженым, а для того, чтобы ты вышла немного на воздух.

Наташа угощает бабушку конфетами:

– Ты, бабушка, кушай эти красивенькие (мармелад), а уж я буду есть эти грязные.

И, делая гримасу отвращения, со вздохом берет шоколадку.

И кого не обезоружит своим простодушным лукавством такая, например, уловка ребенка, где голый эгоизм прикрывается гуманнейшей заботой о ближних.

– Мама, возьми меня на ручки! Я тебя буду держать, чтобы ты не упала!

Мать несет тяжелую кошелку.

– Мама, ты возьми меня на руки, я возьму кошелку, и тебе не будет тяжело.

Пятилетняя Ирина во время обеда ест неохотно и вяло. Чтобы она действовала ложкой быстрее, мать предлагает ей есть суп наперегонки. Ирина отказывается, но при этом чрезвычайно хитро мотивирует свой отказ нежными чувствами к матери:

– Не хочу перегонять такую хорошую маму!

У бабушки большие очки. Андрюша гуляет с нею по многолюдному парку и очень боится волков. При этом в душе у него тлеет надежда, что, если уж волки совершат нападение, то скорее всего на бабушку. Эту свою тайную надежду он выражает такими словами:

– Если какого человека съест волк, что он сделает с его очками? На себя наденет, что ли?

Трехлетний Игорь увидел незнакомую кошку и в страхе спрятался за материнскую спину.

– Я кошки не боюсь, я только даю ей дорогу, потому что она такая хорошенькая.

Мама надела нарядную блузку и явно собирается уйти. Это очень не нравится трехлетнему Леше. Чтобы удержать маму дома, Леша прибегает к лукавству:

– Сними эту кофту, ты в ней некрасивая.

Четырехлетнему Валерику в детском саду предложили нарисовать голубей. Он ничего, кроме домиков, рисовать не умел. Он и нарисовал домик.

– Где же голуби?

– Они в домике.

Андрюша Румянцев (2 г. 10 мес.) заинтересовался плавающим в речке бревном. Ему очень хочется подбежать к нему ближе, но его не пускают туда.

Неподалеку от бревна на берегу собачонка, которая нисколько не интересует Андрюшу.

– Марина, правда, хорошая собачка?

– Да. Очень!

– Чудесная собачка! Нет, ты только подумай, какая собачка! Я побегу к ней – такая хорошая!

О бревне ни единого слова.

Мать собралась уехать на неделю из города и взять с собой Таню. Но Таня не знает об этом. Думает, что она будет оставлена вместе с Юриком дома. Поэтому, ни слова не говоря о себе, Таня начинает лицемерно сокрушаться о брате.

– И ты уедешь? – говорит она матери. – Ты можешь уехать от бедного, больного маленького мальчика?

Когда же она узнает, что мать намерена взять и ее, она мгновенно сбрасывает маску:

– Не такой уж он маленький и не такой уж больной! И вообще он большой. И притом здоровый.

К чести Тани, необходимо сказать, что, в отличие от взрослых, она сама не замечает своего лицемерия.

– Мама, хлеба!

– Подожди, скоро обед.

– Ну дай моей кукле Маше.

Получив для куклы кусочек хлеба, четырехлетняя Галя сразу кладет его в свой собственный рот.

– Что же ты делаешь?

– Пробую, не горячий ли хлеб: чтобы Маша не обожгла себе ротика.

Я думаю, такому лукавству мог бы позавидовать любой иезуит.

Двухлетняя Зоя не хочет, чтобы дети, пришедшие в гости, играли ее игрушками. Ради этого она прибегает к таким измышлениям:

– Куклу нельзя трогать: кукла больна. Мишку тоже нельзя: он кусается.

Откуда в ней это лукавство? Растет она в очень правдивой семье, не выносящей никакого криводушия.

А совсем недавно та же Зоя, уже достигшая четырехлетнего возраста, громко за столом произнесла непонятную фразу, услышанную ею по радио:

– Антифашистская демонстрация в Греции.

– Что это, по-твоему, значит? – спросила у нее удивленная тетка.

Вместо того чтобы откровенно признаться, что вся фраза недоступна ее пониманию, Зоя уличает в непонимании тетку:

– Ты не знаешь, что это значит? Папа, да объясни ты ей, пожалуйста, а то мне стыдно, что она не знает.

Родители запретили Ирочке просить у посторонних людей угощения. Ирочка пришла к соседям в гости. Стол еще не накрыт. Ирочка с невиннейшим видом:

– Когда я была у вас в прошлый раз, вы угощали меня конфетами.

IX. ПРОДОЛЖАЮ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ

В виде дополнения к настоящей главе привожу без всяких комментариев пестрые записи о речах и поступках детей, сделанные мною и моими друзьями главным образом в последнее время.

Надеюсь, что внимательный читатель и сам прокомментирует их – на основе предыдущего текста.

Сенсационные открытия:

– Папа, ты знаешь, оказывается: у лошадей нет рогов!

– Мама, ведь правда, домовых нет, а есть только домоуправы?

– Володя, знаешь: у петуха нос – это рот!

– Знаешь, папа, у всех зверей спина наверху, а живот внизу!

– А плохо быть птичкой: захочешь поцеловать маму – и уклюнешь ее.

– Когда конфету держишь во рту, она вкусная. А когда в руке невкусная.

– А из замужа обратно выйти можно?

– Вовка меня по-деревянному сегодня обозвал.

– Как это?

– Он сказал: сучка.

Люда Плеханова трех лет:

– А мы по радио слушали песню кувшини!

Люда спутала кувшин и графин, – то была ария графини из «Пиковой дамы».

– Я спала, а баба ушла, а тут такой крик стоял…

– Кто же кричал?

– Да я.

– Лена, куда ты! Постой! Не надо показывать собачке, что ты ее боишься.

Лена, убегая:

– А зачем я ей буду врать, если я ее и вправду боюсь?

– Юбка – это когда две ноги в одну штанину.

О портрете Гончарова:

– Он уже умер, да? А кто же теперь его заместитель?

Жена филолога ласкает четырехлетнего сына:

– Ах ты, мусенька, дусенька, пусенька.

Сын:

– Мама, не кривляй русский язык!

– Это не настольная игра, а настульная. Ведь я же играю не на столе, а на стуле.

Отсидела ногу.

– У меня в ножке боржом!

– Как же ты упал с кровати?

– А я ночью спал-спал и на себя не смотрел, а потом посмотрел на кровать и вижу: меня там нет.

Неистребимая страсть к похвальбе.

– А мой папа храпеть умеет!

– А у нас на даче столько пыли!

Соседский Саша так гордился живущими в его постели клопами, что пятилетний Антоша Иванов (с которым мы уже познакомились на предыдущих страницах) заплакал от зависти:

– Хочу, чтобы у меня были клопы!

– Вот ты говоришь – чудес не бывает. А разве это не чудесо, что вишни в одну ночь зацвели?

– Звезды очень далеко. Так откуда же люди знают, как их зовут?

– Рыба мрыть (умирать) не умеет; у нее головы нету. Только глаза на животе и хвост.

– Как рубану человека!

– Как же это можно рубануть человека?

– Не человека – буржуя!

– Тетенька, вы очень красивая.

– Да что же во мне красивого?

– Очки и тюбетейка.

–…Жили-были царь и царица, а у них был маленький царёныш.

– Кто красивее – папа или мама?

– Не буду вам отвечать, потому что не хочу обижать маму.

– Достань мне луну, хоть надкушенную!

– У нас бабушка в деревне всех петушков перерезала. Пусть теперь сама яйца несет.

– Папа, какие милиционеры смешные! Он мне говорил вы, как будто меня несколько!

Впрочем, дети очень скоро научаются понимать, что слово «вы», обращенное к одному лицу, знаменует собою учтивость.

– Нинка выдра, выдра, выдра! – кричит пятилетняя Маша.

Ее сверстнице Клаве такое ругательство кажется слишком уж вежливым.

– Надо не выдра, а тыдра, – поучает она.

– Тыдра, тыдра, тыдра! – дружно кричат они обе.

Нина не выдерживает и в слезах убегает.

Вырвали зуб.

– Пусть он теперь у врача в банке болит!

Нормы поведения, внушаемые взрослыми детям, воспринимаются детьми как универсальные правила, равно обязательные для детей и животных.

– Бабушка, смотри, какие утки глупые – сырую воду пьют из лужи!

Девочка, живущая на юге, угощает виноградом козу и все время кричит ей:

– Плюнь косточку!

Мы уже видели, что малый ребенок далеко не всегда отличает вещь от того слова, которым эта вещь обозначена.

То же происходит и с рисунками: изображенные на них существа воспринимаются ребенком как живые.

Владику было полтора года. Ему прочитали басню «Ворона и Лисица» и показали иллюстрацию к ней. Он пожалел несчастную ворону, которая осталась без сыра. Когда через две-три недели к завтраку был подан голландский сыр любимое лакомство Владика, – он побежал за книжкой, отыскал тот рисунок, где изображена ворона с открытым клювом, и, тыча вороне сыр, стал приговаривать:

– На, ворона, кушай сыр, кушай!

В детском саду воспитатель показывает детям картинку. На картинке изображен мальчуган, который убегает от разъяренного гуся; вдали домик, окруженный деревьями.

Пятилетняя девочка берет указку и сильно стучит по домику.

– Я стучу, – поясняет она, – чтобы мальчику скорее открыли, а то его гусь укусит.

В другой раз воспитатель показал тем же детям картинку, на которой нарисована спящая женщина, а рядом ее дочь, вся в слезах: играя, она поцарапала руку.

Девочка, всмотревшись в картинку, начинает тыкать указкой в спящую:

– Мама, просыпайся: жалко девочку.

Двухлетней Кате очень понравилась картинка, изображавшая козликов на зеленой лужайке. Она стала тянуть маму за руку:

– Пойдем туда в картинку, к козликам!

Наташа принесла в детский сад корейскую сказку «Ласточка».

В книге есть картинка: к птичьему гнезду подбирается злая змея.

Увидев картинку, приятель Наташи, пятилетний Валерка, набросился на змею с кулаками.

– Не бей! – закричала Наташа. – Я уже побила ее дома.

На картинке нарисован бегемот, бегущий за мишкой. Трехлетняя Саша прикрыла медведя ладонью, чтобы бегемот его не догнал.

Глядя на лысого:

– Почему у тебя так много лица?

Увидел в Зоопарке полосатую зебру:

– Лошадь в тельняшке.

Сережа Сосинский с философским уклоном ума:

– Когда я сплю, мне кажется, что меня нигде нет: ни в одной постели, ни даже в комнате. Где я тогда, мама?

– Мама, а можно спать назад?

– Как – назад?

– Утром уснуть и проснуться вчера вечером?

Сын учителя, пятилетний Валерий:

– Пушкин сейчас живет?

– Нет.

– А Толстой?

– Нет.

– А живые писатели бывают?

– Бывают.

– А их кто-нибудь видел?

Это напомнило мне один эпизод, приключившийся лет тридцать назад. Меня знакомят с пятилетней Ириной.

– Это, Ирочка, писатель Чуковский.

Та спрятала руки за спину и засмеялась, как человек, хорошо понимающий шутку.

– Чуковский давно умер.

Когда же меня пригласили к столу, она окончательно уличила меня в самозванстве:

– Ага! Разве писатели кушают?

В автобусе мальчик четырех лет сидит на руках у отца. Входит женщина. Мальчик, желая быть вежливым, вскакивает с отцовских колен:

– Садитесь, пожалуйста!

В заключение – несколько примеров того, как своеобразно отражаются в детских умах количественные отношения вещей.

Математический спор двух четырехлетних соперников:

– Я на четвереньках умею.

– А я на пятереньках.

– А я на шестереньках.

– А я на семереньках.

– А я…

К счастью, дальше семи они не умели считать. Дошли бы до тысячеренек.

Кот стоит на четвереньках,

А Наташа на двуеньках.

Трехлетняя Анка.

– А я двумями ногами могу прыгать!

У Эрны и Таты три чашки. Разделить их поровну никак невозможно. Та, кому во время игры достается одна чашка, страдает от зависти, плачет, а та, у кого их две, важничает и дразнит страдалицу.

Вдруг Эрну перед игрой осеняет:

– Давай разобьем одну чашку!

Тата обрадована:

– Давай разобьем!

Это первая математическая задача, которую довелось им решать, и они блистательно решили ее, так как после уничтожения чашки получили возможность играть по-товарищески, не причиняя друг другу обид.

Леве было пять лет, и он ужасно боялся вернуться в четыре (чем ему однажды пригрозили).

– Одна рука холодная, а третья горячая.

Мать Леонида Андреева рассказывала мне, что, когда ему было три года, он однажды, ворочаясь в постели, пожаловался:

– Я – на один бок, я – на другой бок, я – на третий бок, я – на четвертый бок, я – на пятый бок – все никак не могу заснуть.

– Сколько тебе лет?

– Скоро восемь, а пока три.

Известным психологом А.В.Запорожцем были опубликованы наблюдения О.М.Концевой над отношением дошкольников к арифметическим задачам.

«Оказывается, – пишет ученый, – малышей чрезвычайно занимает жизненное содержание задачи, в то время как собственно математические моменты отодвигаются на задний план.

Ребенку говорят: „Мама съела 4 конфеты, а своему сыну дала 2, сколько они съели вместе?“ Малыш не решает этой задачи, так как его волнует описанная в ней несправедливость. Он говорит:

– А почему она Мише так мало дала?

Воспринимая текст задачи, ребенок прежде всего видит в нем описание некоторых реаль-

ных событий, в котором собственно числовые данные имеют вспомогательное значение»[73].

О подобном же случае сообщает мне из поселка Холбон Читинской области т. Иванов:

«Я предложил своему трехлетнему племяннику такую задачу:

– Папа купил одну конфетку, и мама – одну конфетку…

Но я не успел закончить, потому что мальчишка спросил:

– А где они?»

Пятилетний Алик только что научился считать до десятка. Поднимаясь по лестнице на седьмой этаж, он с уверенностью считает ступени, и ему чудится, что в произносимых им числах есть некая магия, так как, по его мнению, количество ступеней зависит от цифры, которую он назовет.

– Вот, – говорит он, – если бы считали не 1, 2, 3, 4, 5, а 1, 3, 5, 10, было бы легче дойти. Было бы меньше ступенек.

Число кажется ему такой же реальностью, как и вещь, отмечаемая числом. Этот фетишизм цифр сродни детскому фетишизму рисунков и слов.

Таков же фетишизм детей в отношении к календарю и к часам.

Таня взяла календарь и старательно отрывает листок за листком:

– Хочу сделать Первое мая… Тогда мы пойдем на демонстрацию.

Мама сказала пятилетнему Леве, что вернется домой, когда вот эта стрелка будет здесь (и показала на стенных часах). Лева остался один. Ждал, ждал – не выдержал, взобрался на стул и перевел стрелку, – в твердой уверенности, что тем самым ускоряет возвращение мамы.

Вообще последовательность чисел представляется ребенку чем-то таким, что вполне зависит от его – человеческой – воли.

– Я хочу жениться на Володе, – говорит маме четырехлетняя Лена.

– Но ведь ты на целый год его старше.

– Ну так что! Мы пропустим один день моего рождения и сравняемся.

Глава третья
БОРЬБА ЗА СКАЗКУ

I. РАЗГОВОР О МЮНХАУЗЕНЕ

1929

Это было в Алупке в 1929 году. Больные ребята изнемогали от зноя. Они шумели и хныкали. Какая-то растяпистая женщина кудахтала над ними по-куриному, но не могла их унять.

Я пришел издалека и, чтобы обрадовать их, начал читать им «Мюнхаузена».

Через две минуты они уже ржали от счастья.

Слушая их блаженное ржание, я впервые по-настоящему понял, какое аппетитное лакомство для девятилетних людей эта веселая книга и насколько тусклее была бы детская жизнь, если бы этой книги не существовало на свете.

С чувством нежнейшей благодарности к автору я читал, под взрывчатый хохот ребят, и про топор, залетевший на луну, и про путешествие верхом на ядре, и про отрезанные лошадиные ноги, которые паслись на лугу, и, когда я на минуту останавливался, ребята кричали: «Дальше!»

Но вот подбегает ко мне эта женщина, и на лице у нее красные пятна:

– Что вы! Что вы!.. Да мы никогда, ни за что!..

И хватает у меня из рук мою бедную книгу, и глядит на нее, как на жабу, и двумя пальцами уносит куда-то, а больные дети ревут от обиды, а я иду растерянно за женщиной, и руки у меня почему-то дрожат.

Тут возникает какой-то молодой в тюбетейке, и оба говорят со мною так, будто я пойманный вор:

– Какое вы имеете право читать эту дрянь нашим детям?

---

[73] Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста, М.-Л. 1948, стр. 85.

И объясняют мне учительным тоном, что в книге для советских ребят должны быть не фантазии, не сказки, а самые подлинные реальные факты.

– Но позвольте, – пробую я возразить. – Ведь именно при помощи своих фантазий и сказок эта книга утверждает ребят в реализме. Самый хохот, с которым встречают они каждую авантюру Мюнхаузена, свидетельствует, что его ложь им ясна. Они именно потому и хохочут, что всякий раз противопоставляют его измышлениям реальность. Тут их боевой поединок с Мюнхаузеном, поединок, из которого они неизменно выходят каждый раз победителями. Это-то и радует их больше всего. Это повышает их самооценку. «Ага, ты хотел нас надуть, не на таковских напал!» Тут спор, тут борьба, тут полемика, и их оружие в этой борьбе – реализм. Пойдите спросите ребят, поверили ли они хоть единому слову Мюнхаузена, – они прыснут вам прямо в лицо. И вы оскорбляете их своей дикой боязнью, как бы их не одурачили небылицы Мюнхаузена! Это ли не издевательство над девятилетним гражданином Советской страны – считать его таким беспросветным глупцом, который способен поверить, что топоры взлетают на луну!

Глаза у педагогов были каменные. Но я уже не мог замолчать.

– Или вы боитесь, как бы эти буффонады Мюнхаузена не расшевелили в детях чувство юмора? Почему веселая книга внушает вам такое отвращение, словно вы – гробовщики или плакальщики? Или вы во что бы то ни стало хотите отвадить ваших ребят от чтения и внушить им лютую ненависть к книге? Вы этого добьетесь, ручаюсь вам! И поверьте, что те педагоги, которые по-настоящему борются за коммунистическое воспитание детей, осмеют и осудят вас…

Я ждал возражений, но эти люди были из породы недумающих и даже как будто обиделись, что я приглашаю их самостоятельно мыслить. Только один из них, высоколобый и мрачный, безапелляционно сказал, что мои рассуждения чуковщина.

И на этом наша дискуссия кончилась. Ребята были спасены от «Мюнхаузена». Я взвалил на плечи мою дорожную сумку и вышел на горячее солнце.

В сумке у меня были любимые: «Гулливер», «Сказки Гриммов», «Конек-горбунок». Я хотел подарить эти книги ребятам, но высоколобый перелистал их небрежно и, скучая, отодвинул от себя.

– Это нам ни к чему, – сказал он. – Нам бы о дизелях или радио.

Шагая вдоль берега по каменистой тропе, я думал о том, что случилось.

«Почему эти чудаки, – спрашивал я себя, – так уверены, что радио и „Конек-горбунок“ несовместны? Почему они думают, что, если младенцу, например, прочитать „Конька-горбунка“, он непременно отвратится от всякой механики и до старости лет будет мечтать о жар-птицах? Откуда взялся у них этот тупой ультиматум: либо сказка, либо динамо-машина? Как будто для того, чтобы выдумать динамо-машину, не понадобилось самой смелой фантазии! Фантазия есть ценнейшее качество ума человеческого, и ее нужно тщательно воспитывать с самого раннего детства, – как воспитывают музыкальное чутье, – а не топтать сапогами. Ленин сказал о фантазии: „Напрасно думают, что она нужна только поэту. Это глупый предрассудок! Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество величайшей ценности…“[74]. Недаром Карл Маркс во время загородных прогулок рассказывал своим дочерям „чудесные волшебные сказки, тянувшиеся без конца, – сам по дороге сочиняя их, растягивая или, наоборот, ускоряя события, смотря по длине оставшегося пути…“[75] Дарвин в детстве был такой фантазер, что все считали его выдумщиком не хуже Мюнхаузена…»

Все эти доводы показались мне столь сокрушительными, что мне захотелось сейчас же вернуться и доказать высоколобому, что он непоправимо калечит ребят, изгоняя из их обихода фантастику.

На следующий день спозаранку я уже был у него и изложил ему все эти мысли, а потом в заключение достал из своей походной сумки книгу и прочитал оттуда такие слова:

«Будем развивать природную фантазию или, по крайней мере, не будем мешать ей своеоб-

---

[74] В.И.Ленин, Заключительное слово по политическому отчету ЦК на XI съезде РКП (б), 28 марта 1922 года. Полное собрание сочинении, т. 45, стр. 125.

[75] Поль Лафарг, Воспоминания о К.Марксе. «Воспоминания о Марксе и Энгельсе», Госполитиздат, М. 1956, стр. 72.

разно развиваться. Для маленьких ребят очень важно в этом отношении чтение волшебных сказок. Теперь нередко можно встретить родителей, восстающих против сказок. Они не дают их детям, стремясь воспитать трезвых, деловых людей. Я всегда предсказывал таким родителям, что из этих детей не выйдут ни математики, ни изобретатели…»

Высоколобый взялся за свой белый картуз.

– А знаете ли вы, кто это пишет? – спросил я его с торжеством. – Это пишет не какой-нибудь поэт или сказочник, а профессор прикладной механики, автор книг «Основания статики» и «Курс сопротивления материалов», воспитавший целые поколения выдающихся русских ученых. В итоге многолетнего педагогического и научного опыта он пришел к убеждению, что сказка есть его союзник, а не враг, что инженер, который в детстве не был воспитан на сказке, едва ли способен к инженерному творчеству. Статья его так и называется: «Значение фантазии для инженеров»[76]. Прочтите ее, и вы сами увидите, что сказка не только не мешает техническому воспитанию ребят, а напротив, помогает и содействует.

Но высоколобый отстранил мою книгу.

– Не хотите читать? – спросил я. – Почему же?

Он выпятил губу и веско сказал:

– Потому что я сегодня выходной.

К счастью, в санатории нашлись педагоги молодые и пылкие, они энергично поддержали меня.

Но их усилия не спасли «Мюнхаузена». Высоколобый получил образование в Харькове, где в то время подвизалась группа педологов, горе-теоретиков детского чтения, утверждавших, что пролетарским ребятам не надобны ни сказки, ни игрушки, ни песни.

Высоколобый именно благодаря этой группе чувствовал себя совершенно свободным от обязанности самостоятельно мыслить.

Как впоследствии выяснилось, около этого времени А.С.Макаренко с гневом писал о педологах:

«Я всегда честно старался разобраться в педологической „теории“, но с первых же строк у меня разжижались мозги, и я не знал даже, как квалифицировать всю эту теорию: бред сумасшедшего, сознательное вредительство, гомерическая дьявольская насмешка над всем нашим обществом или простая биологическая тупость. Я не мог понять, как это случилось, что огромной практической важности вопрос о воспитании миллионов детей, то есть миллионов будущих и притом советских рабочих, инженеров, военных, агрономов, решается при помощи простого, темного кликушества и при этом на глазах у всех»[77].

«Мюнхаузен» и сделался жертвой подобных кликуш.

Впрочем, дело не только в педологах. Среди моих сказок не было ни одной, которой не запрещала бы в те давние годы та или иная инстанция, пекущаяся о литературном просвещении детей.

Сказка «Мойдодыр», например, была осуждена Главсоцвосом за то, что в ней я будто бы оскорбил… трубочистов. С этим приговором вполне согласилась обширная группа тогдашних писателей, в числе двадцати девяти (!) человек, которая так и заявила в «Литературной газете» в «Открытом письме М.Горькому»:

«Нельзя давать детям заучивать наизусть:

А нечистым трубочистам
Стыд и срам, стыд и срам!

и в то же время внедрять в их сознание, что работа трубочиста так же важна и почетна, как и всякая другая».

С «Крокодилом» обошлись еще проще: возвестили публично (в газетах и на многолюдных собраниях), будто я изобразил в этой сказке – что бы вы думали? – мятеж генерала Корнилова.

---

[76] См. статью профессора В.Л.Кирпичева в «Известиях Киевского политехнического института» (1903).

[77] Архив А.С.Макаренко. Цитирую по книге Е.Балабановича «А.С.Макаренко», М. 1951, стр. 112.

То обстоятельство, что «Крокодил» написан годом раньше, чем был поднят мятеж, не отменило этой неправдоподобной легенды.

Запрещение «Крокодила» в 1928 году вызвало протест ленинградских писателей и ученых. В моем архиве сохранилась бумага, обращенная к педагогической Комиссии ГУСа (Государственного ученого совета). Среди подписавших протест – Алексей Толстой, Константин Федин, Юрий Тынянов, С.Маршак, Михаил Зощенко, Ник. Тихонов, Лидия Сейфуллина, Вячеслав Шишков, академики Евгений Тарле, Сергей Ольденбург, шлиссельбуржец Николай Александрович Морозов и многие другие. Под влиянием этого протеста было дано разрешение «издать книгу небольшим тиражом», но через несколько месяцев разрешение было взято назад, несмотря даже на вмешательство Горького. А люди, подписавшие эту бумагу, были названы «группой Чуковского».

Впрочем, «Крокодил» был счастливчиком по сравнению с «Мухой цокотухой», от которой не раз и не два спасали советских детей.

Раньше всего на том основании, что Муха (по остроумной догадке все той же Комиссии ГУСа) – «переодетая принцесса», а Комар – «переодетый принц».

В другой раз – за то, что в нее «было протаскано» мною такое двустишие:

А жуки рогатые,
Мужики богатые,

а это, по мнению Комиссии, свидетельствует, что я выражаю сочувствие кулацким элементам деревни.

В третий раз злополучная «Муха» подверглась осуждению за то, что она будто бы подрывает веру детей в торжество коллектива…

Конечно, я счастлив, что в настоящее время я могу благодушно смеяться над такими шедеврами критической мысли. А тогда, признаться, было совсем не до смеха.

Точно так же не вызвало во мне особенной радости такое официальное письмо, которое я получил от заведующей детской секции ленинградского Госиздата:

«Брать под защиту и требовать переиздания ваших прежних книг („Телефон“, „Тараканище“, „Айболит“, „Крокодил“) мы, как вы сами понимаете, не можем, так как в настоящее время детям нужна, конечно, другая пища: Комиссия Главсоцвоса разрешает только „Мойдодыра“ (но требует выбросить „трубочистов“)» и т. д.

Тогда же в Москве состоялся диспут о детской книге. Об этом диспуте писатель Д.Кальм дал отчет в «Литературной газете» под таким заглавием: «Оградим нашего ребенка от классово-чуждых влияний!» Там с величайшим сочувствием сказано о выступлении одного из руководящих работников ГИЗа:

«Тов. Разин заявил, что основной опасностью нашей детской литературы является чуковщина».

Один из тогдашних журналов напечатал целую статью «О чуковщине», посвященную книге «От двух до пяти» (которая именовалась тогда «Маленькие дети»).

В статье без всяких обиняков говорилось:

«Мы должны взять под обстрел Чуковского и его группу…», «С идеологией Чуковского и его группы мы должны и будем бороться» и т. д., и т. д., и т. д.[78].

Другой журнал через несколько месяцев так и озаглавил свое выступление: «Мы призываем к борьбе с „чуковщиной“».

«Мойдодыр», говорилось в журнале, «развивает суеверие и страхи», «Муха цокотуха» «восхваляет кулацкое накопление», а «Тараканище» и «Крокодил» «дают неправильное представление о мире животных и насекомых». Вследствие всего этого в той же статье родителям и воспитателям было предложено: а) не читать этих книг детям; б) протестовать против их издания; в) призвать детские сады города Москвы и других городов присоединиться к этому протесту и т. д., и т. д., и т. п.[79].

[78] «Красная печать», 1928, № 9-10, стр. 92–94.

[79] «Дошкольное воспитание», 1929, № 4, стр. 74.

К счастью, все это далеко позади, но не следует думать, что в позднейшие годы, когда «антисказочной кампании» был положен конец, разные добровольцы перестали спасать от меня малышей.

Когда я дерзнул, например, обнародовать свои переводы народных английских стихов для детей, в печати появилась такая рецензия Т.Чугунова:

«Это формалистическое кривлянье и рифмованное сюсюканье Чуковского, закрепляя неправильности языка, встречающиеся у детей, мешает развитию их речи… Детиздату должно быть стыдно (так и сказано: „должно быть стыдно“) от того, что он выпускает такие недоброкачественные книжки, как „Котауси-Мауси“.»

Лишь к концу пятидесятых годов, когда духовная жизнь страны вышла на новые рельсы, детям удалось отстоять свое право на волшебную сказку. А в тот период, о котором я сейчас говорил, в период Пролеткульта и РАППа, между малым ребенком и сказкой все еще стояли десятки преград.

II. «АКУЛОВ НЕ БЫВАЕТ!»

Особенно свирепым кликушеством отличалась в то далекое время московская специалистка по воспитанию детей Э.Станчинская.

Выступая в печати и на разных трибунах, она победоносно доказывала с самых крайних левацких позиций, что сказки в огромном своем большинстве чрезвычайно опасны для советских детей.

И, когда другая такая же кликуша, Э.Яновская, опубликовала брошюру «Сказка как фактор классового воспитания», содержащую такие же нападки на сказку, Станчинская приветствовала появление брошюры словами:

«Подчеркнем необходимость широкого распространения книжки Яновской».

В рецензии высказывалась прискорбная мысль, будто сказку нужно давать детям не тогда, когда она им насущно нужна для нормального развития их умственных сил, а позднее, когда потребность в сказке у них миновала. Это все равно, что разрешить человеку вступление в брак лишь после того, как он достигнет восьмидесятилетнего возраста.

Вот с этой-то Станчинской однажды случилась престранная вещь. Ее собственный сын взбунтовался против ее мракобесных теорий.

Всеми силами оберегала она этого сына от сказок и, даже беседуя с ним о животных, рассказывала ему лишь о таких, которых он видел своими глазами.

Нужно же воспитать из него реалиста!

Поменьше, поменьше зловредных фантазий!

Особенно ужасными казались ей народные сказки «с чудесными превращениями, лешими, бабами-ягами и проч.».

Ярая противница сказок, она так и напечатала в одном из московских журналов:

«Предлагаем заменить народные нереальные, фантастические сказки простыми реальными рассказами, взятыми из мира действительности и природы!»[80]

Никаких уступок, никаких послаблений! Выбросить все без исключения сказки, былины, весь русский и всемирный фольклор!

И все было бы в полном порядке, но, на беду, в качестве любящей матери, она стала вести самый подробный дневник о маленьком сыне и, сама того не замечая, этим дневником опровергла все свои домыслы о зловредности фантастических сказок.

Собственною своею рукою, так сказать, разрушила свои же идеи.

Как видно из ее дневника – а этот дневник напечатан, – ее маленький мальчик, словно в отместку за то, что у него отняли сказку, стал с утра до ночи предаваться самой буйной фантастике. То выдумает, что к нему в комнату приходил с визитом красный слон, то будто у него есть подруга – медведица Кора; и, пожалуйста, не садитесь на стул рядом с ним, потому что – разве вы не видите? – на этом стуле медведица. И – «Мама, куда ты? На волков! Ведь тут же сто-

[80] «На путях к новой школе», 1924, № 1.

ят волки!»[81]

А чуть выпал снежок, он тотчас же стал олененком, маленьким олененком в тайге; а стоило ему сесть на ковер, как ковер немедленно становился пароходом. В любую минуту из воздуха, из пустоты мальчик, силою своей детской фантазии, мог сделать любую зверюшку.

«Сегодня вернулся домой, бережно держа что-то в руке.

– Мамочка, я принес тебе тигренка, – и показывает пустую руку. Нравится тебе мой тигренок?

– Да, да, детка!

– Пусть он живет у нас, – просительным тоном.

Садится обедать и ставит рядом со своей тарелкой тарелочку, и когда ему приносят еду:

– Мамочка, а тигренку?

И в то же время оживленно рассказывает:

– Я влез в море, кувыркался там, вдруг пришел большой тигр, я спрятался под берег, потом я закинул сеть и поймал рыбу.

– Где же она?

– Я ее съел… сырую»[82].

Так проходили почти все его дни. Ежеминутно творил он какую-нибудь сказку для себя.

«– Мама, я птичка, и ты тоже птичка. Да?»[83]

«– Мама, ко мне в гости пришел один клоп, сел за столик, протянул мне лапочку»[84], и т. д., и т. д., и т. д.

А мать, видя, что он буквально купается в сказке, как в море, всячески оберегала его, чтоб он не осквернился напечатанной сказкой.

Как будто есть какая-нибудь принципиальная разница между той сказкой, которую сочиняет ребенок, и той, которую сочинил для него великий народ или великий писатель!

Ведь все равно, дадите вы ему эту сказку или нет, – он сам себе сказочник, сам себе Андерсен, Гримм и Ершов, и всякая его игра есть драматизация сказки, которую он тут же творит для себя, одушевляя по желанию все предметы, превращая любую табуретку в поезд, в дом, в аэроплан, в верблюда.

Я знал мальчугана, который, играя в трубочиста, воскликнул:

– Не трогай меня, мама, ты запачкаешься!..

И другого, который по ходу игры надолго превратился в котлету и, добросовестно шипя на сковородке, в сердцах оттолкнул свою мать, когда она бросилась к нему с поцелуями:

– Как ты смеешь целовать меня, жареного!

Чуть моя трехлетняя Мура, играя, разложила на полу свои книги, книги тотчас же сделались речкой, где она ловила рыбу и стирала белье. И, нечаянно наступив на одну книгу, она так естественно вскрикнула: «Ой, я замочила себе ногу!», что и я на секунду поверил, будто эти книги – вода, и чуть не бросился к ней с полотенцем.

Во всех этих играх ребята выступают как авторы и в то же время исполнители сказок, воплощающие их в сценических образах.

И жажда верить в свой сказочный вымысел у них так велика, что всякая попытка поставить их в рамки действительности вызывает у них жаркий протест.

Я вспоминаю, например, трехлетнего Бубу, который окружил себя кубиками и заявил, что это зоологический сад. «Не могу, я заперт!» – ответил он, как узник из темницы, когда его позвали гулять. «А ты шагай через кубики», предложили ему, но это разрушение творимой им сказки

---

[81] Э.И.Станчинская, Дневник матери. История развития современного ребенка от рождения до 7 лет, М. 1924, стр. 52.

[82] Э.И.Станчинская, Дневник матери. История развития современного ребенка от рождения до 7 лет, М. 1924, стр. 66.

[83] Э.И.Станчинская, Дневник матери. История развития современного ребенка от рождения до 7 лет, М. 1924, стр. 92.

[84] Э.И.Станчинская, Дневник матери. История развития современного ребенка от рождения до 7 лет, М. 1924, стр. 48.

показалось ему обидным до слез: он упрямо продолжал оставаться в своей добровольной тюрьме и лишь тогда согласился покинуть ее, когда в его постройке выдвинули маленький кубик, то есть сделали вид, что открыли для него ворота.

У ребят с изощренной фантазией такие игры доходят иногда до эксцентрики. Двухлетний Левик, сидя у отца верхом на шее, любил отыскивать себя в самых неподходящих местах: под лампой – нет, в наперстке – нет, в кувшине – нет и т. д. «Где же Левик? – Пропал! Вероятно, в папироску забрался!»[85]

Раз при игре в войну Наташа исполняла роль солдатки, которая будто бы осталась в избе и хозяйничала. К ней прибежали сказать, что ее муж убит. Наташа завопила во весь голос. Другие дети пытались успокоить ее. Они повторяли, что Боря, игравший роль ее мужа, жив. Наташа продолжала вопить и не успокоилась до самого вечера. Ночью она всхлипывала во сне и, когда старшие пытались утешить ее, говорила:

– Ну что ж, что Боря жив, а ведь мово мужа убили!

Играя в Спящую царевну, дети чем-то отвлеклись от игры и долго не приходили к спавшей на лавке царевне.

– Иди ужинать! – зовет ее бабушка.

– Не могу. Я царевна. Я сплю.

Не только игры, но и самые простые разговоры малолетних ребят свидетельствуют, что сказочное восприятие мира для них обыденная норма:

– А будильник никогда не спит?

– А чулку от иголки не больно?

И вот этого-то профессионального сказочника всячески оберегали от сказки, которой он дышит как воздухом.

К счастью, это не удавалось почти никогда. Потому что, спасая свою детскую психику, ребенок уходит со сказкой в подполье и пользуется ею, так сказать, нелегально, протаскивая ее в свой мир контрабандой.

Известную детскую писательницу Т.А.Богданович с самого раннего детства воспитывала сестра «якобинца» П.Н.Ткачева, в свое время тоже писавшая для детей, Александра Никитична Анненская.

Под влиянием просветительства шестидесятых годов она так ретиво охраняла малютку от сказок, что даже боялась взять няню – как бы няня не рассказала ей сказку. Девочке читались только научные книги, главным образом по ботанике и зоологии.

Но по ночам, когда воспитательница наконец засыпала, девочка, освободившись от контроля, наполняла всю комнату самыми диковинными тварями.

На кровать вскарабкивались к ней тогда обезьяны, на стуле у нее вдруг появлялась лисица с лисятами, в ее одежде, сложенной возле кровати, начинали копошиться какие-то птицы, и она каждую ночь подолгу разговаривала с ними. Разговаривала – потому что каждый ребенок разговаривает со всеми предметами, и все предметы разговаривают с ним.

Эта сказочная жизнь среди иллюзорных зверей доставляла девочке огромную радость, потому что была здоровым и нормальным проявлением ее детской природы.

Так инстинктивно отстаивал бедный ребенок свое право на сказку, тайно предаваясь той самой фантастике, от которой взрослые оберегали его, как от тифа.

Воспитательница только того и достигла, что загнала волшебную сказку в подполье и тем самым придала ей удесятеренные чары. Не лучше ли было бы просто прочитать девочке «Золушку» и «Красную Шапочку»?

О необходимости развивать детскую фантазию при помощи чтения сказок Ф.М.Достоевский писал в конце жизни одному из родителей:

«Вы говорите, что до сих пор не давали читать Вашей дочери что-нибудь литературное, боясь развить фантазию. Мне вот кажется, что это не совсем правильно: фантазия есть природная сила в человеке, тем более во всяком ребенке, у которого она, с самых малых лет, преимущественно перед всеми другими способностями развита и требует утоления. Не давая ей утоления, или умертвишь ее, или обратно, – дашь ей развиться, именно чрезмерно (что и вредно) своими

[85] Н.И.Гаврилова и М.П.Стахорская, Дневник матери, М. 1916, стр. 52.

собственными уже силами. Такая же натуга лишь истощит духовную сторону ребенка преждевременно»[86].

Мы уже видели, что сделал пятилетний ребенок, когда одна умная московская мать, желая приобщить его к подлинным реальностям жизни, преждевременно рассказала ему подробнейшим образом о зачатии и рождении детей: выслушав ее лекцию, он тотчас же переделал всю науку по-своему и сообщил матери, что, когда он был у нее в животе, он играл в тамошнем садике и пил у тамошнего дяденьки чай.

Вот что сделал пятилетний ребенок с теми строго научными сведениями, которые ему сообщили не вовремя.

Он словно сказал своей матери: ты видишь сама, что мне сейчас нужна не эмбриология, а сказка, чтобы возможно полнее, пышнее, богаче пережить этот полезнейший для моего психического развития период. Не торопись прививать мне до времени «взрослое» мышление, потому что каждую твою «взрослую» истину я, по законам своего естества, немедленно перенесу в фантастический мир и даже в твою утробу насыплю песочку, и разведу там сад, и поставлю ларьки с моссельпромщиками.

Лишенный мюнхаузенов, Гулливеров, коньков-горбунков, ребенок бессознательно компенсирует себя множеством самоделковых сказок. Так что педологи, отняв у него народные сказки и сказки великих писателей (то есть, в сущности, ограбив его), совершили это ограбление зря и цели своей все равно не достигли.

Сказка по-прежнему расцветала в ребячьем быту, только вместо народной, или пушкинской сказки, или сказки кого-нибудь из современных поэтов ребята вынуждены были самообслуживаться своей собственной случайной кустарщиной.

А использовать их тяготение к сказке, чтобы при помощи классических, веками испытанных книг развить, укрепить, обогатить и направить их способность к творческой мечте и фантастике, – об этом организаторы детского чтения тогда все еще не удосужились подумать всерьез.

Между тем в наше время, в эпоху осуществления самых размашистых научно-социальных фантазий, которые еще так недавно казались безумными сказками, нам нужно было во что бы то ни стало создать поколение вдохновенных творцов и мечтателей всюду, во всех областях – в науке, технике, агрономии, архитектуре, политике.

Без фантазии и в физике и в химии будет полный застой, так как создание новых гипотез, придумывание новых приборов, новых приемов опытного исследования, догадки о новых химических соединениях – все это продукты фантазии.

Трезвым, осторожным рутинерам принадлежит настоящее, а тем, кто фантазирует, – будущее. Недаром столь пламенно вступился за фантазию знаменитый английский физик Джон Тиндаль. «Без участия фантазии, настаивал он, – все наши сведения о природе ограничились бы одной классификацией фактов. Отношения причин и их действий рассыпались бы в прах, и вместе с тем рухнула бы и самая наука, главная цель которой состоит в установлении связей между различными частями природы, ибо творческая фантазия – это способность быстро образовывать новые и новые связи»[87].

Почему же педологи наши сделали слово «фантазия» ругательным? Во имя чего они вытравляли его из психики малых ребят? Во имя реализма? Но реализмы бывают различные. Бывает реализм Бэкона, Гоголя, Менделеева, Репина, а бывает тупорылый и душный реализм лабазника, реализм самоваров, тараканов и гривенников.

Об этом ли реализме мы должны хлопотать? И не кажется ли нам, что его подлинное имя – мещанство? Мещанство достигает в этой области великих чудес: до такой степени вытесняет оно из детского быта сказку, что иные особо несчастные – дети даже в подполье не уносят ее, а с самого раннего возраста становятся скудоумными практиками. Мы еще не окончательно вырвали их из мелочей обывательщины. И среди них есть немало таких, которые трезвее, взрослее, практичнее нас; и если их нужно спасать от чего-нибудь, так это именно от страшного их практицизма, внушенного обывательским бытом. А педагоги порою беспокоятся, дрожат, как бы дети и

[86] Ф.М.Достоевский, Письма, т. IV, Гослитиздат, М. 1959, стр. 196. Письмо к Н.Л.Озмидову, 18 августа 1880 г.

[87] Джон Тиндаль, Роль фантазии в развитии науки. Цитирую по статье В.Кирпичева «Роль фантазии для инженеров» в «Известиях Киевского политехнического института» за 1903 год.

впрямь не подумали, будто сапожки растут на деревьях. Эти несчастные дети так подозрительно относятся ко всякому – самому поэтичному – вымыслу, что все сколько-нибудь выходящее за черту обыденности считают наглой и бессмысленной выдумкой. Когда в одной школе повели с ними, например, разговор об акулах, один из них поспешил заявить свой протест:

– Акулов не бывает!

Ибо ничего диковинного для них вообще на земле не бывает, а есть только хлеб да капуста, да сапоги, да рубли.

Бояться же, что какая-нибудь сказочка сделает их романтиками, непригодными к практической жизни, могли только те канцелярские выдумщики, которые, с утра до ночи заседая в комиссиях, никогда не видали живого ребенка.

Оберегая младенцев от народных песен, небывальщин и сказок, эти люди едва ли догадывались о мещанской сущности своего практицизма. Между тем самый их взгляд на каждую детскую книгу, как на нечто такое, что должно немедленно, сию же минуту принести видимую, ощутимую пользу, словно это гвоздь или хомут, обнаруживал мелкость и узость их мещанственной мысли. Все они страшно боялись фантастики, между тем они-то и были фантазеры, метафизики, мистики, совершенно оторванные от действительной жизни. Их вымыслы о зловредности сказок – самая безумная волшебная сказка, не считающаяся ни с какими конкретными фактами. Это единственная сказка, с которой нам приходилось бороться, – сказка отсталых педагогов о сказке.

И мы говорили этим фантастам и мистикам: бросьте фантазировать, сойдите на землю, будьте реалистами, всмотритесь в подлинные факты действительности – и вы перестанете дрожать перед Мальчиком с пальчик и Котом в сапогах. Вы увидите, что с определенного возраста сказка выветривается из ребенка, как дым, что все волшебства и чародейства размагничиваются для него сами собой (если только он находится в здоровой среде), и у него начинается период жестокого разоблачения сказки:

– Как же Снегурочка могла дышать, если у нее не было легких?

– Как могла баба-яга носиться по воздуху в ступе, если в ступе не было пропеллера?

Сказка сделала свое дело: помогла ребенку ориентироваться в окружающем мире, обогатила его душевную жизнь, заставила его почувствовать себя бесстрашным участником воображаемых битв за справедливость, за добро, за свободу, и теперь, когда надобность в ней миновала, ребенок сам разрушает ее.

Бабушка рассказывает внучке:

–…ударился лбом об землю и сделался ясным соколом…

– Вот и неправда! – кричит возмущенная внучка. – Просто на лбу у него выросла шишка, и все!

Но до семилетнего-восьмилетнего возраста сказка для каждого нормального ребенка есть самая здоровая пища – не лакомство, а насущный и очень питательный хлеб, и никто не имеет права отнимать у него эту ничем не заменимую пищу.

Между тем именно таким ограблением ребенка занимались в то время педологи.

Мало того что они отнимали у детей и «Сказки» Пушкина, и «Конька-горбунка», и «Али-бабу», и «Золушку» – они требовали от нас, от писателей, чтобы мы были их соучастниками в этом злом и бессмысленном деле.

И конечно, находились подхалимы-халтурщики, которые ради угождения начальству усердно посрамляли в своих писаниях сказку и всячески глумились над ее чудесами.

Делалось это по такому шаблону: изображался разбитной, нагловатый мальчишка, которому все сказки трын-трава. К нему прилетала фея и приносила скатерть-самобранку. Но он

Руки
В брюки
Запихал,
Прыснул,
Свистнул
И сказал:
«Очень, тетя,
Вы уж врете!
Ни к чему теперь, гражданка,

Ваша „скатерть-самобранка“.
Никого не удивите
Этой штукою в Нарпите…»

Когда же ему стали рассказывать про Конька-горбунка, он опять «запихал руки в брюки» и столь же забубенно ответил:

Ну, а я предпочитаю,
Знаете, вагон трамвая.

Невоспитанный, развязный, хамоватый малыш пользовался полным сочувствием автора.

И подобных книжек было много, и нельзя сказать, чтобы они совсем не влияли на тогдашних детей.

С чувством острой жалости прочитал я в одном из журналов, как четырехлетний ребенок оказался до такой степени оболванен своим воспитанием, что, выслушав от матери поэтическую сказку о «Гусях-лебедях», стал изобличать ее во лжи:

– Ты все врешь, мама: печка не говорит, и яблоко не говорит, и речка не говорит, и девочка не спряталась в речку, девочка утонула[88].

И ведь рада, ведь горда воспитательница, что мальчик оказался такой умный и трезвый: она приводит его слова как образец для других, хотя, повторяю, в каждом, кто любит и знает детей, этот ребенок вызывает такую щемящую жалость, словно он слепой или горбатый.

Не подозревая о его страшном изъяне, с ним пробуют говорить, как с нормальным ребенком. Возбуждая его детскую фантазию, кто-то сказал необдуманно:

– Ты маленькая белочка! Вот твои лапки!

Он рассердился и возразил свысока:

– Я не белочка, я Лева, и у меня не лапки, а руки!

Конечно, Менделеева из этакого солдафона не выйдет, а разве что Кувшинное рыло.

К счастью, такие калеки – редкость.

Огромное большинство четырехлетних детей при помощи самочинных игр и самоделковых сказок отстояли свою нормальную детскую психику от душителей и душительниц детства.

Из вышеизложенного вовсе не следует, будто я только о том и мечтаю, чтобы советских ребят с утра до ночи ублажали волшебными сказками. Тут нужна дозировка – и самая строгая. Конечно, монархическую и клерикальную сказку нужно изгонять беспощадно. Но нельзя же было допустить, чтобы на основе своих мелкоутилитарных теорий горе-педагоги отнимали у советских детей великое наследие мировой классической и народной словесности.

Владычество мнимых борцов за мнимое реалистическое воспитание детей оказалось весьма кратковременным. В Москве, в Ленинграде и других городах выступила целая когорта пламенных защитников сказки, вдохновляемая и руководимая Горьким.

Гонители сказок отступили с уроном, и всем одно время казалось, что они посрамлены окончательно.

III. ПОРА БЫ ПОУМНЕТЬ!

1934

Для такой иллюзии было много причин, потому что уже в 1934 году особенно после памятного выступления Горького на Первом Всесоюзном съезде советских писателей – всюду стали появляться раскаявшиеся педагоги, редакторы, руководители детских садов, которые с такой же ретивостью занялись насаждением сказки, с какой только что искореняли ее.

«Молодая гвардия», а потом и Детиздат стали в ту пору печатать в несметном числе экземпляров и «Гайавату», и «Конька-горбунка», и «Мюнхаузена», и «Сказки» Пушкина, и русские народные сказки, и всякие другие создания фантастики.

Но праздновать победу было рано. В этом я мог убедиться на основании личного опыта. Случилось мне в том же году напечатать в журнале «Еж» пересказ гениального античного мифа о Персее, Андромеде и Медузе Горгоне. И тотчас же в редакцию «Ежа» было прислано такое

[88] «На путях к новой школе», 1926, № 11, стр. 9.

письмо – из Гомеля – от одного педагога:

«Уважаемый товарищ редактор! Прочитав в № 1 вашего журнала „Еж“ помещенную на стр. 24 греческую сказку „Храбрый Персей“, дети моей школы окружили меня с вопросами, зачем такую чепуху пишут в нашем журнале… Как можно объяснить детям всю нелепость и бессмысленность описанных в этом рассказе эпизодов, насыщенных самым грубым, нелепым и бессмысленным суеверием?

По моему мнению, эта сказка лишена всякой художественной и литературной красоты…

Заведующий школой А.Раппопорт».

Я хотел было смиренно указать Раппопорту, что этот миф о Персее именно своей красотой и художественностью притягивал к себе из века в век первоклассных скульпторов, драматургов, поэтов – и Овидия, и Софокла, и Еврипида, и Бенвенуто Челлини, и Рубенса, и Тициана, и Корнеля, и Эредиа, и Канову.

Я хотел напомнить о Марксе, который неоднократно свидетельствовал, что древнегреческий эпос и древнегреческое искусство, выросшие на мифологической почве, «продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недосягаемым образцом»[89].

Но Раппопорту ни Маркс, ни Еврипид не указ. Он твердо стоит на своем:

«По моему мнению, эта сказка лишена всякой художественной и литературной красоты».

И ссылается при этом на детей: будто бы вверенные его попечению дети были чрезвычайно разгневаны, когда увидели «Персея» в журнале, и тотчас же заявили коллективный протест против печатания древнегреческих мифов.

Этому я, извините, не верю. Не может быть, чтобы во всей его школе не уцелело нормальных ребят с живым поэтическим чувством! Не может быть, чтобы ему удалось окончательно вытравить из всех малышей присущее им тяготение к фантастике!

А если и нашлось двое-трое таких, которые не поняли этой легенды, так ведь на то им и дан Раппопорт, чтобы объяснить непонятное.

Воспользовавшись «Персеем» для школьной беседы, он мог бы поговорить с ними о происхождении мифов, о созвездиях Кассиопеи, Андромеды, Персея, он мог бы прочитать им научно-атеистическую лекцию о насыщенности христианской религии мифами языческой древности, о связи матери Персея с богоматерью, «девой Марией», о сходстве дракона, который должен был пожрать Андромеду, с китом библейского пророка Ионы и т. д., и т. д., и т. д.

Все это, конечно, в том случае, если он человек образованный. А если нет, он науськивает детей на ценнейшие создания искусства и докучает редакциям детских журналов нелепыми и смешными придирками.

Нелепость подобных придирок заключалась, по-моему, в том, что всякое гениальное произведение поэзии, издаваемое для советских детей, – будет ли то былина об Илье Муромце, или «Рейнеке Лис», или «Мюнхаузен», или «Персей», – эти люди объявляли политически вредным и с помощью такой демагогии оправдывали свое мракобесие.

До сих пор, из сострадания к Раппопорту, я не приводил тех строк его письма, где он, подобно прочим гонителям сказок, изображает напечатание «Персея» чуть ли не контрреволюционной интригой. Но теперь я, пожалуй, приведу эти строки, так как без них не обходится ни один из этих душителей детства.

В чем же, по Раппопорту, политическая зловредность «Персея»? А в том, что «Персей», как это ни дико звучит, наносит ущерб… ленинизму. Какой же он наносит ущерб ленинизму? А он, видите ли, напечатан в том номере, все страницы которого посвящены будто бы памяти Ленина.

Раппопорт так и пишет в редакцию:

«Особенно не дает мне покоя мой девятилетний сын, ученик второй группы, который с негодованием упрекает меня (как будто я в этом виноват):

– Смотри, папа, весь журнал посвящен памяти Ленина, а тут вдруг такая бессмыслица о какой-то (!) Медузе, о серых бабах (!) и тому подобное!»

И Раппопорт похваляется, что он постиг «всю правоту детского негодования» и вознегодовал вместе с сыном.

---

[89] К.Маркс и Ф.Энгельс, Сочинения, т. 12, стр. 737.

А между тем если ему и следовало негодовать на кого-нибудь, то исключительно на своего коварного сына, который обманул его предательским образом. Ибо про тот номер «Ежа», где напечатан «Персей», никак невозможно сказать, что он «весь посвящен памяти Ленина».

– Иль ты ослеп и не видишь, – так должен был сказать сыну Раппопорт, что тут же, на этих страницах, напечатан рассказ о зайце? А вот карикатуры, где изображается цирк. А вот поэма о героях-водолазах, а вот статья о кукольном театре, а вот о самодельных Петрушках, а вот об апельсиновых плантациях, – и все это, по-твоему, посвящается памяти Ленина? Не стыдно ли тебе лгать, милый сын?

Но ничего этого Раппопорт не сказал, а, напротив, обрадовавшись, что может подвести под ненавистную сказку такую сокрушительную мину, использовал детскую ложь, чтобы придать напечатанию античного мифа характер политической крамолы.

В этом-то вся цель его письма: хотя бы при посредстве фальшивки доказать неблагонадежность великого произведения поэзии.

Да и откуда они взяли, эти два Раппопорта, что памяти Ленина будет нанесено оскорбление, если советские дети, наследники всего лучшего, что создано старой культурой, мало-помалу узнают классические творения мирового искусства?

Ведь если командующие классы всех стран до сих пор отнимали у трудящихся масс и Еврипида, и Софокла, и Овидия, и Бенвенуто Челлини, то теперь, именно благодаря ленинизму, эти массы возвращают себе те колоссальные культурные ценности, к которым у них не было доступа.

Если тысячи и сотни тысяч рабочих у нас в СССР услаждаются Шекспиром, Моцартом, эрмитажными Рибейрами и Рембрандтами, если дети рабочих наполняют теперь и консерватории, и академии художеств, – во всем этом победа ленинизма.

И нужно быть беспросветным тартюфом, чтобы утверждать, будто делу Ленина нанесен хоть малейший ущерб, если с педагогическим тактом и в строго обдуманной форме мы дадим советскому ребенку и миф о Прометее, и стихи о полете Икара, и «Одиссею», и «Илиаду», и сказание о великом Геракле…

Но тут я снова всмотрелся в письмо Раппопорта и увидел изумительную вещь.

Ведь этот человек не догадывается, что перед ним древнегреческий миф! Он умудрился каким-то фантастическим образом так изолировать себя от литературы всего человечества, что ему ни разу не случалось наткнуться ни в одной из читаемых книг ни на Андромеду, ни на Медузу Горгону! Он чистосердечно уверен, будто все эти гениальные образы выдуманы мною специально для журнальчика «Еж», и вот делает мне выговор за то, что я гений и сочиняю такие шедевры!

И все это было бы только забавно, если бы под письмом Раппопорта не красовалась невероятная подпись: заведующий школой такой-то.

Читая эту подпись, мы должны не смеяться, а плакать, ибо перед нами не случайный прохожий, имеющий право городить безответственный вздор, а самый авторитетный педагог во всей школе, самый образованный, самый культурный. И если таков этот лучший, то каковы же другие? Каковы сведения и вкусы рядовых педагогов, если один из наиболее квалифицированных, чуть дело дошло до литературных суждений, обнаружил в этом деле такое невежество, что принял меня за Овидия!

Я потому и печатаю письмо Раппопорта, что Раппопорт и посейчас не одинок. У него немало союзников, и, хотя они уже не имеют возможности демонстрировать свое узколобие в журнальных и газетных статьях, они упрямо ведут свою линию в школьно-педагогической практике и отметают от детей всякое – даже гениальное – произведение искусства, если оно называется сказкой, не стыдясь обнаруживать при этом такое невежество, которое равно их апломбу.

Я понял бы Раппопорта, если бы он возражал против того оформления, которое я придал Персею. Было бы весьма поучительно сопоставить данную версию мифа с теми, которые были созданы для англо-американских детей, например Натаниэлем Готорном и Чарльзом Кингсли. Но Раппопорту этот труд не под силу, так как тут необходимо знать и думать, а не только махать кулаками.

Я уделяю Раппопорту так много внимания потому, что эти левацкие фребели все чаще пользуются квазиреволюционными лозунгами, чтобы тормозить и коверкать литературное развитие советских детей.

В Москве и в Ленинграде они приутихли, но на периферии бушуют по-прежнему. И всякий раз, когда молодой Детиздат или «Молодая гвардия» издают для детей «Гайавату», или «Маугли», или «Сказки» Пушкина, или «Мюнхаузена», эти душители детства кричат: «Революция в опасности!» – и спасают революцию… от Пушкина[90].

IV. И ОПЯТЬ О МЮНХАУЗЕНЕ

1936

Вскоре после того, как в книжных магазинах явились в моем изложении долгожданные «Приключения Мюнхаузена», в редакцию газеты «За коммунистическое просвещение» было прислано такое «Открытое письмо К.Чуковскому», предназначенное автором для напечатания в этой газете:

«Товарищ Чуковский! Купила я своей восьмилетней дочке вашу книжку „Приключения Мюнхаузена“. Купила и, не читая, подарила ей в день рождения, чтобы сделать ребенку приятное. Подарила книжку, не читая, потому что, во-первых, читать было некогда, а во-вторых, на первом листе ясно было написано: „Для детей“…

Каково же было удивление и разочарование дочери, а вместе с ней и мое, когда мы стали эту книгу читать. Этот „самый правдивый человек на земле“ так врет о себе и своих подвигах, что сбивает детишек с толку. У него отрывается или проваливается голова внутрь человека, а затем опять появляется. Он летит на луну. И если бы он летел с целью дать детям какие-то сведения о поверхности луны и т. д., этот полет был бы хоть и фантастичен, но все же интересен, а то какие-то с начала до конца неправдоподобные попытки взобраться по бобовому растению на луну, спуститься вниз по соломенной веревке. Самые нелепые представления о „жителях луны“, их образе жизни и т. п.

В том месте книги, где автор рисует животный мир Цейлона, он буквально сбивает с толку детишек, давая странные картины встречи его (?) со львом, тигром, китом. Местами книга заставляет ребенка смеяться, но обязательно с восклицанием: „Вот так врет!“ В большинстве же случаев ребенок недоумевает. Меня интересует одно: для чего, товарищ Чуковский, вы переводили эту книгу?.. Нельзя же врать без оговорки на протяжении сотни листов!»

Я уже успел привыкнуть к таким письмам, и только подпись под этим посланием немного удивила меня: «Вязники, Ивановской области. Заведующая библиотекой С.Д.Ковалева». Странные, подумал я, библиотекари в Вязниках! Считается, что библиотекарь – человек образованный, руководящий просвещением обширного круга читателей, а эта Ковалева даже не слыхала о «Бароне Мюнхаузене» и, нисколько не стыдясь, заявляет, что сюжет всемирно прославленной книги явился для нее полным сюрпризом.

Я решил написать ей письмо, пододвинул к себе бумагу и начал:

«Уважаемая товарищ Ковалева! Педагогическое значение „Мюнхаузена“ заключается в том…»

Но тут мне пришло в голову, что она не ждет от меня никаких разъяснений, потому что в таком случае зачем бы она стала обращаться ко мне при посредстве газетных столбцов? Написала бы приватное письмо. Но нет, ее письмо есть статья для газеты, и она только делает вид, будто спрашивает, для чего я перевел эту книгу.

Вопросы ее чисто риторические. Если вчитаться в ее строки внимательнее, станет ясно, что она обратилась ко мне совсем не для того, чтобы получить необходимые сведения, а для того, чтобы публично обличить меня в моем непохвальном пристрастии к такой чепухе, как «Мюнхаузен». Она чувствует себя судьей, а меня подсудимым. Мы имеем дело отнюдь не с любознательным и чистосердечным невежеством, а с той демагогией, которая еще так недавно отравляла нашу критику детской словесности.

Конечно, спорить с С.Д.Ковалевой я не стану. Достаточно продемонстрировать ее перед читателем: вот из каких персонажей вербовались у нас «принципиальные» противники сказки.

Ковалева да ее собрат Раппопорт в этом смысле чрезвычайно типичны: их метод – левац-

[90] Напоминаю, что это писано в 1934 году.

кие лозунги и бравада оголтелым невежеством.

V. ОБЫВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ КРИТИКИ

1956

Но прошли годы, и все эти мракобесы исчезли под могучим воздействием советской общественности. В газетах и журналах все чаще стали появляться статьи, восхваляющие великое воспитательное значение сказок.

Теперь уже считается общепризнанной истиной, что сказка совершенствует, обогащает и гуманизирует детскую психику, так как слушающий сказку ребенок чувствует себя ее активным участником и всегда отождествляет себя с темп из ее персонажей, кто борется за справедливость, добро и свободу. В этом-то деятельном сочувствии малых детей благородным и мужественным героям литературного вымысла и заключается основное воспитательное значение сказки.

Как же, в самом деле, не радоваться за новое поколение ребят! Наконец-то им будет дана, и притом в самом обильном количестве, витаминная, сытная духовная пища, обеспечивающая детям нормальный и правильный умственный рост. Давно уже не встретишь в печати таких смельчаков, которые решились бы открыто и прямо выступить против фантастических сказок.

Да и в жизни, в быту, на практике сказка уж никому не страшна: столичные и областные издательства беспрепятственно снабжают детей украинскими, азербайджанскими, китайскими, индийскими, румынскими сказками, не говоря уже о датских, французских, немецких… Тема об огульной зловредности сказок сдана в архив – и забыта. Теперь вопрос переносится в более узкую сферу: не вредна ли ребенку та или иная определенная сказка? Не наносит ли она его психике какой-нибудь тяжкой травмы?

Тревога совершенно законная, и к ней нельзя не отнестись с уважением.

Но грустно, что наш педагогический опыт все еще не выработал сколько-нибудь устойчивых принципов для определения вреда или пользы той или иной категории сказок. Грустно, что здесь открывается широкий простор для обывательских, произвольных суждений.

Случилось, например, известному композитору М.И.Красеву сочинить детскую оперу по сюжету моей «Мухи-цокотухи». Услышал эту оперу по радио один из жителей Забайкалья, медицинский работник Владимир Васьковский, и написал в «Литературную газету»:

«Такие сказки не нужно было не только музыкально оформлять, но вообще выпускать в свет. Сказка вызывает у ребят определенное сочувствие к бедной, невинно пострадавшей мухе, к „храброму“ комару и другим паразитам. И странно: с одной стороны, в нашей стране проводится систематическая беспощадная борьба с насекомыми, а с другой – отдельными (?!) писателями выпускаются в свет произведения со стремлением вызвать к паразитам сочувствие».

«Литературная газета» отказалась разделить его страхи. Тогда он пожаловался на нее в другую инстанцию, откуда его письмо переслали в Комиссию по детской литературе Союза писателей. В письме он снова повторил свои нападки на «Муху», а заодно и на отличный рассказ Евгения Чарушина «Волчишко», в котором, к величайшему его возмущению, маленьким детям внушаются зловредные симпатии к волкам.

По-моему, он поступил вполне правильно. Все, что мы, литераторы, пишем, читатели имеют право судить, как им вздумается, и высказывать свои суждения в любой форме. А если суждения эти ошибочны, никто не мешает любому из нас вступиться за истину и опротестовать приговор.

Этим своим правом я и попытаюсь воспользоваться, тем более что суждения забайкальского критика кажутся мне чрезвычайно типичными для множества подобных высказываний: он один представляет собою несметные легионы таких же мыслителей, меряющих произведения детской словесности точно такими же мерками.

Этого, конечно, не могла не понять Комиссия по детской литературе Союза писателей.

Уверен, что она раньше всего указала обличителю «Волчишки» и «Мухи» на полную непригодность утилитарных критериев, с которыми он так простодушно подходит к определению вредности или полезности сказок.

Ведь если пользоваться такими критериями, придется забраковать, уничтожить не только эти две бедные книжки, но целые десятки других, и в первую голову народные сказки, песенки и

прибаутки о зайцах, где выражены самые нежные чувства к этим грызунам и вредителям.

Зайки, заиньки, зайчики, заюшки – так исстари называет их наш фольклор для детей, созданный в течение веков, и самое изобилие ласкательных форм показывает, что народ – право же, неплохой педагог – нисколько не боится прививать своим малолетним питомцам любовь к этим прожорливым тварям:

Заинька мой беленький,
Заинька мой серенький,
Заинька, попляши,
Заинька, поскачи!

Ко всем подобным произведениям фольклора вполне применимы слова К.Д.Ушинского:

«Это… блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа»[91].

А если применять предлагаемый критиком наивно-утилитарный критерий, придется отнять у детей и некрасовского «Дедушку Мазая», который вызывает в ребячьих сердцах горячее сочувствие к зайцам:

Зайцы – вот тоже, – их жалко до слез!

Жалко до слез – вы подумайте! Жалко до слез грызунов и вредителей! И как радуются, как ликуют ребята, когда Мазай спасает всех этих зайцев от гибели и отпускает их в лес, чтоб они – даже страшно сказать! – и дальше размножались на воле.

Мало того: к довершению бедствия, в нашем фольклоре то и дело внушается детям, будто зайцы – верные и преданные друзья человека, охраняющие его огороды от хищников, будто они не только не губят капусту, но поливают и холят ее:

А я заюшка, а я серенький,
По городам[92] я хожу,
Я капусту стерегу,
А на пору хозяину
Рассаду полью[93].

Если встать на позиции забайкальского критика, нужно скрыть от ребят эту песню, дающую им ложное представление об этих врагах человека. Точно так же придется изъять из обихода детей и сказку Льва Толстого «Три медведя», где такая же – чисто народная – симпатия к этим губителям деревенских коров.

И что делать с народной сказкой «Финист – ясный сокол», где серый волк представлен малышам как благодетель и друг человека? И с народной сказкой «Волшебное кольцо», где благодетелем и другом человека выступает зловредный мышонок?

– Да, я теперь вижу и сам, что поступил необдуманно, – ответил бы, вздыхая, Владимир Васьковский. – Но будьте добры, объясните, пожалуйста, почему же народ, а вслед за ним и великий народный поэт забывают во время своего общения с детьми, что миллионами рублей исчисляется вред, наносимый зайцами нашим огородам и плодовым деревьям? Почему те самые крестьяне, которые кровно заинтересованы в истреблении хищников, внушают своим малышам пылкое сочувствие к ним?

– Объяснить это, конечно, нетрудно! – ответила бы детская Комиссия Союза писателей. – Дело в том, что тысячелетним своим педагогическим опытом народ имел возможность убедиться, что, сколько бы ни влюбляли младенца в сереньких и беленьких заинек, заек и заюшек, этот младенец, когда станет мужчиной, с удовольствием примет участие в охоте на зайцев. Никакая сказка, услышанная или прочтенная в детстве, не помешает ему бить их без всякой пощады. Со-

[91] К.Д.Ушинский, О русских народных сказках, Избранное собр. соч., т. 2, М. 1954, стр. 569–570.

[92] По огородам.

[93] Русские народные песни, собранные П.В.Шейном, М. 1870, стр. 48.

здавая свои бессмертные детские песни и сказки, народ очень хорошо понимал, что они совсем не для того предназначены, чтобы заблаговременно осведомлять младенцев, какие звери будут им впоследствии вредны, а какие полезны. У детской сказки есть другие задачи, в тысячу раз более серьезные, чем эта классификация зверей.

– Какие же это задачи? – спросил бы присмиревший Владимир Васьковский.

– Задачи немалые! – ответила бы Комиссия Союза писателей по детской литературе. – И даже, можно сказать, колоссальные. Но раньше всего обратите внимание, что, выполняя эти важные задачи, наши народные сказки, равно как и сказки великих писателей, относятся с откровенным презрением к предлагаемым вами мерилам для определения их полезного действия. Это выразилось, например, в народной сказке, чрезвычайно любимой детьми, – «О сером волке и Иване-царевиче», где, словно в насмешку над вашими принципами, волк выступает большим добряком, добывающим своему другу Ивану и златогривого коня, и жар-птицу, и Елену Прекрасную, так что дети с самого начала отдают все свои симпатии волку. Это выразилось также и в сказке про другого волка, написанной Львом Толстым, где волк изображен вольнолюбивым мудрецом, отказывающимся во имя свободы от сытой, обеспеченной жизни.

А медведи – всевозможные Мишки, Топтыгины, Михаилы Потапычи – нужно ли говорить, какими обаятельными для миллионов детей сделал их тот же народ! И кто не знает, что самые, так сказать, задушевные игрушки для малых ребят это именно Мишки, деревянные, тряпичные, плюшевые, – изготовленные специально затем, чтобы ребята могли гладить их, баюкать, жалеть и ласкать, укутывать их в лоскутки, кормить воображаемой кашей, защищать от воображаемых бед. И нужно быть лунатиком, совершенно оторванным от подлинных реальностей жизни, чтобы, увидев у какого-нибудь Вани плюшевого медвежонка в руках, отнять у него эту игрушку из боязни, что он, когда станет Иваном, не пойдет с ружьем или рогатиной на живого лесного медведя.

Так – или приблизительно так – должна была ответить Комиссия по детской литературе от имени Союза писателей. Но, к великому моему изумлению, она ответила ему совершенно иначе.

«Вы правы в самой постановке (!) вопроса, – заявила она с первых же слов. – К сожалению (?), некоторые наши писатели, работавшие в области (так и сказано: „работавшие в области“) детской сказки и детского дошкольного рассказа, действительно ради занимательности совершили ошибки, наделяя вреднейших зверей, птиц и насекомых качествами положительных героев».

Дикий ответ, канцелярский. Ведь при таком подходе к детской сказке окажутся глубоко ошибочными и замечательная сказка Жуковского о том же благодетельном волке, где поэт вслед за народом прославляет доброту и гуманность волков, и сказка Льва Толстого о медведе на повозке, где ребячьи сердца так и влекутся к медведю, и пушкинская сказка о Салтане, вызвавшая симпатии детей к комару. Кто из нас в детстве не хлопал в ладоши, не радовался, когда читавшие нам сказку доходили до знаменитых стихов:

Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится
И впился комар как раз
Тетке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.
Слуги, сватья и сестра
С криком ловят комара…

и т. д.

Почему же, спрашивается, Пушкин, Жуковский, Толстой совершили эту странную «ошибку»?

Комиссия по детской литературе ответила на этот вопрос таким легкомысленным вздором:

«Объяснялось это, на наш взгляд, – так и написала она, пренебрежением к правде жизни, незнанием родной природы».

Установив таким косвенным образом, что не только Чарушин и я, но и Пушкин, и Жуковский, и Лев Толстой, а с ними заодно и Некрасов не знали родной природы и относились прене-

брежительно к жизненной правде, Комиссия по детской литературе тут же заявила, вопреки очевидности, что русский народ в своем фольклоре почти не придает положительных черт каким-нибудь вредным животным, то есть предпочла умолчать о вышеназванных зайцах, волках, мышах и медведях.

Ради чего же допустила она все эти отклонения от истины? А ради того, чтобы сделать из них соответствующий административно-практический запретительный вывод: опера композитора Красева была признана вредной и уже больше не звучала в эфире.

Повторяю: приемы и методы нашего критика чрезвычайно типичны для многих подобных высказываний. И конечно, я не стал бы так долго на них останавливаться, если бы в их основе не лежало одно заблуждение, имеющее мировоззренческий, принципиальный характер.

Как было сказано на предыдущих страницах, народ тысячелетним своим педагогическим опытом пришел к непоколебимой уверенности, что те сказочные образы, которые окружают ребенка в первые годы его бытия, не останутся в его уме неподвижными, а в процессе его развития и роста, под влиянием жизненной практики, подвергнутся большой переоценке. В данном случае к народу вполне применимо утверждение Энгельса, что «люди мыслили диалектически задолго до того, как узнали, что такое диалектика…»[94].

Представить себе жизнь ребенка в виде процесса, то есть в беспрерывном движении, изменении, развитии, многим и сейчас не под силу. Этим людям все еще порою мерещится, что ребенок есть просто сундук, в который что положишь, то и вынешь. Положишь любовь к волку, или к комару, или к мухе так эта любовь и останется в нем до самого конца его жизни. И они стараются напихать туда, в этот сундук, возможно больше хороших вещей и очень удивляются, когда вынимают оттуда совсем не то, что туда положили.

Не подозревая о диалектичности детского возраста, они топорнейшим образом думают, что, если ребенку в качестве умственной пищи дать, скажем, некое а, то это а так и останется в нем в виде а и не преобразится в б, или в, или г. Они забывают, что как яйцо не похоже на курицу, как семя не похоже на дерево, так и трехлетний младенец не похож на того человека, который из него выйдет впоследствии. Ребенок есть только черновик человека, и многое в этом черновике будет зачеркнуто, и многое пририсовано заново, покуда из большеглазого и щекастого Юрика выйдет Павлов, Циолковский или самый низкопробный деляга.

Из того, что ребенок в три года переживает период ломания игрушек, отнюдь не следует, что к пятнадцатилетнему возрасту он сделается взломщиком несгораемых касс.

Педагоги, не учитывающие диалектического развития ребячьего возраста, именно так и думают. Совсем как та беременная, которая горько заплакала, узнав, что у ее утробного младенца, в начале второго или третьего месяца, появились жабры и хвост: «Не хочу, чтобы мой Ваня был хвостатенький!» – не подозревая, что и жабры и хвост исчезнут у него еще до рождения.

Эти нехитрые люди воображают, что каждая сказка, которую расскажешь младенцу, так-таки до гроба и останется в нем со всей своей моралью и фантастикой и определит собою всю его дальнейшую жизнь.

На этой наивной уверенности спекулировали все гонители сказок еще во времена педологии.

В Ростове-на-Дону некто П. (не Передонов ли?) тиснул в ту пору статью, где грозно осуждал знаменитую сказку о Мальчике с пальчик за то, что в сказке изображены людоеды. Должно быть, он полагал, что ребенок, прочитавший эту сказку, вырастет и сам людоедом.

– Почему вы питаетесь человеческим мясом? – в ужасе спросят у него окружающие.

– Мне в детстве прочитали сказку о Мальчике с пальчик.

А в Оренбурге какой-то Булгаков так прямо и напечатал на белой бумаге, что волшебная сказка – это школа полового разврата, потому что, например, в сказке «Золушка» злая мачеха, которая из одной только потребности мучить насыпает своей падчерице золы в чечевицу, есть, несомненно, садистка, а принц, приходящий в восторг от башмачка бедной Золушки, есть замаскированный фетишист женских ножек![95]

---

[94] К.Маркс и Ф.Энгельс, Сочинения, т. 20, стр. 146.

[95] В.Булгаков, О вреде сказок. Настольная книга для работников просвещения трудовой школы (Оренбург, 1922).

В г. Горьком А.Т-ва напечатала тогда статейку о том, что ребенок, наслушавшись сказок, проникнется психологией морального безразличия, начнет стремиться не к коллективному, а к индивидуальному счастью – очевидно, станет растратчиком или скупщиком краденого[96].

Сажая его в тюрьму за решетку, судья так и скажет ему:

– Не читали бы вы в детстве «Кота в сапогах»!

Гонители сказок спекулировали именно на убеждении невежд, будто нет такого сказочного образа, такого сюжета, которые не оставались бы законсервированными в детском уме на двадцать и тридцать лет, не подвергаясь никаким метаморфозам. Пугали простодушных читателей бессмысленной басней о том, что, если пятилетнему мальчику прочитать, например, о ковре-самолете, он, достигнув тридцатилетнего возраста, и слышать не захочет ни о каких Днепростроях, а пребудет до конца своих дней мечтателем, романтиком, мистиком.

Чем же от этого давнего, ныне забытого бреда отличается мысль вышеназванного забайкальского жителя (и всех авторитетных товарищей, объявивших себя солидарными с ним), будто ребенок, которому в детстве прочитают «Волчишку» Евгения Чарушина, на всю жизнь сохранит в своей душе горячую привязанность к волкам? И будто, прослушав сказку о храбром комарике, победившем злого паука, ребенок, даже сделавшись взрослым, уже никогда не станет убивать комаров?

И там и здесь – схоластическая, средневековая мысль, будто понятия и представления ребенка есть нечто застывшее, данное раз навсегда.

Нет, объекты симпатий ребенка с течением времени будут меняться не раз. Сегодня – одни, завтра – другие. Поэтому сказочники – и в первую голову народные скалочники – не слишком-то бывают озабочены выбором этих объектов, установлением их вреда или пользы.

И мне остается повторить слово в слово, что было сказано мною на одной из предыдущих страниц – в предисловии к циклу моих сказок.

Цель сказочников – иная. Она заключается в том, чтобы какою угодно ценою воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою.

* * *

Все, о чем повествуется в настоящей главе, происходило лет десять назад. Нынче в Комиссии по детской литературе Союза писателей уже другой, обновленный состав, нисколько не ответственный за тот документ, который я сейчас процитировал. Но значит ли это, что уже не существует самозванных блюстителей народного блага, готовых отнимать у детей то или иное произведение искусства на основе своих схоластических догматов, бесконечно далеких от подлинных реальностей жизни?

В том-то и горе, что эти догматы страшно живучи.

Ибо, во-первых, они все еще импонируют наивным умам своей кажущейся, мнимой логичностью.

А во-вторых, всякий, кто использует их для полемических выпадов против той или иной детской книжки, тем самым присваивает себе благородную роль горячего поборника общественной пользы, а роль эта весьма соблазнительна особенно для тартюфов и человеков в футляре.

Поэтому искоренить из нашего обихода такие методы критической мысли не так-то легко, и было бы нелепо надеяться на быстрый и стремительный успех. Еще будут рецидивы – и не раз. Борьба предстоит упорная. И я буду искренне рад, если окажется, что в настоящей главе мне удалось хоть отчасти, хоть в самой незначительной степени пошатнуть этот порочный критический метод, показав на первом попавшемся конкретном примере полную непригодность подобных приемов для решения важнейшего вопроса о педагогической ценности той или иной детской книги.

VI. «ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО, ЧТОБЫ…»

[96] Статья А.Т-ной в сборнике Нижегородского губоно «Школа и жизнь» (Н.-Новгород, 1922).

1960

Редактор моей книги сказал:

– Вся эта глава «Борьба за сказку» в настоящее время едва ли нужна. Дико думать, будто теперь, в шестидесятых годах, может найтись хоть один мракобес, который, спекулируя левацкими, мнимо утилитарными лозунгами, станет требовать уничтожения какой-нибудь фантастической сказки. Время раппопортов и васьковских прошло. Теперь даже они поумнели! Для чего же ломиться в открытую дверь?

– Вы правы! – ответил я. – Мне и самому представляется, что эта глава устарела. Незачем доказывать то, что давно уже ясно как день.

Но в эту минуту принесли свежий номер «Литературной газеты», и мы прочитали в ней такое письмо:

«Опять и в который раз вышло произведение Корнея Чуковского о „Мухе-Цокотухе“. На этот раз это произведение выпущено тиражом в 1300000 экземпляров.

До каких пор К.Чуковский будет вводить в заблуждение советских детей?»

И т. д., и т. д., и т. д.

Кончается письмо таким призывом:

«Бесполезную книжку К.Чуковского о Мухе (Цокотухе) можно смело сжечь, история (?) от этого ничего не потеряет».

И подписано:

«А.П.Колпаков, кандидат исторических наук (Душанбе)».

Среди обвинений, выдвинутых кандидатом исторических наук Колпаковым против моей «Мухи-Цокотухи», особенно грозно прозвучало такое:

«Корней Чуковский проповедует любовь к мухе-цокотухе, он выдает ее замуж

За лихого, удалого

Молодого комара!

Это противоестественно, чтобы комар мог жениться на мухе, возмущается кандидат исторических наук Колпаков. – Вошь, – поучает он, – не может жениться на клопе и комар на мухе. Это все несусветная чушь и обман»[97].

В искренности этой тирады нельзя сомневаться. Одного не могу я понять: почему, выступив на борьбу с «несусветною чушью», Колпаков ограничивается одной «Цокотухой»? Бороться так бороться до конца! Если уж он решил навести в этом деле порядок, почему не потребовал, чтобы возможно скорее сожгли гениальную народную сказку «Царевна-лягушка», где без всяких обиняков говорится, что на самой обыкновенной лягушке женится юноша богатырского роста?

«Старший сын женился на боярской дочери, средний – на купеческой, а Иван-царевич – на лягушке».

И почему достопочтенный ученый до сих пор не бросил в огонь другую русскую народную сказку – «Медведко», где такой же «кровосмесительный» брак: красавица на целых два года становится женою медведя!!

А сказка о Никите Кожемяке:

«Схватил змей царевну и потащил к себе в берлогу – за жену себе взял».

Разве это не «противоестественно, чтобы…»?

А эта знаменитая народная детская песенка:

Сватали совушку

За белого гуся,

почему Колпаков пощадил и ее?

И почему он пощадил Льва Толстого? Ведь черным по белому Лев Толстой написал для детей сказку «Уж», в которой крестьянская девушка Маша выходит замуж за большого ужа и тот становится отцом ее детей. Как же Колпаков допустил этот противоестественный брак?

И спрашивается: почему до сих пор он не сжег бессмертной украинской народной баллады о мухе-чепурухе, на которой женился… – слушайте! слушайте! – тот же комар!

Ой, що ж то за шум учинився,

---

[97] «Литературная газета», 1960, № 99, от 20 августа.

Що комарь та на мусі оженився!

«На мусі» и значит «на мухе». Как же это так могло случиться, что бдительный Колпаков проворонил такой криминал? Ведь уже лет двести миллионы украинских детей с восторгом читают и слушают эту балладу, в которой воспевается такой же «противоестественный» брак, что и в моей злосчастной «Цокотухе».

Если уж пришла Колпакову мракобесная блажь сжигать дотла ненавистные книги, он должен был заранее знать, что тут потребуется огромный костер, ибо, как мы видим, и русский и украинский пароды создали на потребу своей детворы немало таких сказок и песен, к которым вполне применима его грозная формула:

«Противоестественно, чтобы».

Я уж не говорю о польском, чешском, монгольском, английском фольклоре, предназначенном для маленьких детей. Если бы кандидат исторических наук Колпаков имел хоть какую-нибудь возможность познакомиться с этим фольклором, он, конечно, пришел бы в отчаяние, ибо в его костре не хватило бы дров. Взять хотя бы английский детский фольклор – так называемые Nursery Rhymes, отголоски которых так явственно слышатся в творчестве Шекспира, Джонатана Свифта, Роберта Бернса, Льюиса Кэрролла, Алана Александера Милна и других. Воображаю, какой гнев они вызвали бы в нашем доблестном блюстителе нравственности, если бы он каким-нибудь чудом узнал, что этот великолепный поэтический цикл считает вполне допустимой женитьбу лягушонка на мыши! И уж настоящая ярость охватила бы того же блюстителя, если бы ему стало известно, что у замечательного детского поэта Эдварда Лира утка мечтает о том, чтобы сделаться женой кенгуру, а кошка венчается с филином.

Подобные сказки и стихи существуют в английском фольклоре уже полтысячи лет – или больше! – почему же никто из миллионов детей не заметил в них ничего одиозного?

Я думаю, причина одна: дети не бывают пошляками.

И не только детям, но и нам, взрослым читателям сказок, простодушно, по-детски восхищающимся «Царевной-лягушкой», – нам и в голову не приходят те грязноватые мысли, в итоге которых слагается пресловутая колпаковская формула:

«Противоестественно, чтобы».

В сущности, я должен благодарить Колпакова, так как его письмо послужило для меня верным свидетельством, что настоящая глава не устарела и до сих пор сохраняет свою актуальность.

– Нет, – сказал я редактору, – придется эту главу сохранить. Исключать ее из книжки рановато. Васьковские и раппопорты, оказывается, на диво живучи и по-прежнему рвутся в бой, нисколько не боясь оказаться всеобщим посмешищем.

Правда, их стало значительно меньше. Огромное большинство читательских писем, полученных мною и редакцией «Литературной газеты», написаны в защиту моей сказки. Я не цитирую этих многочисленных писем, так как не хочу огорчать Колпакова: вряд ли ему придутся по вкусу те эпитеты, которыми авторы писем так щедро награждают его.

Впрочем, почему не привести самое безобидное из всех этих писем, благо оно такое короткое?

«Дорогой наш Корней Иванович! Мы прекрасно понимаем, как муха-цокотуха обвенчалась с удалым комаром. Это доходит до нашего сознания. Но мы никак не можем понять, как этот (опускаю нелестный эпитет. – К.Ч.) получил степень кандидата исторических наук».

А я хоть убей не пойму, отчего, выступая с призывом к сожжению книги, он считает необходимым подкрепить этот дикий призыв указанием на свою ученую степень.

Глава четвертая
ЛЕПЫЕ НЕЛЕПИЦЫ

Глаз человека не слыхал,
ухо человека не видало…
В Шекспир «Сон в летнюю ночь»
Медведь летит по поднебесью,
В когтях да он несет коровушку,

В осеку овца да яйцо снесла,
На дубу свинья да гнездо свила.
Русская народная песня

«Обмолвка актера:
„Ключи заперты, двери в кармане“.»
В.Слепцов. Отрывки из дневника

I. ПИСЬМО

Я получил такое письмо:

«Стыдно, т. Чуковский, забивать головы наших ребят всякими путаницами, вроде того, что на деревьях растут башмаки. С возмущением прочитали мы в вашей книжонке такие фантастические строки:

Жабы по небу летают,
Рыбы по полю гуляют,
Мыши кошку изловили,
В мышеловку посадили.

Зачем вы извращаете реальные факты? Детям нужны общеполезные сведения, а не фантастика насчет белых медведей, которые будто бы кричат кукареку. Не того мы ждем от наших детских писателей. Мы хотим, чтобы они разъясняли ребенку окружающий мир, а не затемняли его мозги всякой путаницей!»

Я прочитал это письмо, и мне стало не то чтобы грустно, а душно.

Какое затхлое и безнадежное невежество! Дело не во мне и не в моих бедных стишках, а в огромном вопросе о принципах детского чтения, который нельзя же решать при помощи одного только обывательского «здравого смысла», потому что «здравый смысл» нередко бывает врагом всякой научной теоретической истины.

Признаться, я даже почувствовал к своему обличителю жалость: взять бы его за руку, вывести на солнечный свет и объяснить ему от души, без запальчивости, самыми простыми словами то, чего он не может понять в своем обывательском погребе.

Если бы, кроме «здравого смысла», у него были какие-нибудь другие ресурсы, он увидел бы, что «путаницы», которые кажутся ему такими зловредными, не только не мешают ребенку ориентироваться в окружающем мире, но, напротив, укрепляют в нем чувство реальности, и что именно в интересах реалистического воспитания детей следует культивировать в детской среде такие стихи. Ибо так уж устроен ребенок, что в первые годы его бытия мы можем насаждать в его душе реализм не только путем ознакомления с окружающим миром, но чаще и успешнее всего именно при посредстве фантастики.

II. ТИМОШКА НА КОШКЕ

Для того чтобы мой обличитель мог вполне усвоить эту очевидную истину, я повел бы речь издалека и сказал бы ему приблизительно следующее:

– Заметили ли вы, мой бедный друг, что в русских народных стишках для детей – этих шедеврах поэзии и педагогической мудрости – редко кто проскачет на коне, а все больше на кошке, на курице – на самом неподходящем животном:

Стучит-гремит по улице,
Фома едет на курице,
Тимошка на кошке
По кривой дорожке.

Нет, кажется, такой птицы, такого животного, на котором не прокатились бы люди в русских детских народных стишках:

Села баба на баран,
Поскакала по горам…
Доктор едет на свинье,
Десять розог на спине…
Запрягу я кошку в дрожки,
А кота в пристяжку…
Сядьте на курицу,
Поезжайте в кузницу…
Машенька из дому уходила,
На воробушке по улице катила…
А Ерема на утяти
Поехал пахати…

Всюду в этих стишках нарочитое отклонение от нормы: от лошади. Чем объясняете вы такую «нелепость»? Деревенские дети, в возрасте от двух до пяти, отказываются почему-то ввести в свою песню канонического ездока и коня. Только вчера они усвоили этот канон, только вчера постигли великую истину, что лошадь существует для езды, что здесь ее главная функция, а сегодня наделяют этой функцией всякую заведомо неподходящую тварь:

Как по речке, по реке
Ехал рыжий на быке.
Ему красный повстречался
На козе.

Всеми способами стремятся они заменить верхового или ломового коня каким-нибудь нелепым суррогатом, и чем ощутительнее эта нелепица, тем охотнее культивирует ее детская песня:

Ехал повар на чумичке,
Две кастрюли впереди.

Дело доходит до того, что огромное для детского глаза животное заменяется микроскопической козявкой, дабы еще сильнее подчеркнуть всю явную эксцентричность этого отклонения от нормы:

Маленьки ребятки
На маленьких козявках
Поехали кататься.

Но необходимо тут же отметить, что, при всех этих резких отклонениях от нормы, норма живо ощущается ребенком.

На каких бы козявках ни разъезжали герои стишков, этим козявкам в сознании ребенка всякий раз противопоставляется лошадь, которая незримо присутствует тут же.

Иногда, впрочем, она присутствует зримо, но появляется лишь для того, чтобы ее отстранение было еще более заметно:

Впрег коня, конь-ат не везет.
Впрег комара, комар-ат помчал,
На гумно замчал.

Эта тяга к нарушению установленного порядка вещей наблюдается не только в русском фольклоре. В английских, например, народных детских песнях тот же мотив о ездоке и коне ва-

рьируется множество раз:

– Оседлаю моего петуха, взнуздаю мою курицу и отвезу мою маленькую даму домой… (I'll saddle my cock and I'll bridle my hen…)

– Мать Джека поймала гусака и, взобравшись ему на спину, полетела верхом на луну… (Jack's mother… caught the goose soon and mounting its back flew up to the moon…)

Причем англичане минувших веков, как народ-мореплаватель, ввели тот же процесс отстранения нормы в стихи о морских путешествиях. Герои этих стихов носятся по морю в самых неподходящих суденышках: кто в лохани, кто в ковшике, кто в решете! Изо всех предметов во всем мире решето наименее пригодно для навигации: именно поэтому детская английская народная песня так охотно пользуется им.

Универсально это систематическое неприятие ребенком прочно установленной истины.

Нет числа тем извращениям, которым подвергает детская народная песня незыблемую идею езды на коне. Если она и оставит коня, она примет другие меры, чтобы достичь демонстративного отклонения от нормы:

а) либо перепутает эпитеты, неизменно характеризующие коня и телегу:

Он на пегой на телеге,
На дубовой лошади;

б) либо поменяет местами ездока и дорогу:

Ехала деревня
Мимо мужика;

в) либо повернет ездока в направлении, противоположном маршруту:

Сел задом наперед
И поехал в огород.

Словом, так или иначе достигнет вожделенной нелепости, не оставив нетронутым ни одного из тех элементов, из коих слагается образ скачущего на коне человека.

Из народной песни эта тенденция к заведомо неверному взаимоотношению образов перешла в литературно-книжную и утвердилась во многих излюбленных детских стихах; таково, например, соединение двух взаимно исключающих друг друга способов езды:

Баба ехала верхом,
Развалясь в карете.

III. ТЯГОТЕНИЕ РЕБЕНКА К ПЕРЕВЕРТЫШАМ

Впрочем, будем говорить исключительно о народной поэзии.

Ведь нет никакого сомнения, что стихи, которые я сейчас процитировал, утверждены и одобрены несчетными поколениями русских детей, так как хотя каждому новому поколению родители, деды и бабки могли напевать наряду с хорошим и плохое, в памяти маленьких слушателей всегда выживало лишь то, что наиболее соответствовало их детским запросам и вкусам. И, дожив до старости, всякий, кто в детстве слыхал эти песни, передавал в свою очередь внукам самое лучшее, самое яркое. А все фальшивое, чуждое младенческой психике понемногу забывалось, отмирало и, таким образом, не передавалось потомству, переставало существовать для следующего поколения детей.

То был суровый отбор, и в результате этого многовекового отбора русские дети получили ценнейшее наследие песен, которые дороги именно тем, что они как бы созданы самими детьми.

Недетское погибло на тысячелетней дороге.

Так создавалась образцовая детская народная песня, во всей своей семантике и ритмике идеально соответствующая умственным потребностям русских трехлетних детей, – одно из сильнейших средств мудрой народной педагогической практики.

Точно таким же путем возникла и та великая книга, которая у англичан называется «Старуха гусыня» («The Mother Goose»). Стишки, входящие в «Старуху гусыню», так называемые Nursery Rhymes, подверглись тому же процессу коллективного отбора, бессознательно произведенного длинным рядом детских поколений. Стишки эти просеивались через тысячи сит, прежде чем из них образовался единственный всенародный песенник, без которого немыслимы детские годы английских, шотландских, австралийских, канадских детей. Многие из этих стишков зарегистрированы в печати лет четыреста или пятьсот тому назад. Например, песня о Готемских ум-

никах (Three Wise Men of Gotham) считалась старинной уже в середине XIV века.

А версия песни о снеге «Птаха белая, без перышков» («White bird featherless») восходит к началу десятого века[98].

Почему же, спрашивается, среди этих произведений фольклора, так чудесно приспособленных для воспитания детей, возникла такая обширная группа озорных, диковинных стишков, посвященных нарочитому систематическому отклонению от установленной нормы? Почему образцовая детская песня, одобренная миллионами детей, в течение многих веков культивирует с таким упорством это явное нарушение реальности?

Я взял одну-единственную тему: лошадь везет человека, но, если всмотреться внимательнее в детскую народную песню, можно заметить, что чуть ли не каждая тема, доступная кругозору ребенка, подвергается такой же обработке, словно идея строгой закономерности вещей и событий невыносима для трехлетнего ума.

Многие песни как будто к тому и стремятся, чтобы перемешать, перепутать те немногочисленные данные опыта, из коих для ребенка слагается вселенная.

Чаще всего желанная нелепица достигается в детской песне тем, что неотъемлемые функции предмета а навязываются предмету б, а функции предмета б навязываются предмету а.

Благодаря применению этого метода в фольклоре создались так называемые небывальщины, издавна широко распространенные среди русских детей:

Среди моря овин горит,
По чисту полю корабль бежит…[99]

Здесь, в этих строках, дано сочетание шести несочетаемых вещей: моря и овина, корабля и поля, воды и огня.

Подобную же обратную перестановку незыблемых признаков моря и леса находим в английском детском фольклоре:

«Пустынник спросил меня, сколько ягод земляники растет в море? Я ответил ему: столько же, сколько копченых селедок растет в лесу».

Повторяю и подчеркиваю: для восприятия этих игровых стихов ребенку необходимо твердое знание истинного положения вещей: сельди – обитатели моря, земляника растет в лесу.

Небывальщина необходима ребенку лишь тогда, когда он хорошо утвердился в «бывальщине».

Если ему неизвестно, например, что лед бывает только в холодную пору, он не воспримет народной английской песни о том, что:

Дети скользили по льду на коньках
В летний жаркий день.

Это нужно с самого начала понять и запомнить: все подобные нелепицы ощущаются ребенком именно как нелепицы. Он ни на минуту не верит в их подлинность. Навязывание предметам несвойственных им функций и признаков увлекает его как забава.

В русских малых фольклорных жанрах эта забава нередко принимает характер игры в обмолвку:

Полтора молока кислого кувшина…
Лыко мужиком подпоясано…

Глядь, из-под собаки лают ворота. Мужик схватил собаку и давай бить палку. Собака амбар-то поджала да под хвост и убежала.

---

[98] Oxford Dictionary of Nursery Rhymes edited by lona and Peter Opie, Oxford, 1958, pp. 81 и 193.

[99] Великорусские народные песни. Изданы проф. А.И.Соболевским, т. VII, СПб. 1902, стр. 287.

Квашня женщину месит.
Озеро вспорхнуло, а утки остались…
Корова бабу доит.

Иногда же здесь откровенная игра несуразностями:
Я посеял конопель, а выросли раки, зацвели вороны.
Кошка кованая, утка дойная…
Кочерга раскудахталася, помело нарумянилося…
На печи старик – он рыбу ловил.
Одёрни пуп, рубаху видно!
На грушу лезу, грушки трясу, караси падают, сметану собираю.

В немецком фольклоре, как и во всяком другом, тоже с незапамятных времен существует великое множество таких же озорных небылиц – для детей и для взрослых. Приведу одну из них, наиболее удачную, в талантливом переводе Льва Гинзбурга. Она распространялась в «летучих листках» в 1530 году в Нюрнберге:

Жил в мужике богатый дом,
Пил хлеб, закусывал вином,
Стриг ножницы овечкой.
Доской рубанок он строгал,
В коня повозку запрягал,
Топил поленья печкой.
.....
Сажал он в репе огород,
Воров поставил у ворот,
Чтоб под покровом мрака
Не влезла в дом собака.
Он в рыбах озеро удил,
Ему сынок жену родил…[100]
и т. д.

По этой схеме построено немало любимейших детских стихов.

Например, эта бессмертная народная песня, возрождающаяся с каждым новым поколением детей:

Слепой подглядывает,
Глухой подслушивает,
Безногий вдогон побежал
Немой караул закричал[101].

Вариантов этой песни великое множество. Один из наиболее характерных таков:

Еще где же это видано,
Еще где же это слыхано,
Чтобы курочка бычка родила,
Поросеночек яичко снес…
Чтоб безрукий клеть обокрал,
Голопузому за пазуху наклал,
А слепой-то подсматривал,
А глухой-то подслушивал,

[100] «Немецкие народные баллады» в переводе Льва Гинзбурга, М. 1959, стр. 118–120.

[101] Великорусские народные песни. Изданы проф. А.И.Соболевским, т. VII, СПб. 1902, стр. 210–211.

Безъязыкий «караул» закричал,
А безногий впогонь побежал[102].

В народе такие стихи называются иногда «нескладухами»:

Вы послушайте, ребята,
Нескладуху вам спою:
«Сидит корова на березе,
Грызет валяный сапог».

Примеров таких «нескладух» можно привести сколько угодно, и все они будут свидетельствовать о неистребимой потребности каждого здорового ребенка всех эпох и народов внести нелепицу в тот малый, но отчетливый мир, с которым он недавно познакомился. Едва только ребенок уразумел окончательно, какие предметы съедобны, какие нет, он с радостью стал слушать народную нескладуху о том, что

Жил-был Моторный на белом свету,
Пил-ел лапти, глотал башмаки.

Недаром в зарубежных детских антологиях так часто встречается целый отдел «стихотворений без смысла». Вот одно из них, принадлежащее Уильяму Рэнду (William Rand); оно так и озаглавлено – «Перевернутый мир»:

Если бы конь оседлал седока,
Если бы трава стала есть корову,
Если бы мыши охотились за котом,
Если бы мужчина стал женщиной,
Весь мир перевернулся бы вниз головой[103].

В сущности, все стишки, о которых мы сейчас говорили, суть стишки о перевернутом мире.

По какой-то непонятной причине ребенка влечет в этот «перевернутый мир», где безногие бегают, а вода горит, а лошади скачут на своих ездоках, а какие-то Моторные вместо хлеба едят башмаки.

Выделив эти произведения детского фольклора в особую группу, я дал всему их циклу название «Стишки-перевертыши»[104] и попытался дознаться, какова же их практическая цель в системе народной многовековой педагогики. Я говорил себе: ведь не стал бы народ так упорно, в течение стольких столетий, предлагать новым и новым поколениям детей такое множество этих своеобразных произведений поэзии, если бы они не способствовали совершенствованию психической жизни ребят.

И все же я долго не мог доискаться, в чем польза детского влечения к игре в «перевернутый мир». Ни у русских, ни у иностранных писателей я не нашел о нем ни единого слова.

В конце концов разгадка этого странного явления нашлась. Но не в литературе, а в жизни.

К этой разгадке привела меня моя двухлетняя дочь.

В ту пору для нее, как и для многих детей ее возраста, являлось источником сильнейших эмоций и напряженнейшей умственной деятельности то незначительное само по себе обстоятельство, что петух кричит кукареку, собака лает, а кошка мяукает.

Эти скромные сведения были могучим завоеванием ее интеллекта. Прочно, нерасторжимо,

---

[102] Великорусские народные песни. Изданы проф. А.И.Соболевским, т. VII, СПб. 1902, стр. 291–292.

[103] «This Singing World» («Этот поющий мир»), N.Y., 1923, p. 325.

[104] Слово «перевертыш» издавна живет в языке. Ново лишь то значение, которое в настоящем случае я придал ему как литературному термину.

раз навсегда привязала она к петуху «кукареку», к кошке «мяу», к собаке – «гав-гав» и, справедливо гордясь своими великими знаниями, неустанно демонстрировала их.

Эти знания сразу внесли ясность, порядок и стройность в обаятельный для нее, как и для всякого младенца, мир окружающих ее живых существ.

И вот как-то входит ко мне дочь – на двадцать третьем месяце своего бытия – с таким озорным и в то же время смущенным лицом, точно затевает необыкновенную каверзу. Такого сложного выражения я никогда не видел у нее на лице.

Еще издали она крикнула мне:

– Папа, ава – мяу! – то есть сообщила сенсационную и заведомо неверную весть, что собака, вместо того чтобы лаять, мяукает. И засмеялась поощрительным, несколько искусственным смехом, приглашая и меня смеяться этой выдумке.

Я же был наклонен к реализму:

– Нет, – ответил я, – ава – гав.

– Ава – мяу! – повторила она, смеясь и в то же время ища у меня на лице выражения, которое показало бы ей, как ей следует относиться к этой еретической выдумке, которой она даже чуть-чуть испугалась.

Я решил войти в ее игру и сказал:

– А петух кричит мяу!

И этим санкционировал ее интеллектуальную дерзость.

Никогда самая затейливая эпиграмма Пирона не вызывала такого благодарного смеха, как эта убогая шутка, основанная на механическом перемещении двух элементарных понятий. То была первая шутка, которую моя дочь ощутила как шутку на двадцать третьем месяце своего бытия. Она почувствовала, что не только не страшно «переворачивать» по своей прихоти мир, а, напротив, весело и очень забавно, лишь бы только рядом с этим неправильным представлением о мире в уме оставалось сознание правильного. Она, так сказать, воочию увидела основную пружину комизма, заключающуюся именно в том, что данному предмету навязываются прямо противоположные качества.

Постигнув механизм своей шутки, она пожелала наслаждаться ею опять и опять, измышляя все новые несоответствия между животным и звуком.

И тогда мне показалось – я понял, откуда эта выразившаяся в детском фольклоре несокрушимая страсть к несоответствиям, несообразностям, к разрыванию связей между предметами и их постоянными признаками.

Ключ ко всему этому в той многообразной и радостной деятельности, которая имеет такое большое значение для умственной и нравственной жизни ребенка, – в игре.

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПЕРЕВЕРТЫШЕЙ

Существует немало детских стишков, которые являются продуктами игры, но эти стишки-перевертыши и сами по себе есть игра.

Ко всем категориям игр, о пользе которых мы так много узнали из работ Д.Б.Эльконина, Л.П.Усовой, Д.В.Менджерицкой и других (не говоря уже о Горьком и Макаренко), нужно присоединить и эту категорию: игры мыслительные, игры ума, потому что ребенок играет не только камешками, кубиками, куклами, но и мыслями. Чуть он овладеет какой-нибудь мыслью, он не прочь сделать ее своей игрушкой.

Распространеннейшим методом этих умственных игр является именно обратная координация вещей: наделение предмета а функциями предмета б и наоборот. Когда моя двухлетняя дочь заставляла воображаемую собаку мяукать, она играла именно в такую игру. Чтобы принять участие в этой игре, я тогда же сочинил для моей дочери целый ряд подобных небылиц:

Свинки замяукали:
Мяу! мяу!
Кошечки захрюкали:
Хрю! хрю! хрю!
Уточки заквакали:
Ква! ква! ква!

Курочки закрякали:
Кря! кря! кря!
Воробышек прискакал
И коровой замычал:
М-м-му-у!
Прибежал медведь
И давай реветь:
Кукареку!

Это стихотворение написано, так сказать, по заказу и по рецепту ребенка. Я чувствовал себя столяром, который изготовил для своего младенца игрушку.

Важнейший признак этих игрушек – дети неизменно ощущают их как нечто забавное.

И все без исключения стишки, порожденные этими играми, – в глазах ребенка смешные стишки.

Чем яснее для него та правильная координация вещей, от которой он намеренно отступает в игре, тем сильнее в нем это ощущение смешного.

Недаром Коля Шилов так смеялся, когда ему удалось перевернуть знакомую фразу о звенящих колокольчиках и летающих птицах.

– Птички звенят, колокольчики летят! – сказал он на третьем году жизни и захохотал от такой еретической выдумки.

Это стремление создавать перевертыши – у здорового ребенка на каждом шагу. Тому же Коле Шилову не было еще и двух лет, когда он в шутку назвал тетю дядей и очень восхищался своей выдумкой:

– Дядя Маня! Дядя Маня!

Колина мать записала у себя в дневнике: «Как я его ни поправляю, он твердит свое, причем закатывается от смеха.

В другой раз вместо доброго утра он пожелал отцу спокойной ночи и при этом опять-таки хохотал громче всех»[105].

Художник Константин Казанский сообщает мне, что его четырехлетняя дочь целыми часами поет:

Дам кусок молока
И кувшин пирога,

и этим досаждает своей бабке, которая всякий раз поправляет ее.

В статье А.Н.Гвоздева о развитии детской речи приводится, между прочим, один перевертыш, придуманный мальчиком Женей, двух с половиною лет.

Мать сидела и вязала чулок. У Жени спросили, кто это, и он «явно нарочито» ответил:

– Папа.

– Что делает?

– Пишет.

– Что?

– Яблоко.

Женя ощутил эту путаницу как нечто комическое. И когда через две недели ему снова указали на мать и спросили, кто это, он засмеялся и снова ответил:

– Папа!

А потом указал на отца:

– Мама!

И опять засмеялся[106].

А трехлетняя колхозница Галенька сочинила про корову такие стихи:

Лупка в сено забралась

[105] В.А.Рыбникова-Шилова, Мой дневник, Орел, 1923, стр. 74, 129, 133.

[106] А.Н.Гвоздев, Наблюдения над языком маленьких детей. «Русский язык в советской школе», 1929, № 5, стр. 74–75. Там же сообщается, что Женя в шутку называл маму – тетей, отца – дядей, себя – Олечкой.

И у Галеньки снеслась.

И поясняла со смехом:

– Это я шутю так – ведь коровы не несутся. Несутся куры.

До какой степени милы младенцам веселые игры в такую нелепицу, я убедился в Летнем саду в Ленинграде. Не знакомый мне мальчик бегал возле моей скамьи и выкрикивал:

Бабочка ползучая,
Таракан летучая!
Бабочка ползучая,
Таракан летучая!

Когда я попытался внушить ему, что дело обстоит наоборот, ибо бабочки более способны к полетам, чем тараканы или, например, пауки, он рассердился и чуть не заплакал, так как больше всего ценил в своей песне именно обратную координацию вещей. Отбежав от меня к своей матери, которая сидела на противоположной скамье, он показал мне язык и еще громче запел:

Бабочка ползучая,
Таракан летучая!

Жажда играть в перевертыши присуща чуть не каждому ребенку на определенном этапе его умственной жизни. Я получил от педагога-историка Е.А.Ивановой (Ст. Сещинская, Брянской области) подробный и очень интересный дневник о ее племяннике Вите. Там есть такая запись от 3 мая 1946 года, когда мальчику было два с половиной года.

«Витя смотрит картинки. Начинает шалить. Со смеющимися глазами показывает на бегущего страуса и говорит:

– А я думал – заяц!

Раз пять со смехом повторяет это. Затем показывает на зайца:

– А я думал – это индюк!

Показывает на ласточку:

– Воробышек!

Смеется и добавляет:

– Петух!

Ему, видимо, кажется забавным, что он знакомых животных называет другими именами».

Вива Фисулати в письме пишет мне из Ужгорода (Закарпатская область) о своем племяннике Сереже (двух с половиною лет):

«У него новое увлечение – перевертыши. Он то и дело предлагает родным:

– Будем кушать на диване, а спать на столе.

– Наденем фуражку на ноги, а сандалии на голову.

– Возьмем дверь и откроем ключ!»

Елена Дмитриевна Таль, живущая в Перове под Москвой, сообщает о внучке Леночке:

В один год одиннадцать месяцев Леночка стала шутить: про соль говорила, что она сладкая, про сахар – соленый. При этом лукаво глядела на нас и четко произносила: «Ха-ха».

Так же раскатисто смеялась трехлетняя Ира, когда ей пришла в голову такая нелепица:

– Красная Шапочка скушала волка.

Некоторые наблюдатели думают, что самая эта тяга к обратной координации вещей порождена в ребенке стремлением к юмору.

Мне кажется, что это не так.

Мне кажется, что остроумие здесь только побочный продукт, а первопричина этой тяги иная.

Возьмем, например, тот случай, о котором говорит Жорж Дюамель в своей книге «Игры и утехи». Это – книга о детях. В ней, между прочим, рассказывается, как одна девочка, которая, по обычаю французских детей, называла свою бабушку Maman Ma, а дедушку – Papa Pil, однажды окрестила их так:

– Maman Pil и Papan Ma, – то есть сама изобрела перевертыши не хуже тех, о которых мы

сейчас говорили: мужчину наградила женским именем, а женщину – мужским[107].

Весьма возможно, что вначале эта обратная координация имен и людей была просто результатом обмолвки, но обмолвка понравилась девочке и тотчас превратилась в игру, подобно тому как в русском фольклоре навсегда утвердились обмолвки: «лыко мужиком подпоясано», «ехала деревня мимо мужика» и т. д.

Во всем этом эпизоде французский писатель видит лишь проявление детского юмора. Он говорит, что тени величайших мастеров каламбура должны бы померкнуть перед лицом этой остроумнейшей тринадцатимесячной девочки и что ребенку вообще присуще самое изысканное чувство комизма. Мне же кажется, что это явление сложнее. Я думаю, что в основе подобных причуд не юмористическое, а познавательное отношение к миру. Ибо давно уже стало общепринятой истиной, что именно посредством игры ребенок овладевает огромным количеством знаний и навыков, нужных ему для ориентации в жизни.

Об этом написано множество книг, и с этим уже не принято спорить.

«Чтобы быть способным к цивилизации, человек должен пройти через детство, так как, не будь у него детства, посвященного забавам и играм, он навсегда остался бы дикарем».

«В играх он как бы начерно знакомится с миром».

«Если развитие приспособлений для дальнейших жизненных задач составляет главную цель нашего детства, то выдающееся место в этой целесообразной связи явлений принадлежит игре, так как мы вполне можем сказать, что мы играем не потому, что нам дано детство, а детство нам дано для того, чтобы мы могли играть».

«Опыт ребенка почти всегда облекается в форму игры. Играть в детстве то же, что накоплять опыт, а этот накопленный опыт порождает в свою очередь новые знания, новые чувства, новые желания, новые поступки и новые способности».

Игра может быть веселой забавой, но не в этом ее главная особенность.

В большинстве своих игр дети, напротив, бывают чрезвычайно серьезны. Привожу отрывок из своего дневника, относящегося к двадцатым годам: «Сейчас у меня под балконом бегает в высшей степени насупленный мальчик, который уже часа два является в своих собственных глазах паровозом. С унылой добросовестностью, словно исполняя какую-то необходимую, но трудную должность, он мчится по воображаемым рельсам и пыхтит, и шипит, и свистит, и даже выпускает пары. Никакого смеха в игре этой нет, а между тем она его любимейшая: все лето он предается ей с угрюмым азартом, совершая регулярные рейсы между рекою и домом. Во время этой игры у него и лицо паровозное, чуждое всему человеческому».

Если же те умственные игры, о которых у нас идет речь, кажутся ребенку смешными, это происходит, во-первых, от обратной координации предметов, которая сама по себе порождает в большинстве случаев эффекты комические; во-вторых, оттого, что эти игры всегда и неизменно ощущаются ребенком как игры. Играя во всякую другую игру, ребенок предается добровольному самообману, и чем сильнее этот самообман, тем увлекательнее игра. Здесь же наоборот: игра осуществляется постольку, поскольку этот самообман осознан, обнажен и выдвинут на первое место.

Конечно, всякая иллюзия, необходимая для осуществления игры, ограничена. Когда ребенок на взморье печет из песка пироги, он никогда не забывается настолько, чтобы проглотить свое печенье. Он всегда хозяин своих иллюзий и отлично знает те границы, в которых эти иллюзии необходимо держать. Он величайший реалист в своих фантазиях. Но ребенку, играющему в паровоз, игра доставляет тем большее удовольствие, чем больше он верит в созданную его воображением иллюзию. А ребенку, играющему в перевертыши, в «мир вверх ногами», игра доставляет удовольствие лишь в том случае, если он ни на минуту не забудет подлинного взаимоотношения вещей, полярно противоположного тому, которое он утверждает в игре, то есть – чем меньше он верит в созданную его воображением иллюзию.

Когда ребенок, намеренно перетасовывая качества немых и слепых, заставляет немого кричать, а слепого подглядывать, эта игра только потому и является для него игрой, что он доподлинно знает и помнит истинные качества немых и слепых. Здесь он не столько предается иллюзии, сколько разоблачает ее и таким образом служит торжеству реализма.

---

[107] Жорж Дюамель, Игры и утехи. Перевод с французского В.И.Сметанича, Л. 1925, стр. 46.

Осознание игры как игры, конечно, еще более способствует комическому действию, производимому ею, но, повторяю, не о комизме хлопочет ребенок, когда занимается этой игрой: главная его цель, как и во всякой игре, упражнение новоприобретенных сил, своеобразная проверка новых знаний.

Ведь ребенок – и в этом вся суть – забавляется обратной координацией вещей лишь тогда, когда правильная координация стала для него вполне очевидной.

Когда представление о льде нерасторжимо связалось у ребенка с представлением о холоде, когда представление о землянике столь же прочно соединилось с представлением о лесе, когда понятие «рыба» навсегда прикрепилось к понятию «вода» – только тогда, но не раньше, ребенок начинает играть этими координатами понятий.

Чуть, например, он усвоил себе полезнейшую, нужнейшую истину, что горячее жжется, он с величайшим удовольствием воспринял шутливую народную английскую песню о том, как некий смешной человек обжегся холодной похлебкой.

Таким образом, эта смысловая игра всякий раз знаменует собой благополучное завершение какого-нибудь ряда условий, производимых ребенком для координации своих представлений. Это, так сказать, последняя веха на долгой и трудной дороге.

Предположим, что ребенок окончательно усвоил координацию крупного роста с силой и малого со слабостью, установил для себя навсегда, что животное чем больше, тем сильнее. Когда эта идея становится ясна окончательно, ребенок начинает ею играть. Игра заключается в том, что прямую зависимость он заменяет обратной. Большому приписываются качества малого, а малому – качества большого.

Эта игра выражается в бесчисленных детских стишках про самых ничтожных букашек, которые наделяются особенностями огромных зверей. Гибель маленькой мухи изображается в них как величайшая катастрофа вселенских размеров:

Всколебалося море,
Сыра земля застонала,
Стала муха тонути.

Столь же колоссальным изображается другое событие: падение комара с ветки дуба, причем для вящего оттенения игры многие существительные наделены увеличительным суффиксом:

Полетел комарище в лесище,
Садился комар на дубище,
Дуб под ним зашатался,
Комар весьма испугался,
Стукнуло, грянуло в лесе,
Комар с дуба свалился,
Упал он на коренище,
Сбил до костей плечище[108].

Это дурашливое наделение малого и легковесного качествами огромного и тяжелого есть один из самых распространенных видов перевертыша в детском фольклоре.

В английской народной детской песне простофиля Саймон сидит с удочкой над маленьким ведерком, дабы выудить оттуда кита.

Саймон, Саймон, простота,
Ловит удочкой кита!

В другой песне из того же цикла отряд портных, в числе двадцати четырех человек, от-

[108] Едва ли эта песня народная: женские рифмы и вообще вся фактура стиха указывают на украино-польское, бурсацкое ее происхождение. Но она издавна просочилась в русский фольклор и живет в детском обиходе наравне с исконно русскими песнями. Ср. Великорусские народные песни. Изданы проф. А.И.Соболевским, т. VII, СПб. 1902, стр. 389.

правляется походом на улитку, но чуть улитка показала им рога, они кидаются от нее врассыпную. Вот эта песня в приблизительном моем переводе:

Наши-то портные
Храбрые какие:
«Не боимся мы зверей,
Ни волков, ни медведей».
А как вышли за калитку
Да увидели улитку,
Испугалися,
Разбежалися.
Вот они какие,
Храбрые портные!

В данном случае мотивировкой этой обратной координации вещей служит забавная трусость портных. Но мотивировка может быть та или иная, лишь бы осуществлялась игра в обратную координацию вещей.

Чаще всего эта обратная координация мотивируется в детских стихотворениях глупостью: Саймон, ловящий маленькой удочкой большого кита, откровенно назван в этих стихах простофилей. Не умнее британского Саймона и наш русский Моторный, который пил-ел лапти, глотал башмаки. В Англии фигурируют в песнях и сказках знаменитые Готемские умники, несомненные родственники наших пошехонцев, которые на каждом шагу вместо логически необходимого действия совершают прямо противоположное. Эта мотивировка перверсии глупостью весьма удовлетворяет ребенка: он чувствует свое умственное превосходство над теми, кто обнаруживает такое глубокое незнание окружающего мира. «Сам-то я не такой!» – этому умственному самоудовлетворению ребенка и служат всевозможные детские песни и сказки о дураках, поступающих вопреки установленной координации вещей:

Что ни делает дурак,
Все он делает не так!

Польза подобных стихов и сказок очевидна: за каждым «не так» ребенок живо ощущает «так», всякое отступление от нормы сильнее укрепляет ребенка в норме, и он еще выше оценивает свою твердую ориентацию в мире. Он делает как бы экзамен своим умственным силам и неизменно этот экзамен выдерживает, что значительно поднимает в нем уважение к себе, уверенность в своем интеллекте, столь необходимую ему, чтобы не растеряться в этом хаотическом мире: «Я-то не обожгусь холодной кашей»; «я-то не испугаюсь улитки»; «на дне моря я не стану искать землянику».

В этом проверочном испытании, в этом самоэкзамене – главное значение детской игры в перевертыши.

Для такого же «проверочного испытания» утвердился в детском фольклоре один из самых популярных перевертышей, начало которого я уже приводил на предыдущих страницах:

Ехала деревня
Мимо мужика,
Вдруг из-под собаки
Лают ворота.
Я схватил дубинку,
Разрубил топор,
И по нашей кошке
Пробежал забор.
Лошадь ела кашу,
А мужик овес,
Лошадь села в сани,
А мужик повез.

Этой же цели служит и другой перевертыш, который мне сообщили недавно:

Бочка сена,
Охапка воды,
Окорок капусты,
Кочан ветчины.

Здесь третья причина веселости, которую эти стихи-перевертыши неизменно вызывают в ребенке: они повышают его самооценку.

И эта причина – немалая, ибо ребенку важнее всего быть о себе высокого мнения. Недаром он с утра до вечера жаждет похвал, одобрений и так любит тщеславиться своими превосходными качествами.

Для него невыносимо сознание, что он не способен к тем действиям, которые у него на глазах совершают другие. Что бы кто ни делал на глазах у двухлетнего мальчика, он в каждом видит соперника, которого ему надлежит превзойти. Он не может допустить и мысли, что кто-нибудь другой, а не он будет действующим, а стало быть, и познающим лицом в этом мире.

Дети только потому не пугаются собственной своей неумелости, что не подозревают об истинных размерах ее. Но, всякий раз как по какому-нибудь случайному поводу они почувствуют, до чего они слабы, это огорчает их до слез.

Ребенок хочет быть Колумбом всех Америк и каждую заново открыть для себя. Все руками, все в рот, – поскорее бы познакомиться с этим неведомым миром, научиться его делам и обычаям, ибо всякое непонимание, неумение, незнание мучает ребенка, как боль. Мы все к двадцатилетнему возрасту были бы великими химиками, математиками, ботаниками, зоологами, если бы это жгучее любопытство ко всему окружающему не ослабевало в нас по мере накопления первоначальных, необходимейших для нашего существования знаний.

К счастью, ребенок не представляет себе всех колоссальных размеров того непонятного, которое окружает его: он вечно во власти сладчайших иллюзий, и кто из нас не видел детей, которые простодушно уверены, что они отлично умеют охотиться за львами, управлять оркестром, переплывать океаны и т. д.?

Великую радость должен почувствовать этот пытливый и честолюбивый исследователь мира сего, когда ему становится ясно, что обширные области знания уже прочно завоеваны им, что ошибаются другие, а не он.

Другие не знают, что лед бывает только зимой, что холодной кашей невозможно обжечься, что кошка не боится мышей, что немые не способны кричать «караул» и т. д. А он настолько утвердился в этих истинах, что вот может даже играть ими.

Когда мы замечаем, что ребенок начал играть каким-нибудь новым комплексом понятий, мы можем наверняка заключить, что он стал полным хозяином этих понятий; игрушками становятся для него только те идеи, которые уже крепко скоординированы между собой.

Не нужно забывать, что именно координация, систематизация знаний и является важнейшей, хотя и не осознанной, заботой ребенка.

Умственная анархия невыносима для детского разума. Ребенок верит, что всюду должны быть законы и правила, страстно жаждет усваивать их и огорчается, если заметит в усвоенном какой-нибудь нечаянный изъян.

Помню, как опечалилась моя трехлетняя дочь, когда услыхала от взрослых, что по небу идет большая туча.

– Как же туча может идти, если у тучи нет ног? – спрашивала она со слезами.

Эти слезы объяснили мне многое. Ребенок только что усвоил с большим напряжением умственных сил, что обладание ногами есть единственное условие ходьбы, и вот взрослые (то есть непогрешимые) люди разрушают это обобщение явно противоречащим фактом, снова внося беспорядок в ту область его знаний о мире, которую он считал забронированной от всякого хаоса.

На ребенка ежедневно обрушивается такое количество путаных, отрывочных знаний, что, не будь у него этой благодатной тяги к преодолению хаоса, он еще до пятилетнего возраста непременно сошел бы с ума.

Поневоле ему приходится производить неустанную систематизацию всех явлений своего

духовного мира, и нельзя не поражаться тому необычайному искусству, с которым совершается им эта труднейшая работа, а также той радости, с которой связана каждая его победа над хаосом.

До какой виртуозности доходит искусство ребенка систематизировать беспорядочно приобретенные клочки и обломки знаний, показывает хотя бы то обстоятельство, что он еще до пятилетнего возраста усваивает все самые прихотливые правила грамматики родного языка и научается мастерски распоряжаться его приставками, суффиксами, корнями и флексиями.

Являясь таким непризнанным гением систематизации, классификации и координации вещей, ребенок, естественно, проявляет повышенный интерес к тем умственным играм и опытам, где эти процессы выдвинуты на первое место.

Отсюда та популярность, которой в течение многих столетий пользовались в детской среде всевозможные стихи-перевертыши.

Если бы нашелся ученый, который захотел бы систематизировать все стихотворения этого рода, живущие во всемирном фольклоре, обнаружилось бы, что нет ни одной области в умственном обиходе ребенка (от двухлетнего до пятилетнего возраста), которой не соответствовал бы какой-нибудь особый, как бы специально для нее предназначенный стишок-перевертыш.

Даже те немногие русские и английские народные песенки, которые цитируются в этой главе, могут быть разбиты на группы, соответствующие отдельным этапам умственного развития детей.

В самом деле, приводимые выше стишки легко распадаются на такие отделы:

I. Перевертыши большого и малого

Малому приписываются качества большого:

1. Комарище, упавший с дубища.
2. Муха, утопление которой описано как мировая катастрофа.

II. Перевертыши холодного и горячего

1. Холодному приписываются качества горячего: человек обжегся холодной похлебкой.
2. Горячему приписываются качества холодного: знойным летом дети скользят на коньках по льду.

III. Перевертыш еды

Съедобность несъедобных вещей: пил-ел лапти, глотал башмаки.

IV. Перевертыши одежды

1. Лыко мужиком подпоясано.
2. Мужик подпоясан топорищем.

V. Перевертыши явлений природы

1. Море горит.
2. В поле бежит корабль.
3. В лесу растет рыба.
4. В море растет земляника.

VI. Перевертыши ездока и коня

1. Конь скачет верхом на ездоке.
2. Ездок скачет не на коне, а на баране, корове, быке, козе, теленке, собаке, курице, кошке и т. д.

VII. Перевертыши телесных недостатков

1. Слепые видят.
2. Немые кричат.
3. Безрукие воруют.
4. Безногие бегают.
5. Глухие подслушивают.

VIII. Перевертыши действующих лиц

1. Ворота лают из-под собаки.
2. Мужик собакой бьет палку.
3. Деревня едет мимо мужика.

Таким образом, мы видим, что во всех этих путаницах соблюдается, в сущности, идеальный порядок.

У этого «безумия» есть система.

Вовлекая ребенка в «перевернутый мир», мы не только не наносим ущерба его интеллекту-

альной работе, но, напротив, способствуем ей, ибо у ребенка у самого есть стремление создать себе такой «перевернутый мир», чтобы тем вернее утвердиться в законах, управляющих миром реальным.

Эти нелепицы были бы опасны ребенку, если бы они заслоняли от него подлинные, реальные взаимоотношения идей и вещей. Но они не только не заслоняют их, они их выдвигают, оттеняют, подчеркивают. Они усиливают (а не ослабляют) в ребенке ощущение реальности.

В этом воспитательная ценность всех нелепиц такого рода. Мудрено ли, что двухлетние, трехлетние, четырехлетние дети обнаруживают такое пристрастие к ним в течение многих веков!

Для их ума – они чувствуют – это пища здоровая.

И если вообще полезны для ребенка его детские игры, помогающие ему ориентироваться в окружающем мире, тем более полезны ему эти умственные игры в обратную координацию вещей, – а я настаиваю, что это именно игры, почти ничем не отличающиеся от всяких других.

Вообще у нас далеко не всеми усвоено, какая близкая связь существует между детскими стихами и детскими играми.

Оценивая, например, книгу для малолетних детей, критики нередко забывают применить к этой книге критерий игры, а между тем большинство сохранившихся в народе детских песен не только возникли из игр, но и сами по себе суть игры: игры словами, игры ритмами, звуками.

Перевертыши есть такое же порождение игр.

Существенное достоинство этих игр заключается в том, что они по самой своей природе комические: никакие другие не подводят ребенка так близко к первоосновам юмора. А это задача немалая: воспитать в ребенке юмор драгоценное качество, которое, когда ребенок подрастет, увеличит его сопротивление всякой неблагоприятной среде и поставит его высоко над мелочами и дрязгами.

У ребенка вообще есть великая потребность смеяться. Дать ему добротный материал для удовлетворения этой потребности – одна из непоследних задач воспитания.

Я потому и счел необходимым посвятить особую главу изучению явных и нарочитых бессмыслиц, дабы обнаружить, что даже такие бессмыслицы, которые, казалось бы, не смеют притязать на какой бы то ни было педагогический смысл, – даже они в высшей степени ценны, закономерны, полезны.

Эти стишки привлекли меня именно тем, что они презираемы с давних времен как вздорные и притом заведомо вредные; что нет такого доморощенного Фребеля, который не считал бы своим долгом охранять от них малых детей. Исследуя эти стишки в русском и отчасти зарубежном фольклоре, наблюдая из года в год, как реагирует на них малый ребенок, я в конце концов не мог не прийти к убеждению, что они опорочены зря, так как отвечают насущнейшим потребностям детского разума и служат немаловажным подспорьем в его познавательной деятельности.

Реабилитируя оклеветанные произведения народной поэзии, я тем самым пытаюсь установить непригодность наивно-утилитарных критериев, с которыми еще недавно подходили у нас ко всяким стихам для детей, да и сейчас еще подходят во многих статьях и рецензиях.

Здесь, на этом малом примере, мы в тысячный раз убеждаемся, что обывательский «здравый смысл» – ненадежная опора для всякого, кто ищет научно обоснованной истины. Здесь наглядная иллюстрация к тому положению, которое высказано в «Анти-Дюринге» Энгельсом: «Здравый человеческий рассудок, весьма почтенный спутник в четырех стенах своего домашнего обихода, переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования»[109].

Только выйдя на этот простор, мы могли обнаружить путем тщательного сопоставления и анализа фактов, что та категория явлений, которая обывательскому «здравому смыслу» представляется бессмысленной и вредной, на самом-то деле должна расцениваться как полезная, жизненно важная.

Я отнюдь не хочу сказать, что детей следует воспитывать только такими «бессмыслицами», но я думаю, что детская литература, из которой эти «бессмыслицы» выброшены, не отвечает многим плодотворным потребностям трехлетнего-четырехлетнего ребенка и лишает его полезнейшей умственной пищи.

---

[109] К.Маркс и Ф.Энгельс, Сочинения, т. 20, стр. 21.

Мне кажется, что неоспоримо право этого рода стихов занимать свое может быть, и скромное – место в устной и письменной детской словесности и что те, кто изгоняет их из обихода детей, руководствуются отнюдь не какими-нибудь научными принципами, а так называемой логикой «здравого смысла», которая не всегда бывает верна.

Недаром К.Д.Ушинский, типичный представитель шестидесятых годов, ввел «Небывальщины» в свое «Родное слово»[110].

И я дерзаю надеяться, что тот сердитый читатель, который потребовал от меня в грозном письме, чтобы я «не забивал головы наших ребят всякими путаницами», откажется от своих заблуждений и в конце концов разрешит мне и впредь сочинять вот такие стихи для детей:

Рыбы по полю гуляют,
Жабы по небу летают,
Мыши кошку изловили,
В мышеловку посадили.
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
«Эй, пожарные, бегите,
Помогите, помогите!»
и т. д.

Ибо после всего вышесказанного даже самый несмышленый догадается, что в подобных стихах неправильная координация вещей только способствует утверждению правильной и что путем такой фантастики мы утверждаем детей в их реалистическом представлении о мире. Я, по крайней мере, не знаю ни одного ребенка, который хоть на минуту был бы введен в заблуждение небылицами подобных стихов. Напротив, любимая интеллектуальная работа трехлетних и четырехлетних детей – изобличать небылицы, делать им очную ставку с реальными фактами. Словно для того и созданы эти стихи, чтобы стимулировать умственные силы ребенка для борьбы с извращением истины.

Когда я начинаю читать малышам про чудо-дерево, на котором растут башмаки, я знаю заранее, что они непременно заявят мне с величайшей горячностью, что таких деревьев не бывает на свете, что башмаки делаются так-то и так-то и покупаются там-то и там-то. Эта небылица тем и забавна для них, что ее легко опровергнуть и полемика против нее становится как бы игрой, при помощи которой малыши, так сказать, экзаменуют себя.

Для этой-то чрезвычайно полезной игры в фольклоре детей всего мира существует множество стихов-перевертышей, где порою каждая строка есть новое нарушение подлинной координации предметов.

Имеем ли мы право изгонять из обихода детей столь благотворную гимнастику мысли?

* * *

Эта статья была опубликована в 1924 году, и вскоре я с большим удовлетворением увидел, что предложенный мною термин «стихи-перевертыши» вошел в научную литературу о детях[111].

Все же меня часто беспокоил вопрос: не противоречат ли мысли, изложенные в этой статье, великим идеям и принципам современной советской науки о детях?

Нет ли какой-нибудь серьезной погрешности в выдвинутых здесь соображениях о той по-

[110] К.Д.Ушинский, Собр. соч., т. VI, М.-Л. 1949, стр. 97.

[111] Георгий Виноградов, Детский фольклор и быт, 1925; О. Капица, Детский фольклор, 1928. Недавно вышла талантливая книга В.П.Аникина «Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор», М. 1957. Автор вполне разделяет мое убеждение в педагогической ценности перевертышей.

ложительной роли, которую играют перевертыши в деле внушения детям правильных представлений об окружающем мире?

Недавно на этот вопрос был дан авторитетный ответ. Видный советский психолог проф. А.В.Запорожец с явным сочувствием изложил основную идею моей настоящей статьи в такой четкой и недвусмысленной формуле: «Старшие дети настолько укрепляются в реалистической позиции, что начинают любить всякие перевертыши. Смеясь над ними, ребенок обнаруживает и углубляет свое правильное понимание окружающей действительности»[112].

Эти строки доставили мне живейшую радость: значит, я не ошибся, доказывая, что перевертыши есть один из путей к укреплению ребенка в реализме. Мысль, которая когда-то третировалась как пустой парадокс, ныне находит свое подтверждение в науке.

Правда, ученый говорит здесь не о стихах, но о сказках, поэтому любовь к перевертышам он приписывает старшим ребятам, но если бы речь у него зашла о стихах, он, несомненно, отметил бы, что перевертышами этого жанра увлекаются и младшие дети, едва лишь достигшие двухлетнего возраста.

Вообще же идея о педагогической ценности таких небывальщин, предлагаемых средним и старшим дошкольникам, таит в себе много широких возможностей, ибо она вскрывает полную негодность тех наивно-утилитарных критериев, с которыми еще недавно подходили у нас к «большой литературе для маленьких».

В советской литературе есть одно прекрасное произведение поэзии, основанное на игре в перевертыши: «Вот какой рассеянный» С.Маршака.

В нем высмеиваются несуразные поступки гражданина, надевавшего вместо рубашки штаны, вместо валенок – перчатки, вместо шапки – сковороду и т. д. Каждый подобный поступок героя мотивируется его феноменальной рассеянностью. Автор не раз приговаривает:

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

Популярность этого стихотворения огромна. Написанное еще в двадцатых годах, оно выдержало десятки изданий и переведено чуть ли не на все языки. Выражение «рассеянный с Бассейной» сразу стало народной поговоркой, его слышишь и в кино, и в трамвае, и в клубе:

– Эх ты, рассеянный с Бассейной!

Лаконичные, веселые, звонкие строки «Рассеянного» полны перевертышей не потому ли они с давнего времени так привлекают к себе миллионы ребячьих сердец?

В том смехе, которым дети встречают каждый поступок героя, чувствуется самоудовлетворение, не лишенное гордости: «Мы-то знаем, что сковорода – не одежда и что на ноги не надевают перчаток!»

Лестное для них сознание своего умственного превосходства над незадачливым героем поэмы возвышает их в собственном мнении.

Все это непосредственно связано с познанием реальной жизни: ведь этим путем малыши закрепляют завоевания своего житейского опыта.

Поэтому я был так удивлен, когда обнаружил, что воспитатели детских садов в подавляющем большинстве причисляют это стихотворение к категории юмористических, шуточных и не замечают той роли, которую играет оно в умственной жизни ребенка. Между тем это стихотворение давно уже должно быть поставлено рядом с такими стихами того же автора, как «Посадка леса», «Война с Днепром», «Что такое год?», познавательное значение которых бесспорно.

V. ПРЕДКИ ИХ ВРАГОВ И ГОНИТЕЛЕЙ

Если же применять те грубо утилитарные критерии, которые рапповцы всех мастей и оттенков еще недавно применяли к литературе для маленьких, придется совсем уничтожить не только перевертыши, но вообще все лучшие произведения народной поэзии, наиболее любимые детьми. Так и поступали горе-педагоги всех стран в течение многих веков: они ревностно искореняли из обихода детей эти «сумбуры и вздоры». Но дети оказались сильнее: они отстояли

[112] А.В.Запорожец, Психология восприятия сказки ребенком-дошкольником. «Дошкольное воспитание», 1948, № 9, стр. 30.

неприкосновенность своей умственной жизни от многовекового натиска высокомудрых учителей и родителей, которые считали своим нравственным долгом ограждать их от подобных «нелепиц».

Многим учителям и родителям не терпелось приобщить ребенка к тем сведениям, которые у них, у взрослых, почитались в данную эпоху нужнейшими.

В Англии в XVI веке нашелся такой Вильям Коплэнд (William Copland), который изготовил для трехлетних детей в высшей степени полезную книгу «Тайна тайн Аристотеля» и рекомендовал ее в качестве «очень хорошей»[113].

Можно представить себе, с каким презрением взглянул бы этот Коплэнд на того чудака, который осмелился бы заикнуться, что для ребенка нелепейший стишок о морской землянике полезнее всех Аристотелей.

Другой детский писатель XVI века – Уинкип де Уэрд (Wynkyn de Worde) так и назвал свою книгу: «Трехлетний мудрец» («Wyse Chylde of Thre Year Old»), где он, между прочим, обращался к трехлетнему младенцу с вопросом:

«Мудрое чадо, как сотворены небеса?» (То есть каким образом их создал господь.)[114]

Тогдашние детские авторы ненавидели в ребенке – ребенка. Детство казалось им какой-то непристойной болезнью, от которой ребенка необходимо лечить. Они старались возможно скорее овзрослить и осерьезить ребенка. Оттого-то в мировой литературе до сравнительно недавнего времени не было ни одной веселой детской книги. По-детски смеяться с ребенком – до этого не унижались писатели. Сам Чосер, гениальный рассказчик, когда сделался детским писателем, сочинил для маленького сына «Трактат об астролябии», в высшей степени канительный и нудный.

Это похоже на то, как если бы грудного ребенка вместо молока его матери насильно кормили бифштексами. Такое стремление взрослых навязать ребенку свое, взрослое, было особенно заметно в те эпохи, когда взрослым казалось, что они обладают некоторой единоспасительной истиной, что бифштексы, которыми они в данный момент утоляют свой голод, – единственная полезная пища.

Так, в пору диктатуры пуритан каждый детский писатель старался сделать ребенка святошей, миниатюрой благочестивого Вильяма Пенна. Единственные книги, которые считались в ту пору пригодными для трехлетних малюток, были кладбищенские размышления о смерти!

Типичной детской книгой того времени было «Знамение для детей» Джемса Дженвея – «о безболезненной и пресветлой кончине многих богоугодных младенцев»! В ту пору считались, например, чрезвычайно полезными, ценными такие стихи, как «Предостережение для хорошенькой девочки», которое я привожу здесь в точном своем переводе с английского:

Я знаю, глядя в зеркала,
Что я пригожа и мила,
Что обольстительную плоть
Мне милосердный дал господь.
Но горько думать, что она
В аду гореть обречена.

И вот стихотворение Джона Баниана, знаменитого автора «Пути пилигрима», который известен советским читателям главным образом по фрагменту, переведенному Пушкиным. (У Пушкина фрагмент озаглавлен «Странник».) Баниан сочинил для ребят очень назидательную книгу под названием «Священные Эмблемы, или Тленность вещей». Из этой книги я для образца перевел следующие стихи о лягушке:

Холодная и мокрая лягуха,
Широкий рот, прожорливое брюхо.

[113] A Century of Children's Books, by Florence V, Barry (Methuen), London, 1922, p. 4.

[114] A Century of Children's Books, by Florence V, Barry (Methuen), London, 1922, p. 4.

Она сидит, постыдно некрасива,
И квакает, надутая спесиво.
Вы, лицемеры, ей во всем подобны:
Вы так же холодны, заносчивы и злобны,
И рот у вас, как у нее, широк
Хулит добро и славит он порок…
и т. д.

«Идейность» подобных стихов не подлежала сомнению, и тогдашние ханжи горячо рекомендовали их детям.

Единственное чувство, которое пытались вызвать в ребенке тогдашние книги, был ужас. Вот какие диалоги печатались в изданной американскими пуританами «Первой книге для чтения»:

«– Хорошо ли тебе будет в аду?
– Меня будут ужасно мучить.
– А с кем тебе придется там жить?
– С легионами дьяволов и мириадами грешников.
– Доставят ли они тебе утеху?
– Нет, но весьма вероятно, что они умножат мои адские муки.
– Если ты угодишь в ад, долго ли ты будешь мучиться там?
– Вечно»[115].

Если бы в то ханжеское время вышла книга о какой-нибудь тетушке Габбард, у которой собака скачет верхом на козле, эту книгу сожгли бы рукой палача: лишь унылые кладбищенские книги были одобряемы в ту пору властями.

Подлинная детская книга должна была проникать в детскую среду контрабандой.

По большим дорогам слонялись коробейники, веселые, вороватые, пьяные люди, которые в числе прочих товаров торговали и дешевыми книжками сказками, балладами, песнями. Каждый коробейник был музыкантом, певцом и сказителем. Коробейники пели о Робине Гуде, о Фортунатусе, о Гекторе, о докторе Фаусте, о том, что корова перепрыгнула через луну, а котята нашли на дороге перчатки, а лягушонок женился на мыши, – и все эти песни почитались в ту пору зловредными, и всякого коробейника, уличенного в их распространении, благочестивые пуритане забивали в колодки и били кнутами нещадно.

Идеолог той эпохи Джордж Фокс в своем «Увещевательном слове к учителям» осуждает, в числе прочих детских грехов и пороков, «пристрастие к сказкам, забавным историям, басням, стишкам, прибауткам».

Томас Уайт, протестантский священник, в «Маленькой книжке для маленьких» (1702) советует английским детям:

«Читайте не Баллады, не дурацкие вымыслы, но Библию, а также очень легкую божественную книжку „Что должен делать каждый простой человек, чтобы попасть в Рай“. Прочтите также „Жития мучеников“, которые умирали во имя Христа. Читайте почаще Беседы о Смерти, об Аде, о Страшном суде и о Крестных страданиях Иисуса Христа»[116].

Дальше он рассказывает душераздирающие истории о мучениках: тому отрубили голову, того сварили в кипящем котле, тому отрезали язык, того бросили на съедение тиграм.

Обо всех этих членовредительства и пытках Уайт повествует с таким свирепым удовольствием, что в нем можно заподозрить садиста.

Но и потом, когда кончилось пуританское иго, «забавные истории, стишки, прибаутки» по-прежнему продолжали считаться зловредными, хотя и на других основаниях.

Взрослые в то время стали увлекаться науками, и, конечно, им захотелось немедленно сделать каждого малолетнего ребенка ученым.

Надвигалась эпоха буржуазной индустрии, и гениальный предтеча мещанского утилита-

[115] Блэнч и Уикс, Литература и ребенок, Нью-Йорк, 1935, стр. 78.

[116] Cambridge History of English Literature, vol. XI, Cambridge, 1914, pp. 369–371.

ризма Джон Локк стал исподволь приспособлять к этой эпохе детей. Лозунгом педагогики стало: обогатить детей возможно скорее наиполезнейшими научными сведениями – по географии, истории, математике; долой все детское, присущее ребенку, всякие игры, стишки и забавы! – нужно только взрослое, ученое, общеполезное. По системе Локка удавалось так чудовищно обрабатывать бедных младенцев, что они к пятилетнему возрасту могли показывать на глобусе любую страну.

Жаль только, что к десяти годам эти миниатюрные Локки становились поголовно идиотами. Легко ли не стать идиотом тому, у кого насильственно отнято детство.

Локком любуешься. Не любоваться нельзя: прекрасен свободный ум, бунтующий против мертвой догматики. Многие его мысли – на тысячу лет. Но и Локк не поднялся над эпохой, и для него детский возраст – ошибка природы, мировой беспорядок, оплошность творца. Нужно эту ошибку исправить – и чем скорее, тем лучше! Если уж невозможно, чтобы дети сразу рождались многоучеными Локками, сделаем их Локками в самый короткий срок – к пятому, к шестому году их жизни! Естественно, что при таком высокомерном отношении к подлинным потребностям и вкусам детей Локк забраковал без милосердия все тогдашние детские книги, баллады, стихи, небылицы, сказки, поговорки и песни, которые в его глазах нехороши уже тем, что они не география и не алгебра. Всю детскую литературу, необходимую ребенку как воздух, Локк, не обинуясь, назвал дребеденью, «никому не нужной дрянью» (trumpery) и рекомендовал для детского чтения одну-единственную книгу – басни Эзопа[117].

Нужны были сотни лет, чтобы взрослые признали право детей быть детьми. Медленно завоевывал ребенок уважение к себе, к своим играм, интересам и вкусам. В конце концов поняли, что если трехлетний ребенок, получив географический глобус, не хочет и слышать о материках и морях, а хочет катать этот глобус, вертеть этот глобус, ловить этот глобус, – значит, ему нужен не глобус, а мяч. Даже для умственного (а по только физического) развития трехлетних детей мяч полезнее всякого глобуса.

Но когда дело доходило до детской книги, до детских стихов, тогдашние педагоги упрямо выбрасывали оттуда все подлинно детское – такое, что их взрослым умам казалось ненужным и бессмысленным.

Характерно, что в настоящее время английское мещанство, по мере своего измельчания, все больше и больше стыдится могучих и дерзких стихотворных причуд, доставшихся ему в наследство от предков, и, перепечатывая, например, «Старуху гусыню», фольклорную книгу, где собраны народные потешки, загадки, считалки и другие стихи для детей, пытается приспособить ее к своему тривиальному здравому смыслу. На днях мне попалось одно издание этой классической книги, где самые озорные стихи так благообразно приглажены, что смахивают на воскресные гимны. Знаменитое «Гей диддл, диддл» – о корове, которая перепрыгнула через луну, и о собаке, которая засмеялась человеческим смехом, – переделано каким-то благонамеренным квакером так: собака не смеется, а лает, корова же прыгает не над луною, а под луною, внизу, на поляне[118].

Изменено всего только несколько слов, и получилась вполне благоразумная книга, которая имеет лишь тот недостаток, что никакими розгами нельзя заставить ребенка полюбить и запеть ее текст. А та, бессмысленная, беззаконная, гонимая, живет уже четыреста лет и проживет еще тысячу, потому что она вполне соответствует своеобразнейшим методам, которыми ребенок утверждает себя в познании подлинного, реального взаимоотношения предметов.

Борьбу с фантастикой этих гениальных стихов английское мещанство с таким же успехом проводит при помощи целой системы рисунков, иллюстрирующих эти стихи. Например, к той песне-загадке, которая переведена Маршаком:

Шалтай-Болтай сидел на стене,

дана картина, где вместо Шалтая-Болтая (то есть яйца) сидит на заборе обыкновенный мальчишка и держит в руках гнездо!

К тому перевертышу, где сказано, что в жаркий июльский день детвора каталась на конь-

[117] The Works of John Locke, vol. VIII, London, 1824, p. 147.

[118] Mother Goose's Nursery Rhymes. Tales and Jingles, London and New York. (Frederic Warne and C°.)

ках, приложен рисунок, изображающий зиму: дети в шубках катаются по льду в зимний морозный день.

К титанической песне о том, что случилось бы, если бы все моря слились в одно море, а все топоры стали бы одним топором, в той же книге дан сусальный рисунок, где две кудрявые девочки жеманно плещутся у приторно сладкого моря[119].

Нынешнему английскому обывателю совестно, что он получил от отцов такие чудесные песни: он принимает все меры, чтобы испакостить их. И это ему удается.

Наши обыватели ведут в настоящее время такую же постыдную борьбу с высочайшими образцами детской народной словесности. Но это им – я знаю – по удается.

У нас к фольклору для детей, как ко всему, в чем проявляется гений народа, относятся благоговейно и бережно. Если бы какой-нибудь составитель детских фольклористических сборников дерзнул исковеркать их текст отсебятинами, это было бы сочтено святотатством. Всевозможные потешки, загадки, дразнилки, считалки, «баюльные песни» с младенческих лет окружают советских ребят, так как устная традиция поддерживается в детской среде печатными сборниками этих шедевров народного творчества, публикуемых из года в год и Детгизом, и областными издательствами. Я уж не говорю о сказках, созданных всеми народами нашей страны, – и прежде всего о русских народных сказках. Они печатаются в таких (ежегодно растущих!) количествах, что без них невозможно представить себе ни одного детского сада, ни одной подлинно культурной семьи, где есть дети.

Все это, конечно, превосходно. Здесь большая победа передовой педагогической мысли над леваками-педологами, которые с тупым усердием изгоняли наш мудрый и поэтичный фольклор из системы воспитания советских детей.

Победа большая – но, к сожалению, не полная. Словно победители еще не окончательно верят, что они победители. Они явно робеют в завоеванной области, действуют с оглядкой, с опаской. Похоже, что они и сами боятся, как бы волшебные сказки или стихи-перевертыши не нанесли ущерба тому материалистическому воззрению на мир, к которому в конечном итоге должна привести подрастающих граждан вся система воспитания в нашей стране. Они как будто еще не вполне убедились, что именно при помощи фантастических сказок, при помощи небывальщин и перевертышей всякого рода и утверждаются дети в реалистическом отношении к действительности.

Умственная робость этих людей проявляется в том, например, что они всю массу фольклорных (и нефольклорных) стихов-небывальщин, стихов-перевертышей зачислили в разряд развлекательных.

Так и пишут: веселые, смешные стишки.

И говорят снисходительно: «Ну что ж, детям не грешно и посмеяться, почитаем им, так и быть, ради смеха, какую-нибудь из этих забавных нелепиц».

Между тем давно уже пора перенести эти «нелепицы» в разряд педагогически ценных познавательных произведений поэзии, способствующих закреплению в детских умах правильного понимания действительности.

Скажут, что это парадокс, противоречащий здравому смыслу. Но можно ли какие бы то ни было научные истины отождествлять с теми иллюзорными видимостями, которые подсказаны нам так называемым жизненным опытом.

«Это кажется парадоксальным, – пишет Маркс по поводу одного из открытых им законов экономической жизни, – и противоречащим повседневному опыту. Но парадоксально и то, что земля движется вокруг солнца и что вода состоит из двух легко воспламеняющихся газов. Научные истины всегда парадоксальны, если судить на основании повседневного опыта, который улавливает лишь обманчивую видимость вещей»[120].

Таким же парадоксом, несомненно, покажется так называемому здравому смыслу моя старинная догадка о том, что бесчисленные произведения фольклорной и книжной поэзии, в которых нарочито по определенной системе искажаются факты реальной действительности, служат

[119] Mother Goose's Nursery Rhymes. London and New York. (Ernest Lister, E.P.Dutton and C°.)

[120] К.Маркс и Ф.Энгельс, Сочинения, т. 10, стр. 131.

великим задачам реалистического воспитания детей.

Конечно, чтение детям перевертышей, небывальщин и сказок является лишь одним из путей к достижению этих задач; его нельзя изолировать от многих других, но пользоваться им нужно уверенно, энергично и смело, помня, что здесь для детей не забава, или, вернее, не только забава, но и полезнейший умственный труд.

Я затронул малый уголок этого огромного вопроса: каковы должны быть книги для детей? – и мы увидели, что обывательские мнения, высказываемые по этому поводу, не только ошибочны, но и чрезвычайно опасны. А между тем у нас все еще нет научно обоснованной критики детских книг. Кто в наших газетах, журналах и даже в специальных диссертациях чаще всего пишет, например, о стихах для детей?

– либо те, кто не понимают стихов,

– либо те, кто не понимают детей,

– либо те, кто не понимают ни стихов, ни детей.

Нужно ли говорить, что, едва я написал эту главу, я с особым интересом стал искать в зарубежной печати какие-нибудь статьи или книги, где была бы хоть отчасти затронута любопытная тема, которая трактуется здесь.

Лучшее из всего, что было найдено мною, – новая книга двух английских ученых, Айон и Питера Опи (Opie), вышедшая в Оксфорде в 1959 (и снова в 1960) году. Книга называется «Фольклор и язык школьников» – монументальная книга, целая энциклопедия детских считалок, загадок, дразнилок, потешек, примет, бытующих среди нынешних английских детей. Стихи-перевертыши занимают в этой книге почетное место.

Читая их, невольно удивляешься: до чего они похожи на наши русские стихи-перевертыши!

В них фигурируют те же слепцы, которые как ни в чем не бывало пришли поглядеть на какое-то зрелище; те же немые, кричащие кому-то «ура». Есть и глубокий подвал, куда необходимо спуститься, чтобы выглянуть в окно чердака. Есть и мешок, доверху наполненный сырами и все же пустой. Есть и полевые цветы, которые поют и чирикают. Есть и полночь среди ясного дня.

Иные из этих «нелепиц» существуют, по крайней мере, полтысячи лет, другие возникли недавно: в них идет речь об автомобилях, автобусах, телефонах, кино, но принцип их построения всегда одинаков, и все они принадлежат к тому же типу, что и любой из наших русских перевертышей:

Глядь – из-под собаки
Лают ворота.

И, конечно, когда я читал эту книгу, мне страстно хотелось узнать, чем же объясняют почтенные авторы многовековую тягу английских, русских, чешских, сербских, французских, немецких детей к этой словесной игре в перевертыши. К сожалению, в перевертышах ими почему-то усмотрена «подлинная природа английского остроумия» («of native English wit»), ибо, как утверждают они, «вполне естественно, что в стране, которая взлелеяла Эдварда Лира и Льюиза Керролла и которая видит в них национальных героев, ни один ребенок не может не хранить в своей памяти некоторого запаса стихотворных нелепиц»[121].

Никто не спорит: Льюиз Керролл и Эдвард Лир – истинные гении британского юмора, но силлогизм оксфордских ученых был бы правилен только тогда, если бы в обиходе детворы других стран не существовало таких же стихов-перевертышей. Даже из настоящей главы моей книги читателям нетрудно убедиться, что русский народ, обладающий своим собственным юмором, нисколько не похожим на английский, создал для своей детворы точно такие же стихи-перевертыши, как и те, что создал британский народ. Так что и Керролл и Лир здесь совсем ни при чем. И никакого касательства к этому жанру стихов не имеет общепризнанный юмор британцев.

Оксфордским ученым лишь потому было легко утвердиться в своем заблуждении, что, исследуя английский фольклор, они в данном случае предпочли игнорировать другие фольклоры.

Нет, тем-то и замечательны стихи-перевертыши, что, независимо от каких бы то ни было

[121] The Lore and Language of Schoolchildren, by Iona and Peter Opie. Oxford at the Clarendon Press, 1960.

качеств того или иного народа, дети всех стран на известном этапе своего духовного роста одинаково услаждаются ими, – причем не только заимствуют их из книжных и фольклорных источников, но и сами сочиняют их в несметном количестве, – подобно Жене Гвоздеву, Коле Шилову, Муре Чуковской, Сереже Фисулати и другим советским гражданам «от двух до пяти», которых я цитирую в настоящей главе.

В этом всемирном тяготении детей определенного возраста к «лепым нелепицам» – один из наиболее ярких примеров той автопедагогики, автодидактики, при помощи которой малолетние дети сами – независимо от своей принадлежности к тому или иному народу – формируют свое реалистическое постижение внешнего мира.

Английские ученые легко убедятся в этом, если параллельно с английским фольклором подвергнут исследованию перевертыши, считалки, потешки других в том числе и русских – детей.

Надеюсь, что это случится, ибо в других своих трудах, особенно в «Оксфордском словаре детских народных стишков» они обнаружили большие познания в области славянского устного творчества[122].

Глава пятая
КАК ДЕТИ СЛАГАЮТ СТИХИ

I. ВЛЕЧЕНИЕ К РИФМЕ

Среди многочисленных методов, при помощи которых ребенком усваивается общенародная речь, смысловая систематизация слов занимает не последнее место.

По представлению ребенка, многие слова живут парами; у каждого из этих слов есть двойник, чаще всего являющийся его антитезой. Узнав одно какое-нибудь слово, дети уже на третьем году жизни начинают отыскивать то, которое связано с ним по контрасту. При этом, конечно, возможны такие ошибки:

– Вчера была сырая погода.

– А разве сегодня вареная?

Или:

– Эта вода стоячая.

– А где же лежачая?

Или:

– Это – подмышки, а где же подкошки?

В подобных случаях дети хватаются не за ту антитезу, какая была им нужна, но сама по себе классификация слов по контрасту чрезвычайно плодотворна для более полного овладения речью.

Такие словесные пары, насколько я мог заметить, являются для ребенка не только двойниками по смыслу, но и в большинстве случаев – по звуку.

Четырехлетняя дочь домработницы Паша, когда ей приходилось говорить про желток и белок, произносила либо желток и белток, либо белок и желок.

Сахар у нее был кусковой и песковой.

И если я начинал рассказывать ей сказку с печальным концом, она предупреждала меня:

– Расскажи начало, а кончала не надо.

Слово «конец» превратилось у нее в «кончало», чтобы рифмоваться со словом «начало». Очевидно, в ее представлении понятия, параллельные по смыслу, должны быть параллельны и по звуку.

Всякий раз, подавая мне письма, принесенные на кухню почтальоном, она говорила:

– Две открытки, и одна закрытка.

– Три открытки, ни одной закрытки.

---

[122] The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes edited by Iona and Peter Opie, Oxford at the Clarendon Press, 1958, pp. 227, 263.

Во всех этих рифмах нет ничего преднамеренного. Просто они облегчают речь ребенка: «начало и кончало» ему легче сказать, чем «начало и конец»; «ложики и ножики» – гораздо легче, чем «ложки и ножики».

– Ты глухой, а я слухой.

– То тяжелее, а это легчее.

– Какая в небе глубочина, а у деревьев высочина.

– Вобла – это такая рыбла?

– Ты что мне принесла – игрушечное или кушечное? – спросила больная четырехлетняя девочка, когда мать явилась к ней в больницу с подарками.

– Ты будешь покупатель, а я продаватель.

– Не продаватель, а продавец.

– Ну хорошо: я буду продавец, а ты покупец.

Леночка Лозовская, играя с матерью в мяч, предложила:

– Ты бросай с высоты, а я с низоты.

Женщине, которая вымыла голову и уничтожила следы завивки, один киевский мальчик сказал:

– Вы вчера были курчавая, а сегодня торчавая.

Говорят четырехлетнему мальчику:

– Какой же ты лохматый и вихрастый.

Он сейчас же оснастил эту фразу двумя очень звонкими рифмами:

Я лохматый и вихратый,

Я вихрастый и лохмастый!

– Светик, нельзя кушать лёжа.

– Хорошо, я буду кушать сёжа.

Едва научившись читать, моя пятилетняя Мура увидела заглавие книги И.Е.Репина «Далекое близкое» и прочла: «Далёкое близёкое».

«Далёкое близёкое» понравилось ей, и она была огорчена, когда взрослые указали, что она ошибается, и отняли у нее таким образом рифму.

– На фестиваль съедется молодёжь… Но я не поеду…

– Значит, ты – стародёжь?

Эта особенность детской речи была в свое время подмечена Чеховым. В его повести «Три года» девочка, подчиняясь все той же своеобразной инерции, говорит про Авеля и Каина:

– Авель и Кавель[123].

Итак:

ножики – ложики,
желток – белток,
кусковой – песковой,
начало – кончало,
открытка – закрытка,
глухой – слухой,
далёкое – близёкое,
игрушечное – кушечное,
курчавая – торчавая,
молодёжь – стародёжь

всюду сказывается стремление ребенка рифмовать слова, принадлежащие к одной категории понятий, и таким образом систематизировать их либо по контрасту, либо по сходству. Лидочка, четырех с половиною лет, сама себе рассказывает сказку:

– Няня его нянчила, мама его мамчила.

И вот что сказала Ляля, когда какая-то девочка в купальне похитила мамины туфли:

– Она их примерякала и присебякала.

Иногда эти параллельные по смыслу слова сами собой образуют некоторое подобие стиха – особенно если их не два, а четыре. Именно такую параллель создала шестилетняя Варя Роговина,

[123] А.П.Чехов, Сочинения, т. 8, М. 1947, стр. 431.

впервые установив для себя, каково коренное отличие одних представителей военного дела от других.

Генералы – сухопутные,

Адмиралы – мокропутные,

сказала она и, уловив в этой фразе нечаянный стих, стала повторять ее (с небольшим вариантом):

Генералы – сухопутные,

Адмиралы – водопутные.

Н.А.Менчинская рассказывает в дневнике о своем сыне, трех с половиною лет, воспроизводя по памяти двустишие:

У меня для Петеньки

Леденцы в пакетике,

мальчик произнес это двустишие так:

У меня для Петеньки

Леденцы в пакетеньке.

То есть из приблизительного рифмоида сделал точную рифму[124].

Вася Катанян, пяти с половиною лет, произнося слово «столик», часто прибавлял молик-полик. Стульчик у него был стульчик-мульчик. Самого себя он называл Вася-Тарася, бабушку – бабушка-колабушка и проч.

Сын Гвоздева – правда, на седьмом году жизни – создал такое чудесное сочетание рифмованных слов: дятел-долбятел[125].

В какой-то мере это свойственно и взрослым, о чем свидетельствуют такие неразрывные сочетания слов, как чудо-юдо, мальчик с пальчик, тары-бары, шуры-муры, фигли-мигли и проч.

Дети тяготеют к этим «двустворчатым» словам гораздо сильнее, чем взрослые. Игорь, трех лет семи месяцев:

– Папа, а будут сегодня передавать по телевизору мульти-пульти?

Это звонкое мульти-пульти куда привлекательнее для детского слуха, чем вялая и тягучая мультипликация.

Вообще всякая рифма доставляет ребенку особую радость.

Когда она случайно подвернется ему в разговоре, он играет ею, твердит ее несколько раз, использует ее для импровизированной песни.

– Куда ты положил мыло? – спрашивает у мальчика мать.

Он отвечает без всяких покушений на рифму:

– А вон туда, где вода.

И, лишь сказав эти слова, замечает, что в них промелькнуло созвучие. И мгновенно начинает распевать:

Вон туда,
Где вода.
Вон туда,
Где вода.

Дети изумительно чутки к тем случайным и непреднамеренным рифмам, какие возникают порою в нашей прозаической речи.

Мать посылает пятилетнюю Веру на кухню:

– Пойди скажи няне: няня, мама разрешила дать мне чаю с молоком.

Вера сразу уловила здесь ритм, свой излюбленный четырехстопный хорей, и, вбежав на кухню, закричала:

Няня, мама разрешила

---

[124] Н.А.Менчинская, Дневник о развитии ребенка, М.-Л. 1948, стр. 123.

[125] А.Н.Гвоздев, Вопросы изучения детской речи, М. 1961, стр. 327.

Дать мне чаю с молоком,
А теперь зовут ребята
Дядю Степу маяком!

То есть к первому двустишию пристегнула две строки из «Дяди Степы» Сергея Михалкова, причем это вышло без всякой натуги, неожиданно для нее самой.

У Сергея Михалкова есть прелестное стихотворение «Всадник». В нем отчетливый ритм и звонкие рифмы. Но последняя строка по прихоти автора написана неожиданной прозой. Стихотворение кончается так:

Я в канаву не хочу,
Но приходится
Лечу.
Не схватился я за гриву,
А схватился за крапиву.
– Отойдите от меня,
Я не сяду больше на эту лошадь.

Дети, повышенно чуткие к поэтической форме, возмущаются таким разрушением ритма и отсутствием ожидаемой рифмы. Сплошь и рядом они не только отвергают прозаический текст, но тут же придумывают свою собственную стихотворную строку, которая подсказана им всей структурой предыдущих стихов. Мне пишут о пятилетней Ниночке, которая, услышав концовку «Всадника», с возмущением сказала:

– Неправда. Ты неверно читаешь. Надо сказать:

– Отойдите от меня,

Я не сяду на коня.

Почти все дети, которым в виде опыта я читал эти стихи Михалкова, реагировали на них точно так же. Нужно ли говорить, что именно на такую реакцию и рассчитывал Сергей Михалков.

II. СТИХОВЫЕ ПОДХВАТЫ

Влечение к рифмованным звукам присуще в той или иной степени всем детям от двух до пяти: все они с удовольствием – можно даже сказать, с упоением – предаются длительным играм в созвучия. Трехлетняя Галя говорит, например, своей матери:

– Мама, скажи: Галюнчик.

Мама говорит:

– Галюнчик.

Галя рифмует:

– Мамунчик.

Тогда мать говорит:

– Галюха.

А Галя:

– Мамуха.

Мать:

– Галушка.

А Галя:

– Мамушка.

Мать:

– Галище:

Галя:

– Мамище.

Мать:

– Галубуха.

Галя:

– Мамумуха.

И так далее. Иногда эта рифмовая гимнастика длится десять – пятнадцать минут. Девочке она очень нравится, так как, очевидно, удовлетворяет насущной потребности ребячьего мозга. «Когда моя изобретательность кончается, – пишет мне Галина мать, – я перехожу на другое слово и говорю: Телефон. Галя говорит: Барматон. – Телефонище. – Барматонище и т. д.».

Аналогичная запись у Ф.Вигдоровой:

«Я говорю: Сашуля.

Саша отвечает: Мамуля.

Я. Сашок.

Саша. Мамок.

Я. Сашенция.

Саша. Маменция, Марктвонция».

Замечательно, что каждому из этих рифмованных отзвуков ребенок всякий раз придает тот же ритм, какой он улавливает в только что услышанной фразе. Четырехлетняя Мурка мчалась на воображаемом коне и кричала:

Надо бить
Коня сильнее,
Чтобы вез
Меня быстрее!

А Лёня (немного постарше) тотчас же откликнулся четырехстопным хореем:

Чем быстрее,
Тем плохее!
Чем быстрее,
Тем плохее!

М.Л.Чудинова, воспитательница детского сада Фрунзенского района Москвы, сообщает:

«В старшей группе есть своеобразная игра: кто-либо из детей предлагает: „Давайте смешиться“, и несколько человек начинают подбирать рифмы: „Мальчики – стаканчики“, „Девочки – тарелочки“, „Левочка веревочка“, или просто придумывают бессмысленные сочетания слов, вроде „сундук-кундук-пундук“, и чем бессмысленнее слово, тем дети громче хохочут»[126].

Недавно в журнале «Семья и школа» появилась статья М.Микулинской «Как мы развиваем мышление и речь сына», там говорится о том же:

«Славик не только знает много стихов, но и сам пробует „сочинять“ их. Хотя его творчество еще весьма примитивно, все же в нем явно заметны чувства ритма и рифмы. Часто Славик спрашивает: „А так подходит?“ – и произносит рифмованные слова или строчки („грелка – тарелка“, „хорошо кушать – маму слушать“ и др.). Иногда же под рифму он подбирает бессмысленный набор звуков и спрашивает:

– А так подходит: ложка – барабошка, стол – балол, попугай – дугагай?

Я объясняю, что хотя и подходит, но таких слов: „барабошка“, „дугагай“ и „балол“ – в русском языке нет. Славик явно огорчен.

– А как же тогда? – чуть не со слезами спрашивает он.

Я подсказываю: „ложка – ножка“, „попутан – угадай“, „стол – козел“. Лицо ребенка озаряет счастливая улыбка, он шепчет услышанные рифмы, стараясь их запомнить. Теперь он все реже произносит бессмысленные рифмы, а когда и произносит, сам смеется, зная, что говорит глупости»[127].

Такие подхваты созвучий – всегда диалоги. Но нередко случается наблюдать одинокое самоуслаждение рифмами, когда ребенок изобретает созвучия без всяких партнеров. Л.Пожарицкая сообщила мне такой монолог пятилетнего Вовы:

Это разве ложка?
Это просто кошка.

---

[126] М.Л.Чудинова, Русские народные загадки, пословицы, поговорки. Сборник «Воспитатели детских домов о своей работе», М. 1948, стр. 292.

[127] «Семья и школа», 1955, № 11, стр. 8.

Это разве печка?
Это просто свечка…

И так далее – очень долго – в том же роде.

И вот что сделала, например, со словом «молоко» Танечка Зенкевич, трех с половиною лет, когда ей понадобилось ввести его в стих:

Том, Том, Том…
Ешу кашу с молоком.
Томи, Томи, Томи…
Ешу кашу с молокоми.

Четырехлетняя Светлана Гриншпун выкрикивала при прощании с матерью:

До свиданья, будь здорова,
Пионерчатое слово!

Она почувствовала, что, если скажет «пионерское», ритм у нее выйдет хромой, и для спасения ритма в одну секунду изобрела «пионерчатое».

Эдда Кузьмина, четырех с половиною лет, пела стихи Маршака:

Мой веселый звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь?

Потом переделала первую строку на свой лад и мгновенно почувствовала, что вследствие трансформации первой строки нужно переделать и вторую. Таким образом, у нее получилось:

Мой веселый звонкий мячик,
Ты куда помчался вскачик?
Трехлетняя Ната Левина:
Кот под деревом сидит,
Кашу манную едит.
И еще:
Ах, папулька-катапулька,
Ты вставаешь или нет?

Вставаешь – опять-таки жертва стихотворному ритму, так как девочка к этому времени в совершенстве усвоила форму встаешь.

Бойкий и смышленый Валерик, воспитывающийся в одном из детских садов Ленинграда, обладает способностью говорить наподобие раешника «в рифму», и замечательно, каким радостным смехом окружающая его детвора встречает чуть не каждую рифму, которой он щеголяет в разговоре.

Это очень верно отмечено в записках воспитательницы О.Н.Колумбилой.

«Дети, – записала она, – играют в фанты, и Гарик спрашивает Валерика:

– Что же хочешь ты купить?

Валерик. Хочу купить мишке тапы и надеть ему на лапы. (Дети, наблюдавшие за ходом игры, смеются.)

Гарик. Тапы – так не говорят, надо сказать: тапочки, тапки или туфли, сандалии.

Валерик. Хорошо. Покупаю мишке тапочки и надеваю ему на лапочки. (Дети снова смеются.)

Смех повторяется снова, когда Валерик по ходу игры говорит:

А еще хочу купить машину

И посадить мишку в кабину[128].»

Подобных примеров можно привести очень много, ибо коллективам детей рифма еще более мила, чем тому или иному ребенку в отдельности.

Годовалые дети – те, кого прежде называли младенцами, – пользуются рифмой не для игры, не для украшения речи, но исключительно для ее облегчения.

При неразвитом голосовом аппарате младенцу значительно легче произносить схожие звуки, чем разные. Легче, например, сказать «покочи ночи», чем «покойной ночи». Оттого – чем меньше ребенок, чем хуже владеет он речью, тем сильнее его тяготение к рифме.

Это звучит парадоксом, но это подтверждается огромным количеством фактов.

Когда перебираешь дневники матерей и отцов, записывающих речи младенцев, убеждаешься, что это именно так. В дневниках непременно наталкиваешься на такую приблизительно запись через год или полтора после рождения ребенка:

«Без умолку болтает всякий рифмованный вздор… Целыми часами твердит какие-то нелепые созвучия, не имеющие смысла: аля, валя, даля, маля».

Когда Коле Шилову было тринадцать месяцев, его мать записала о нем в дневнике:

«…Любит рифму. Говорит: маим, паим, баим».

И через полтора месяца опять:

…«Говорит какое-то пана, папана, амана, бабана…»

И еще через два месяца:

«…Выдумал ряд слов с одинаковыми окончаниями: манька, банька, панька. Или: небальча, вальча, мальча, тальча. Или: папти, бапти…»

«…Иногда старается говорить в рифму: бабка, тяпка…»

«…Подбирает иногда рифму и, которая ему нравится, повторяет много раз: базя – мазя, баня – маня и т. д.».

«…Когда расшалится, говорит в рифму ничего не значащие слова»[129].

Виноградова записала о своей трехлетней Ирине:

«Последние дни стала петь песенки без слов, случайный подбор слогов, которые только взбредут в голову»[130].

Рыбникова о своем двухлетнем Аде:

«Подолгу болтает набор слов: ванька, ганька, манька»[131].

В моем дневнике о двухлетней Мурке:

«Каждый день приходит ко мне, садится на чемодан и, раскачиваясь, начинает рифмовать нараспев:

Кунда, мунда, карамунда,
Дунда, бунда, парамун.

Это продолжается около часа».

Таких цитат можно привести без конца.

Рифмотворство в двухлетнем возрасте – неизбежный этап нашего языкового развития.

Ненормальны или больны те младенцы, которые не проделывают таких языковых экзерсисов.

Это именно экзерсисы, и трудно придумать более рациональную систему упражнения в фонетике, чем такое многократное повторение всевозможных звуковых вариаций.

Путем величайших (хотя и незаметных) усилий ребенок к двухлетнему возрасту овладел

---

[128] «Дошкольное воспитание», 1955, № 4, стр. 20.

[129] В.А.Рыбникова-Шилова, Мой дневник, Орел, 1923, стр. 58, 76, 84, 98, 118, 120. Запись на стр. 84, кажется, искажена опечатками. Я восстанавливаю ее наугад.

[130] Цитирую по книге Н.А.Рыбников, Словарь русского ребенка, М.-Л. 1928, стр. 56.

[131] Цитирую по книге Н.А.Рыбников, Словарь русского ребенка, М.-Л. 1928, стр. 72.

почти всеми звуками своего родного языка, но эти звуки все еще туго даются ему, и вот для того, чтобы научиться управлять ими по своей воле, он произносит их снова и снова, причем ради экономии сил (конечно, не сознавая этого) в каждом новом звукосочетании изменяет один только звук, и все остальные сохраняет нетронутыми, отчего и получается рифма.

Таким образом, рифма есть, так сказать, побочный продукт этой неутомимой работы ребенка над своим голосовым аппаратом, и продукт чрезвычайно полезный: благодаря ему тяжелая работа ощущается ребенком как игра.

Но не следует думать, что рифмованные «свисты и щебеты» двухлетних детей есть самая первоначальная форма детского стихотворства. Нет, еще раньше, еще в колыбели, еще не научась говорить, ребенок восьми или девяти месяцев уже услаждается ритмическим лепетом, многократно повторяя какой-нибудь полюбившийся звук.

Не об этом ли младенческом лепете мы читаем в стихах Бориса Пастернака:

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут – а слова
Являются о третьем годе…
Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря,
Так будут начинаться ямбы,
Так начинают жить стихом.

В стихи Пастернака, мне кажется, необходимо внести небольшой корректив. В них сказано, будто дети только «года в два от мамки рвутся в тьму мелодий». Между тем это происходит значительно раньше. Правильнее было бы сказать:

Так начинают жизнь стихом,

потому что в начале жизни мы все – стихотворцы и лишь потом постепенно научаемся говорить прозой.

Самой структурой своего лепета младенцы предрасположены и, так сказать, принуждены к стихотворству. Уже слово «мама» по симметричному расположению звуков есть как бы прообраз рифмы. Огромное большинство детских слов построено именно по этому принципу: бо-бо, бай-бай, ку-ку, па-па, дя-дя, ба-ба, ня-ня и т. д., у всех у них такая двойная конструкция, причем вторая часть каждого слова является точным повторением первой. Эти звукосочетания заимствованы взрослыми из детского лепета и, получив от взрослых определенный смысл, снова предоставлены детям, но вначале для каждого ребенка это были просто самоцельные звуки, многократное произнесение которых доставляло ему бескорыстную радость[132].

Замечательно, что в этих экзерсисах преобладает женская рифма. Почти семьдесят процентов изученных мною рифмованных слов, произносимых детьми до двухлетнего возраста, имеют ударение на втором слоге от конца. Дактилические окончания почти никогда не встречаются. Дочь моя Мура на третьем году своей жизни начала упиваться такими созвучиями:

Биля, биля, унага, унаваляя.

Биля, биля, унага, унаваляя.

Раньше этого возраста дактилические окончания были ей недоступны.

А дактилические рифмы приходят к ребенку еще позднее. Лишь в четырехлетнем возрасте Саша Менчинский мог сообщить своей матери:

«– Мама, я придумал рифму: „Каретно-Садовая – здоровая“[133].

Но сейчас я говорю не о стихах, а исключительно о рифмованных звуках. Зачатки этих зву-

[132] Когда, например, девятимесячный Коля Шилов стал бессмысленно повторять слово «мама» – без всякого отношения к кому бы то ни было, – его бабушка помогла ему осмыслить это слово, указывая всякий раз на маму. «Но, – читаем в дневнике его матери, – как ни учит его бабушка, где мама, он пока еще не знает… и, как попугай, твердит „мама“ (В.А.Рыбникова-Шилова, Мой дневник, Орел, 1923, стр. 43).»

[133] Н.А.Менчинская, Развитие психики ребенка. Дневник матери, М. 1957, стр. 134.

ков наблюдаются уже в младенческом лепете. О них есть последовательная запись у Павловой: когда ее Адику было семь месяцев и одиннадцать дней, он стал повторять много раз: гра-гра-ба-ба-ба… Через пять дней он затянул: аб-лям-лям-ба… Еще через две недели тянет без перерыва: дай-дай-пр-пр-пр… На двенадцатом месяце он уже организовал эти звуки в хорей:

Мама-ма,

Мама-ма!

Через три недели у него появились и другие хореи: например, ня-ня-ня. Из этого материала на втором году жизни у него создалось много двухсложных слов, уже санкционированных взрослыми, например: ки-ки – кошка, тук-тук пароход, цо-цо – извозчик, ням-ням – еда, там-там – музыка и т. д.[134].»

Каждое такое «ням-ням» является по существу прарифмой. Таким образом, уже в лепоте семимесячных детей можно заметить зачатки рифмованной речи.

Сперва, как мы видели, рифма возникает у детей поневоле: такова структура их лепета. Без созвучий они не могут обойтись. «Батя, ватя, матя, сатя» – это просто легче сказать, так как в каждом из этих слов изменяется лишь один-единственный звук, прочие же можно повторять по инерции.

Но именно поэтому «батя» и «ватя» не являют собою стиха, ибо подлинный стих начинается там, где кончается автоматическое произнесение звуков и начинается смысл.

III. ПА и МА

Эмбрионом такой осмысленной рифмы необходимо, как мне кажется, считать одну неразрывную пару младенческих слов, которая неизбежно возникает в сознании ребенка, растущего в нормальной семье. Я говорю о звуках па и ма.

«Папа» и «мама» – эти два слова являются для ребенка как бы прообразом всех дуализмов и всех симметрии. Прежде чем человеческий детеныш узнает, что в мире есть ночь и день, огонь и вода, белое и черное, низ и верх, смерть и жизнь, он воочию видит, что мир разделен на две части – на папу и маму.

Двухлетний Юрик, желая взобраться на диван, всегда обращается к своей матери с просьбой:

– Мамочка, мамоги.

И к отцу:

– Папочка, папоги.

Ребенок считает законом, чтобы все подобные слова были парными, чтобы всякому звуку па, входящему в состав любого слова, непременно соответствовал звук ма. Одно без другого немыслимо. Когда какая-то женщина сказала при Лиле, что у нее есть мама и мачеха, Лиля спросила:

– Значит, и папа и пачеха.

Если мачеха – значит, и пачеха. Тут привычная перекличка двух звуков, крепко объединенных в уме у ребенка.

Увидев заросли папоротника в дачном лесу, Володя оглянулся и спросил:

– А где же маморотник?

И сколько я видел детей, которые, узнав, что на свете существуют картонные папки, через несколько дней именуют их мамками.

Как широко распространена среди малых детей, в возрасте от двух до пяти, эта перекличка двух родственных звуков, показывает хотя бы такой эпизод.

Лет сорок тому назад я в ленинградском музее показывал моей маленькой дочери чучело мамонта.

Она взглянула на него и сейчас же спросила:

– А где же папонт?

И вот в 1954 году я получаю такое письмо от московского лингвиста профессора

[134] А.Д.Павлова, Дневник матери. Записки о развитии ребенка от рождения до шести с половиною лет, М. 1924, стр. 27–59.

А.Н.Робинсона:

«Когда Вале было около семи лет, а Мише около трех, я повел их в университетский Зоологический музей.

– Смотрите, это мамонты, – сказал я.

– А папонты где? – спросил малыш».

Проходит еще несколько лет, и в апреле 1957 года житель Нижнего Тагила инженер Е.Мосар сообщает мне снова о том же.

«Сережа Левелецкий четырех лет, – пишет он, – сын моего коллеги по работе, увидел в журнале картинку с изображением мамонта.

– Мамочка, – спросил он, – а мамонты теперь бывают?

– Нет, деточка, мамонтов давно уже нет.

Сережа задумался.

– А папонты есть?»

Как бы ни были различны эти дети, наблюдаемые в разное время и в разных местах, характерна одинаковость их своеобразных речений. Тем-то, повторяю, и замечателен детский язык, что чуть ли не каждое новое слово, «изобретенное» ребенком у нас на глазах, «изобретается» снова и снова другими детьми, в другую эпоху, при других обстоятельствах. Ибо законы языкового мышления у всех русских детей одинаковы и вследствие этого не могут не приводить к одним и тем же формациям слов. В каждой сотне писем, полученных мною из разных концов страны, найдется не меньше тридцати (а порою и больше!), где, как некую новинку, мне сообщают слова, которые давно уже вошли в эту книгу и теперь «изобретаются» снова новым поколением детей. К числу этих слов, как мы видим, принадлежит и папонт, возникший из мамонта, благодаря тому, что в уме миллионов ребят с первых же месяцев жизни установлена крепкая связь между звуками ма и па.

Известный юрист Анатолий Федорович Кони рассказывал мне, что в восьмидесятых годах, когда среди адвокатов вошло в моду ссылаться на психопатизм преступников, курьер суда выразился про какую-то барыню, будто она психоматка.

Здесь та же перекличка ма и па, та же простодушная уверенность, что па относится только к мужчинам, а женщинам должно быть присвоено ма.

IV. ПЕРВЫЕ СТИХИ

Типичность этого явления несомненна. Едва ли существует ребенок, речевое развитие которого обошлось бы уже в этот ранний период без парных чаще всего рифмованных – звуков и слов: высочина – глубочина, нянчила мамчила и т. д.

Впервые я заметил это у себя в семье. Помню, сын мой четырехлетним мальчишкой бегал по саду и как безумный выкрикивал:

Я-а больше тебя,
А ты меньше комара!

Это он сочинил про сестру, но сестра уже давно убежала, а он – таковы поэты – все еще носился в пространстве, один, ничего не видя, не слыша, и по-шамански кричал:

Я-а больше тебя,
А ты меньше комара!

Кружился, оглушенный своим собственным криком. И вдруг, словно из-за тысячи верст, до него донеслось:

– Обедать!

Его повели к умывальнику, потом усадили за стол, но в крови у него еще не утихомирились ритмы недавних прыжков, и он, скандируя ложкой, воскликнул:

Дайте, дайте, дайте мне
Ка-артофельно пюре!

Ибо, только прыгая и махая руками, ребенок может создавать свои вирши. Прицепив к по-

ясу тряпку, тот же мальчик бегал из комнаты в комнату и, хлопая в ладоши, заливался:

Я головастик,
Вот мой хвостик!
И опять:
Я головастик,
Вот мой хвостик!

И опять, и опять, и опять. Уже по самому кадансу стихов ощущаешь, что автор их прыгал, подскакивая и топал ногами. Здесь первое условие его творчества.

Вообще стихотворения детей в возрасте от двух до пяти всегда возникают во время прыжков и подскакиваний. Если ты пускаешь мыльные пузыри, тебе естественно прыгать с соломинкой возле каждого пузыря и кричать:

Как высоко! Ай, ай, ай!

А если играешь в пятнашки, тебе нельзя не выкрикивать:

Как могу, так и бью!
Как могу, так и бью!

И не раз и не два, а раз десять – пятнадцать подряд. Здесь вторая особенность этих детских стихов: их выкрикивают множество раз.

Поэтому они такие короткие: две строки – длиннее нельзя. И в этом их третья особенность. С каждым новым прыжком все стихотворение повторяется снова. Оно может быть даже в одну строку, лишь бы повторялось многократно. Тот же мальчик, заткнув себе уши, кружился на месте, выкрикивая:

Как я желто говорю!
Как я желто говорю!
Как я желто говорю!

покуда физически не устал. Кончилось прыганье – кончилось творчество.

Детское стихотворство – признак избытка играющих сил. Оно – явление того же порядка, как кувыркание или махание руками. Печальный, хилый или сонный ребенок не создаст ни одного стиха. Для того чтобы стать поэтом, младенцу нужно испытывать то, что называется «телячьим восторгом». Ранней весной на зеленой траве, когда дети шалеют от ветра и солнца, им случается по целым часам изливать свою экзальтацию в стихах. Как всякие стихи, порожденные экзальтированной пляской, эти стихи часто бывают бессмысленными, ибо исполняют главным образом функцию музыки:

Уманяу, Уманяу,
Уманяу, Уманя!
Эндепдине, бететон.
Эндендине, бететон!
Горбонове реткос!
Горбонове реткос!*

---

* Цитирую по книге Е.Ю.Шабад «Живое детское слово». Из работ первой опытной станции Наркомпроса, М. 1924, стр. 69.

Множество детских заумных стихов я записал в свое время для поэта Велемира Хлебникова.

О тяготении маленьких детей к звуковым арабескам, имеющим чисто орнаментальный характер, я впервые узнал из биографии Пушкина. У его приятеля Дельвига был брат, семилетний

Ваня, которого Дельвиг называл почему-то романтиком. Услыхав, что Ваня уже сочиняет стихи, Пушкин пожелал познакомиться с ним, и маленький поэт, не конфузясь, внятно произнес, положив обе руки в руки Пушкина:

Индиянда, Индиянда, Индия!
Индияди, Индияди, Индия!

Александр Сергеевич, погладив поэта по голове, поцеловал его и сказал:
– Он точно романтик…[135]

Часто бывает так, что сочиненные ребенком стихи вначале исполнены самого четкого смысла, но потом под влиянием игры этот смысл понемногу выветривается и стихи незаметно для автора становятся заумными глоссами.

Однажды на даче у меня под окном появился незнакомый мальчишка, который закричал в упоении, показывая мне камышинку:

Эку пику дядя дал!
Эку пику дядя дал!

Ко, очевидно, его восторг выходил далеко за пределы человеческих слов, потому через несколько минут та же песня зазвучала у него по-другому:

Экикики диди да!
Экикики диди да!

Из «экой пики» стало «экикики», из «дядя дал» – «диди да».

Случай чрезвычайно выразительный, но, к сожалению, в то время, когда мне привелось услыхать эту песню, я неправильно истолковал трансформацию, которой подверг ее поющий ребенок. Мне почудилось, будто ребенок «освободил свою песню от смысла, как от лишнего груза». Я так и написал в своей книжке, и лишь позднейшие наблюдения убедили меня, что у детей никогда не бывает нарочитого стремления к бессмыслице. Как мы уже видели, дети, напротив, стремятся во что бы то ни стало осмыслить каждое услышанное слово, превращая «экскаватор» в «песковатор» и «вазелин» в «мазелин». В данном случае ребенок освободил свою песню совсем не от смысла, а от затруднительных звуков. Произнести «киники» легче уже потому, что все три согласные здесь совершенно тождественны. В сущности, таковы же и гласные, ибо, если фонетически записать это слово, получится, конечно, «икикики», где одни и те же согласные чередуются с одними и теми же гласными. Все дело здесь в облегченной фонетике. Характерно, что и во втором варианте ритмика стиха осталась та же.

Но, конечно, нельзя умолчать и о том, что дети в иные минуты тешат себя «сладкими звуками» и упиваются стихами, как музыкой, даже не вникая в их смысл.

Это бывает чуть не с каждым ребенком, о чем свидетельствуют все дневники матерей и отцов, где, как мы только что видели, регистрируются всевозможные «мунды-карамунды» и «вальчи-небальчи», в изобилии творимые детьми преддошкольного возраста.

Этой склонности малых ребят упиваться звонкими созвучиями вполне соответствуют многие детские песни в русском, сербском, чешском, грузинском, шведском, финском, английском фольклоре.

Чтобы не загромождать свою книгу десятками многоязычных цитат, ограничусь лишь английским фольклором, где бытуют, например, такие стихи, чрезвычайно популярные в детской среде:

Heetum, peelum, penny, pie,
Pop a lorie, jinkie jye!
Хитэм, питэм, пенни, пай,

[135] А.П.Керн, Воспоминания, Л. 1929, стр. 288.

Поп э лори, дшинки джай!

Или:

Eena, meena, mina, mo,
Bassa, lena, lina, lo!
Инэ, минэ, майнэ, мо,
Бэссэ, линэ, лайнэ, ло!

В кропотливом исследовании английского ученого Генри Бетта я прочел об историческом происхождения этих заумных стихов.

Оказывается, что когда-то они были далеко не заумными. Они были исполнены самого ясного смысла в языке тех древних кельтов, которые владели Британией задолго до Цезаря[136]. Но кельты исчезли, их язык позабыт. Теперь стихи эти не значат ничего. Английским детям они дороги своим ритмом, своим музыкальным звучанием, подобно тому как для русских детей из поколения в поколение сохраняют свою привлекательность песни с такими зачинами:

Тень, тень, потетень…
Постригули, помигули…
Коля, моля, селенга…
Перя, еря, суха, рюха…
Цыкень, выкень…
Колень-молень…

и т. д.

И пусть теперь филологи доискиваются, что значило в старину перя, еря; мы знаем, что для русских детей уже около полутысячи лет оно не значит ровно ничего и что именно в таком забвении смысла (если только был этот смысл!) заключается многовековая привлекательность подобных стихов для каждого нового поколения детей.

До какой степени ритм и рифма бывают для многих детей важнее, чем смысл стихов, я убедился, наблюдая свою четырехлетнюю дочь на горячих сестрорецких песках. Она деятельно разыгрывала сама для себя какую-то бесконечную сказку о зайцах. Она была зайчиха, и у нее было десять зайчат. Игра так захватила ее, что вскоре она заговорила стихами. Я не слишком прислушивался к этим стихам, но вдруг меня поразили слова:

Шибко зайчик побежал,
А за ним бежит Журнал.

– Журнал? – спросил я. – Почему же журнал?

Она была застигнута врасплох, покраснела, но через минуту нашлась:

– Неужели ты не понимаешь? Журнал – это зайчик такой… Он читал журналы, журналы, журналы, вот его и прозвали Журнал.

Так была придумана – задним числом – логическая мотивировка для явно бессмысленной рифмы, не имевшей вначале никакого отношения к сюжету. Самому ребенку эта мотивировка была не нужна, он отлично обходился без нее. Когда же ему пришлось призадуматься, чтобы найти ее для непонимающих взрослых, он утратил и ритм игры, и аппетит к стихотворству.

Повторяя свой импровизированный стих, дети могут деформировать слово, но ни при каких обстоятельствах не нарушат напева, который для них есть первооснова стиха. Когда мальчик закричал за столом:

Дайте, дайте, дайте мне

[136] Nursery Rhymes and Tales, their Origin and History by Henry Bett. Генри Бетт, Детские стихи и сказки. Их происхождение и история, 1924, стр. 58.

Ка-артофельно пюре!

он достиг безукоризненного ритма путем решительной расправы со словом «картофельное»: удвоил его первый звук и совсем уничтожил последний.

С неменьшей решительностью деформировала слова своей песни трехлетняя Аня – в угоду тому же полновластному ритму. Анина мать лежала в постели и кормила грудью новорожденного, которого только что привезла из родильного дома. Аня прыгала вокруг своего нового брата и выкрикивала в бурном восторге:

Мама с мальчиком лежит
И грудой его кормит!
Мама с мальчиком лежит
И грудой его кормит!

«Грудой» и «кормит» – жертвы ритму. Через час девочка сама объяснила отцу:

– Надо бы «грудью»… но «грудой» – чтобы было складнее.

Дерзко, без дальних раздумий, маленькие дети ломают любую словесную форму, лишь бы только обеспечить победу своему любимому ритму (а также порою и рифме).

Наточка Вернандер, двух с половиною лет, выкрикнула как-то такие стихи:

Плывут уточка с гусем
На раздутых парусём.

Произнеся это двустишие, она тотчас же заметила, что ею нарушены какие-то важные нормы, и стала объяснять подобно Ане:

– «Парусём» – это чтобы было красиво.

Трехлетняя Лена раскрашивала картинки и повторяла ритмически:

Красный дом
Из солом.
Красный дом
Из солом.

Двое детей были посланы к дачным соседям за газетами. Девочка вернулась с охапкой «Известий», а мальчик вбежал в комнату с пустыми руками, победоносно крича:

Я не та-ак волоку.
Я в галопию скаку!
Я не та-ак волоку.
Я в галопию скаку!

Слово «галоп» было отлично известно ему. Но ради стихотворного размера он незаметно для себя создал на бегу слово галопия, благодаря чему у него получился совершенно правильный хорей. Так велико у ребят чисто мышечное ощущение стиха. От движения – к звуку, от звука – к слову, – вот истинный путь «экикик».

Таким же стремлением к ритму объясняется то усечение, которому подверглось слово кошка в детских стихах, обращенных шестилетней поэтессой к собаке:

Джойка, Джойка, ты малыш,
Ты гоняешь кош и мышь.

«Грудой», «галопия», «ка-артофельно», «кош», «кормит» – дети охотно подвергнут такой деформации любое слово, нарушающее ритм.

Папа уезжает в командировку.

Четырехлетний Леня удивлен:

– Так папа у нас командир?!

И мальчик мгновенно изобретает двустишие:

А мой папа командир,
В командирку укатил.

Мать поправляет его:

– Не в командирку, а в командировку.

Он пробует ввести в свою песню это длинное слово, но оно разрушает ее, и потому через минуту он снова поет: «в командирку». Так велико у него чувство ритма, что, как и всякий поющий ребенок, он предпочитает исказить форму слова, лишь бы сохранить в неприкосновенности ритм (сообщено его матерью А.С.Мазаевой).

Каков же ритм всех этих детских экспромтов, вызванных пляской и прыганьем?

Сколько ни доводилось мне слышать подобных стишков, во всех один и тот же ритм: хорей.

Почему это так, я не знаю.

Может быть, потому, что дети всего мира прыгают и пляшут хореем; может быть, потому, что еще грудным, бессловесным младенцам все матери внушают этот ритм, когда качают и подбрасывают их, когда хлопают перед ними в ладоши и даже когда баюкают их (так как «баю-баюшки-баю» есть хорей), – но, как бы то ни было, это почти единственный ритм радостных детских стихов. Хорей, который порою сопряжен с анапестом.

Лучшие детские народные песни (такого же плясового склада) имеют в огромном своем большинстве тот же единственный ритм.

Возьмите наиболее характерные песни из тех, которые собраны Шейном в московских, тульских и рязанских деревнях, и сравните их с английскими Nursery Rhymes. Всюду на первое место выступит тот же хорей:

Тюшки, тюшки, тюшки!
На горе пичужки…
Ай дуду, дуду, дуду!
Сидит ворон на дубу…
Три-та-та, три-та-та!
Вышла кошка за кота…
Дон, дон, дон!
Загорелся кошкин дом…
А чучу, чучу, чучу!
Я горошек молочу…
А тари, тари, тари!
Куплю Лиде янтари…
Тенти, бренти! Сам сокол
Через поле перешел…
Куба, куба, кубака,
Тама яма глубока…[137]
Хитэм, питэм, пенни, пай,
Поп э лори, джинки джай!
Инэ, минэ, майнэ, мо,
Бэссэ, линэ, лайнэ, ло!

Все эти разнообразные отрывки излюбленных детских стишков, созданных в разные века в разных концах Европы, как бы сливаются в одно стихотворение до того они схожи между собой, однородны и по расположению слов, и по ритму.

Я нарочно выбрал такие из них, повышенная эмоциональность которых не вызывает со-

[137] Русские народные песни, собранные П.В.Шейном, М. 1870, стр. 9, 14, 17, 40, 58 и др.

мнений, так как сказывается в структуре стиха: каждое стихотворение начинается какой-нибудь тарабарской запевкой, имеющей характер междометия, выкрикиваемого по нескольку раз: тенти-бренти, дон-дон-дон, ай дуду-дуду-дуду, а чучу-чучу-чучу и т. п. В этих междометиях ярче всего выражается плясовая сущность народной поэзии для детей. Тут топот ног, тут вскидывание рук, тут опьянение звуками – воистину дети всего мира – одна сплошная секта прыгунов.

Недаром так неистово кричала орава детей, прыгая вокруг большого стола:

Ситцевый галопа!
Скачет вся Европа.
Ситцевый галопа!
Скачет вся Европа.

Это тот самый «галопа», который у всякого здорового ребенка так часто реализуется в стих:

Я не та-ак волоку,
Я в галопию скаку!

Об этом «галопе» одна мать (Инна Клевенская) сообщила мне из города Калинина такой эпизод:

«Мой сын Павел вбежал ко мне с сияющими глазами, держа в руке растение сурепку, и закричал в восторге:

– Мама, эта травка – арбикой?

Затем – он впереди, а дети за ним – помчались в галоп вокруг комнаты, распевая дико, но вдохновенно:

Эта травка – арбикой!
Эта травка – арбикой…»

Здесь обнаруживается с особенной ясностью общественный характер «экикик». Они прилипчивы. Они заразительны. Стоит одному из детей выкрикнуть какое-либо ритмическое сочетание звуков, эти звуки мгновенно подхватываются всеми другими детьми, и, таким образом, личное творчество поэта-ребенка становится хоровым, коллективным.

В приведенном письме очень четко отмечены все этапы такого обобществления стихов.

Сначала – одинокий восторг мальчугана, нашедшего неизвестную травку, которой он дал такое необыкновенное имя: арбикой.

Потом – его взволнованный ритмический возглас, в котором он сам не заметил стиха:

– Мама, эта травка – арбикой?

Потом восприятие этого возгласа коллективом детей, которые чутко улавливают здесь стиховое звучание, ощущают этот возглас как хорей и начинают пользоваться им для своей массовой экстатической пляски, вовлекая в нее и поэта.

Такое коллективное детское творчество мне случалось наблюдать не раз. Я часто был свидетелем того, как группа детей, услышав какой-нибудь случайный отрывок прозаической речи, тут же превращала эту прозу в стихи. Помню, на даче в Куоккале проезжал мимо нашего сада незнакомый финн-зеленщик и, ни к кому не обращаясь, сказал:

– Дождь прошел, дорога сукка! – выразив этой лаконической фразой свою радость по поводу того обстоятельства, что, несмотря на вчерашний ливень, дорога осталась сухой.

Дети тотчас же уловили в этой загадочной фразе свой любимый хорей и, когда испугавший их финн скрылся за поворотом дороги, закружились, как факиры, выкрикивая:

Дождь прошел, дорога сукка!
Дождь прошел, дорога сукка!

Так случайная прозаическая, не совсем понятная фраза стала заразительным и звонким стихом, организующим коллективную детскую пляску.

Как-то весной в деревне несколько ребятишек сидели на жерди забора, а один из них бегал, ловил майских жуков и во время ловли крикнул: «Жук, жук, ниже, – я тебя не вижу!..» У него получился нечаянный стих. И сразу все сорвались с места, начали прыгать, бегать за жуками и кричать:

Жук, жук, ниже,
Я тебя не вижу!
Жук, жук, ниже,
Я тебя не вижу!

С тех пор это повторялось ежедневно, пока были жуки.

Стихи такого рода, как мы видели, бывают по необходимости кратки и никогда не выходят за пределы двустишия, так как во время пляски маленьким детям нужны однообразные звуки, могущие быть повторяемыми бесчисленное множество раз.

Другое дело, когда детские стихи создаются не пляской, а какой-нибудь ритмической работой, слагающейся из более разнообразных движений. Такие внушенные работой стихи бывают гораздо длиннее, и ритм у них более сложен.

Много лет назад, к моему удовольствию, мне удалось подсмотреть, как пятилетние дети и другие, немного постарше, сами сложили удивительную рабочую песню, которая прекрасно ритмизировала их трудовые процессы.

Произошло это так.

Я жил на даче в Финляндии, в поселке, который нынче называется «Репино», и с целой артелью детей ходил за водою в «Пенаты» к Илье Ефимовичу Репину, у которого в саду был абиссинский колодец. Ведро у нас было маленькое, я надевал его на длинную палку, и дети несли его вместе со мною, гордясь, что помогают взрослому человеку работать.

Дорога была трудная: ведро зацеплялось за пни и корни. Особенно мешали два пня, торчавшие на середине дороги, и всякий раз, когда мы к ним приближались, я уговаривал детей быть осторожнее: не расплескать бы воды. После каждых шестнадцати шагов мы останавливались и минуты две отдыхали. И вот на третий день нашей совместной работы, когда в ней наметился ритм, дети, шагая с ведром, стали выкрикивать такие стихи:

Два пня,
Два корня
У забора,
У плетня,
Чтобы не было разбито,
Чтобы не было пролито,
Блямс!

При крике блямс они, как по команде, останавливались и тихо опускали ведро на землю. Потом снова брались за палку и снова выкрикивали те же стихи, шагая в такт своим крикам. Замечательно, что стихи были как раз такой длины, чтобы заполнить собою весь путь между двумя остановками: их хватало ровно на шестнадцать шагов.

Впрочем, не только своей длиной отличаются эти стихи от тех плясовых экспромтов, о которых мы сейчас говорили: самый стиль их другой. В них нет упоения пляской – это бравая, но истовая песня работников, напрягающих силы, чтобы возможно тщательнее выполнить свою работу. Правда, здесь тот же хорей, но в этом хорее не прыжки и подскакивания, а мерная, несколько затрудненная, хотя и бодрая поступь. Здесь каждое слово осмысленно, ибо продиктовано самой обстановкой труда.

Это не помешало младшему поколению детей на следующее лето воспользоваться нашей песней для обычных безудержных плясок. Они кружились на морском берегу и выкрикивали:

Два пня, два корня,
Поглядите на меня,
Блямс!

И при крике блямс падали на песок как подстреленные.

В глазах детей стихи до такой степени неотделимы от танца, что дети склонны измерять «плясовитостью» даже волшебные сказки.

Тетя Зося сказала Маринке по поводу моего «Бармалея»:

– Зачем, не понимаю, нужны такие пустопорожние книги!

– Ах, тетя, – возразила Маринка, – ее всю можно протанцевать!

К числу коллективных стихов относятся также и те, которые недавно получили название: «дразнилки».

В старое время эти стихи обычно выкрикивались толпой возбужденных детей, преследовавших какого-нибудь ненавистного им человека – хромого, сумасшедшего, горбатого, рыжего.

При этом дети не просто бежали за врагом, а прыгали и плясали, как дикие, что опять-таки сказывалось в ритме стихов.

Бывало, что эта дикарская пляска происходила на месте – когда, например, две группы детей стояли одна против другой, как две армии, готовые к бою, и обменивались рифмованной бранью, которая каждую минуту могла перейти в драку.

Я много слыхал этих детских дразнилок, и мне кажется, что их наиболее характерное свойство – в звуковых вариациях первого слова, в повторах, свидетельствующих о том возбуждении, в котором находились произносившие их.

Таковы народные дразнилки:

Федя-бредя
Съел медведя…
Цыган, мыган
Кошку дрыгал…
Коля-моля селенга
Съел корову и быка.

Эта звуковая инерция – верный знак, что дразнилки принадлежат к числу таких же эмоциональных стихов, как и те, о которых было сказано выше.

В большинстве дразнилок господствует опять-таки хорей. Иные из них производят впечатление ямбов, но не нужно забывать, что у них первый слог во время произнесения вытягивается: «Бе-эсштанный рак», «Е-эгорка косой», что и делает эти строки хореями.

Дразнилки бывали направлены не только против людей, но и против животных, ненависть к которым дети иногда разжигали в себе.

Живя в деревне под Лугой, я видел, как соседские дети, ежедневно проходя мимо мельницы, хором упрекали жившего там индюка за то, что он будто бы похитил поросенка, и в своих упреках доходили до ярости, с каждым новым криком распаляясь все больше:

Индя, индя, красный нос,
Поросеночка унес,
Индю в городе поймали,
Красны сопли оторвали.

Стихи эти, вряд ли сочиненные самими детьми, были насыщены свирепой, хотя и беспричинной ненавистью, которая так и звенела в каждом крике.

Справедливость требует отметить, что через два месяца, осенью, я встретил тех же детей, когда они торжественной процессией направлялись на мельницу, неся на круглых дощечках, которые издали показались мне большими подносами, разноцветные и яркие груды ягод, грибов и цветов.

– Куда вы идете?

– К индюку. Он сегодня именинник.

Они шли поздравить индюка с именинами и несли ему богатые дары, совершенно позабыв о той ненависти, которую все лето разжигали в себе своей песней.

Дразнилки часто бывают экспромтами. Трехлетняя Аня, услышав, как хвалится какая-то

барыня, что у нее мать из дворян, тотчас же прибавила в рифму:

– А отец из обезьян.

И, взволнованная своей хлесткой нечаянной рифмой, закружилась по комнате и закричала пронзительно:

Твоя мама из дворян,
А отец из обезьян!
Твоя мама из дворян,
А отец из обезьян!

Так нежданно-негаданно у нее получился хореический стих, без которого подлинные дразнилки немыслимы.

Есть еще одно качество в экикиках трехлетних детей: все они проникнуты радостью. Они не знают ни вздохов, ни слез. Это песни счастья, это высшее выражение того довольства собою и миром, которое так часто охватывает каждого здорового младенца. Какое счастье, что мне дали пику! Какое счастье, что мама «кормит» моего брата «грудой»! Какое счастье, что мой мыльный пузырь залетел в такую высоту!

Едва ли Фридрих Шиллер был так счастлив, сочиняя свой гимн «К радости», как был счастлив трехлетний Бубус, выкрикнувший в избытке блаженства:

С рынку бабушка пришла
И конфету принесла!

Это песни самоутверждения и бахвальства, без которых ребенок – не ребенок, так как ему всегда необходима иллюзия, что он умнее, сильнее, храбрее других.

Никто никогда не бывает так самодоволен, как двухлетний младенец: он рад без конца восхищаться своими мнимыми удачами и качествами. Нужно было слышать, с какой надменностью произносил слово «я» крохотный четырехлетний поэт, когда он дразнил свою сестру ее маленьким ростом:

Я-а больше тебя,
А ты меньше комара!

Самая веселая песня, какую я когда-либо слыхал от трехлетних поэтов, заключала в себе следующий текст:

Бом, бом, тили, тили,
Нашу маму сократили.
Бом, бом, тили, тили,
Нашу маму сократили.

Помню, я вернулся домой из Хельсинки в Куоккалу; дети мои выбежали мне навстречу и, прыгая, запели в упоении:

А нас обокрали!
А нас обокрали!

Для них это была нечаянная радость, и они удивились, что я не разделяю ее.

Таким образом, мы можем сказать, что среди стимулов, порождающих в детской душе киники, главную роль играет приятная новизна впечатлений. Новый человек. Новое, неслыханное слово. Новая, невиданная вещь. Внезапная перемена обстановки, даже перемена погоды.

Я никогда не забуду, как четырехлетнего украинца Валю поразил обломок утюга, внесенный зачем-то в квартиру. Этот обломок показался ему такой сенсационной новинкой, что сначала он выразил свое изумление так:

– Тю! Половина утюга!

А потом, уловив в этой прозаической фразе хорей, тотчас превратил ее в стих и выкрикнул с мягчайшим украинским акцентом:

А-га-га! Тю-га-га!
Половина утюга!
А-га-га! Тю-га-га!
Половина утюга!

Это была опять-таки песня нечаянной радости.

И вот, например, экспромт Вики Ч. о неожиданном приезде отца:

Дримпампопи!
Римпампони!
Едет папа на вагоне,
Молодец паровоз
Хорошо его довез!

Отъезд больного отца в санаторий тоже может сделаться предметом веселых стихов:

Папа едет в Красный Вал
Поправляться наповал!

Но проходит еще два года, и в детских стихах появляются минорные звуки. Так, пятилетняя Мура, осматривая подарки, полученные ею в день рождения, произнесла элегически:

Если б каждо воскресенье,
Было бы мое рожденье,
Было б хорошо!

и вздохнула о несовершенстве вселенной, где такие идеалы остаются мечтой.

По мере того как дети становятся старше, киники умирают в их поэзии, и дети постепенно усваивают новые формы стиха, не связанные с экстатической пляской.

На шестом или чаще всего на седьмом году жизни они понемногу переходят от эмоциональных выкриков к чисто литературным стихам.

Вначале создается переходная форма, где еще господствует прежний хорей и рифмованные строки все еще расположены рядом, но эти строки уже выходят за пределы двустиший, а их тема становится гораздо сложнее.

Шестилетняя Аня, узнав, что какого-то мальчика высекла сердитая тетка, воспела свою мать в таких стихах:

Мама умная была
И меня не посекла.
Ай люли, люли, люли,
Ты меня всегда люби,
Я теперь тебя люблю,
Не кап-риз-ни-ча-ю.

Это все еще экспромт, в ритме еще чувствуется некий «экстаз», но стихи гораздо истовее, чем киники, и, главное, втрое длиннее. Проходит еще полгода, и всяким экикикам конец. Стихи становятся нестройны и бесформенны, их ритмы начинают заметно хромать, потому что к этому времени ребенок утрачивает моторное ощущение стиха, и его импровизации выражают уже не «экстаз», а чаще всего рассуждение, раздумье.

В этом отношении новый период детского стихотворства представляет собою высшую стадию по сравнению с предыдущим периодом, так что едва ли можно жалеть, что прогресс достигается ценою временного угасания чувства ритма.

Вот, например, какие непевучие стихи сочинил шестилетний Никита Толстой:
Некоторые люди нуждаются в молоке,

Но рыба в этом не нуждается.
Она плавает по реке.

Стихи резонерские. Их интонации подсказаны не песней, не пляской, а рассудочным, прозаическим говором.

Оттого-то в эту пору – от пяти до десяти лет – дети так часто слагают белые, «свободные» стихи – без всякого определенного ритма:

Я видывал яблоко
В царском саду.
Ему не завидовал:
Ведь оно за решеткой,
Оно за решеткой.

Эта элегия девятилетнего Кесария В. есть, в сущности, поэтическое рассуждение о рабстве. Она очень грациозна, умна, но ее природа иная, чем в плясовых экикиках: «правильный» и «стройный» размер только испортил бы ее интонации.

Такое же разрушение «правильной» формы наблюдается и в другой (тоже превосходной) элегии Кесария В.:

Между мрачными скалами
Одна сосенка растет
На берегу морском.
Она морю стон свой шлет:
«Ой, милые волны!
Вы ведрами льете соленую воду
На нежную кожу мою,
Мне больно, мне больно!
Вы, милые волны, оставьте,
Подумайте!»
Но волны не слушают стонов сосны.

Вначале поэт, очевидно, пытался построить это стихотворение хореем, но уже на третьей строке перешел к свободному стиху, а на пятой отказался от рифмы.

Одно время я был склонен ошибочно думать, будто здесь наблюдается некий регресс в душевном развитии ребенка. С горечью я отмечал, что, чуть только ребенок оторвется от пляски и песни, его стихи почти всегда становятся дряблой нескладицей. Они уже не возникают экспромтом, а, напротив, «сочиняются», «выдумываются», и мудрено ли, что в большинстве этих сочиненных стихов нередко отсутствует какой бы то ни было определенный напев или строй.

– Мамочка, послушай стихотворение, которое я сочинил, – говорит интеллигентский ребенок, четырех с половиною лет, и декламирует такие стихи:

Поздно вечерком
В поле я остался,
Лошади наши не будут видеть,
Куда ехать. Ну, что же? Я заеду, где одеяло
взять,
На холодной травке
Будем мы лежать[138].

[138] Э.И.Станчинская, Дневник матери. История развития современного ребенка от рождения до 7 лет, М. 1924, стр. 67.

Это не проза и не стихи – это хаос. Попробуйте прочитать их вслух, и вы увидите, что ребенок словно сразу оглох, сразу потерял чувство стиха, еще вчера поражавшее своей остротой.

Особенно огорчали меня стихи восьмилеток – грамотных, благонравных детей, которые для сочинения стихов прилежно садятся с карандашом за бумагу и тем самым отрывают себя от каких бы то ни было ритмических действий – от пляски и махания руками.

Правда, у некоторых особо одаренных детей тяготение к музыке стиха, к его ритму сохраняется и в этот период, о чем свидетельствует, например, в своей «Автобиографии» Александр Твардовский: приблизительно на восьмом году жизни он сочинил одно стихотворение, в котором, по выражению поэта, не было «ни лада, ни ряда, – ничего от стиха». «Но я, – говорит он, – отчетливо помню, что было страстное, горячее до сердцебиения желание всего этого – и лада, и ряда, и музыки, желание родить их на свет, и немедленно, – чувство, сопутствующее и доныне всякому замыслу»[139].

Именно в тот период, когда ребенок не имеет ни малейшей возможности удовлетворить собственным творчеством свое «горячее до сердцебиения желание лада и ряда», он чаще всего удовлетворяет его чужими стихами, причем порою эти чужие стихи так интенсивно переживаются им, что он по душевной неопытности готов считать их автором себя.

– Бабушка, – говорит восьмилетняя Вера, – запиши в тетрадь стихи:

Безмолвное море, лазурное море!

– Но ведь это не твои стихи, это написал Жуковский.

– Да… Только это и мои тоже… Пускай это будут и его стихи, и мои вместе!

– Как же ты выучила эти стихи?

– Говорю же я тебе, что я их не учила; я сама их сочинила. Ведь это же про Крым. Как же ты не понимаешь?

Вот типическое отношение восьмилетнего автора к творчеству его великих предшественников. Точно такой же случай сообщила мне Е.В.Гусева из Киева:

«Однажды утром Светик проснулся с озабоченным видом и потребовал, чтобы я поскорее одела его.

– Я хочу написать стихи, только не детские, а для больших…

Светик сел к столу, взял карандаш и бумагу и задумался. Потом говорит:

– Знаешь, мама, я напишу „Выхожу один я на дорогу“.

– Но ведь это не твои стихи, а Лермонтова.

– Так ведь Лермонтов умер, мамочка, пусть это будут теперь мои стихи».

Назвать этих детей плагиаторами может, конечно, лишь тот, кто совершенно не знает детей.

Впрочем, такие случаи сравнительно редки. Чаще всего стремление «к ладу и ряду» выражается у восьмилетних ребят подражанием.

В той же автобиографии Твардовского приводятся такие стихи, сочиненные им в этом возрасте:

Раз я позднею порой
Шел от Вознова домой.
Трусоват я был немного,
И страшна была дорога:
На лужайке меж ракит
Щупень старый был убит…[140]

Стихотворение написано под влиянием Пушкина: четыре строки по «Вурдалаку» и две – по «Шотландской песне» («В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый»)[141]. Если даже та-

[139] А.Твардовский, Статьи и заметки о литературе, М. 1961, стр. 154.

[140] А.Твардовский, Статьи и заметки о литературе, М. 1961, стр. 154.

[141] Впрочем, возможно, что рифма «ракит» и «убит» была внушена Твардовскому фольклором.

кой самобытный поэт, как Твардовский, начал в детстве с подражательных стихов, что же сказать о тех детях, стихотворство которых есть явление временное, всецело обусловленное определенным периодом их духовного роста? Все их «творчество» в этот период сводится чаще всего к перепевам. На конкурс, устроенный Центральным домом художественного воспитания детей (в Москве), школьник Исидор Амшей прислал, например, такие стихи, внушенные «Тремя пальмами» Лермонтова:

В песчаных степях кара-кумской земли
Три гордых шофера машину вели.

В печати не раз отмечалась эта склонность школьников ориентироваться в своем стихотворстве на знакомые литературные тексты. Педагог Пасхин приводит, например, такие стихи, заимствованные учениками у классиков:

Еще в полях белеет снег
И грач не прилетал.
.....
Весна! Как много в звуке этом…[142]

Детьми воспроизводятся не только чужие сюжеты, но и чужие ритмы. Так, Вера Н., начитавшись и наслушавшись Некрасова, начала писать свои стихи некрасовским щемящим анапестом:

Не ходите гулять, мои детки,
Не губите сердечко мое!
Будьте добрыми, милые детки,
Пожалейте сердечко мое!

Перечитывая такие стихи, я еще нежнее вздыхал о моих любимых экикиках, которые рядом с этими виршами казались мне еще звонче и ярче.

V. О СТИХОВОМ ВОСПИТАНИИ

Но потом я понял, что был не прав, осуждая стихотворения старших детей. Как бы ни были плохи эти тусклые строки, оторванные от жеста и пения, они являют собой высшую стадию в развитии ребенка именно потому, что они оторваны от жеста и пения.

До четырехлетнего возраста ребенок был и поэт, и певец, и плясун одновременно, а теперь стихотворство впервые становится для него самостоятельной деятельностью, отделенной от всякого другого искусства.

Кончился период слияния поэзии с криками и топотом ног, началась эпоха дифференциации искусств, соответствующая более высокой культуре.

До этой поры всякий стих, произносимый ребенком, был лишь одним из элементов игры, а теперь он – самоценное целое. Как же ему не спотыкаться на первых порах!

Впрочем, он спотыкается далеко не всегда, потому что перерождение ритма не есть еще уничтожение ритма.

Вчитайтесь, например, в такие строки четырехлетнего Адика Павлова:

Мы пойдем в лес,
Будем там собирать чернику, пьянику и грибы.
Мы пойдем в сад,

---

[142] А.Пасхин, Школьные поэты. Журнал «Искусство в школе», 1928, № 1, стр. 26. См. также «Учитель и школа», 1914, № 3, стр. 16–31.

Будем рвать там вишни и цветы.
Мы пойдем на волю,
Будем гнать домой коров.
Мы пойдем на речку,
Будем купаться и сидеть на песке[143].

Эти стихи еще не оторвались от песни, но плясовых элементов у них уже нет никаких. И тем не менее в них слышится отчетливый внутренний ритм: недаром они разделены на параллельные двустишия.

«Правильными» же ритмами дети овладевают лишь на десятом году, а иные и позже. Вот какой сатирический (почти правильный) ямб сложила в старину девятилетняя школьница о своем ненавистном учителе:

Сидит мучительный,
Карандашом стучительный.

А другая сочинила такую элегию:

Экзамен,
Как камень.
На сердце упал
И долго-предолго
На месте лежал.
И ждет моя Нина, когда все пройдет,
Когда сдаст экзамен и камень спадет[144].

Это очень четкий амфибрахий, выдержанный от первой строки до последней. Но, вообще говоря, организованная, вполне литературная форма появляется, как я заметил, лишь у детей двенадцати – тринадцати лет, и только тогда, но не раньше, можно с некоторой долей вероятия определить, у кого из них есть поэтический дар.

Вот отрывок из поэмы одной – несомненно, талантливой двенадцатилетней писательницы, воспевающей электрификацию деревни:

Повернула в хлеву выключатель,
Расплескался по стенам свет,
Удивленно коровы мычали,
Покосись на лампочку ГЭТ.

Стихи подражательные, но, если бы в школе, где училась девочка, нашелся педагог, понимающий дело, поэтесса, может быть, с большей легкостью выбилась бы на самостоятельный путь[145].

Конечно, никто не требует, чтобы педагоги делали учеников стихотворцами, но они обязаны научить их подлинному восприятию стиха, развить у них умение наслаждаться чужими стихами.

Все это очень волнует меня, так как я принадлежу к числу тех чудаков, которые любят поэзию больше, чем всякое другое искусство, и знают на опыте несравненные радости, которые дает она тем, кто умеет наслаждаться ею.

Я давно уже с грустью слежу, как иные педагоги убивают в ребенке естественное чувство стихотворного ритма, которое, как мы видели, присуще ему в раннем детстве.

Многие даже не задумываются над тем, что если дети обучаются пению, слушанию музыки, ритмической гимнастике и проч., то тем более необходимо обучать их восприятию стихов,

[143] А.Д.Павлова, Дневник матери, М.-Л. 1924, стр. 102–105.

[144] А.Крученых, Собственные рассказы, стихи и песни детей, М. 1923, стр. 10.

[145] Впоследствии так и случилось. Ныне она известный советский поэт Ольга Берггольц.

потому что детям, когда они станут постарше, предстоит принять огромное стиховое наследство от Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, Блока, Маяковского, Байрона, Гёте, Гюго. Но что сделают с этим наследством наследники, если их заблаговременно не научат им пользоваться? Неужели никому из них не суждена величайшая радость: читать, например, «Медного всадника», восхищаясь каждым ритмическим ходом, каждой паузой, каждым пиррихием? Неужели это счастье, столь услаждавшее нас, будет уже для них недоступно? Вправе ли мы эгоистически пользоваться этим счастьем одни, ни с кем не разделяя его? Не обязаны ли мы передать его детям?

Но что сделано педагогами нашими для стихового воспитания детей?

Где бы я ни очутился, я, ни минуты не медля, прямо с парохода или с поезда бежал к детворе – в детский сад или в детский дом и всюду видел столько настоящей и нежной заботы о детях, что весело было глядеть.

Но в этой бочке сладчайшего меда всегда была ложка дегтя. Покуда дети пели, плясали, играли, работали, я смотрел на них с великим удовольствием. Когда же они начинали читать мне стихи, которым их научили в школах или в детских домах, я нередко чувствовал себя истинным мучеником. Наряду с произведениями Твардовского, Маршака, Михалкова – штампованные фразы, сумбурная ритмика, грошовые рифмы. Я готов был плакать от досады. Я говорил, что, приучая ребят к такой мертвечине, мы калечим их художественный вкус, искажаем их литературное развитие, внушаем им неряшливое отношение к слову, что вся эта труха затрудняет несчастным ребятам доступ к подлинным произведениям поэзии, – но многим педагогам моя писательская боль была чужда, так как эти отличные люди (такие полезные в других отношениях) лишены были словесной культуры. У них не было никакого мерила для оценки произведений поэзии.

Это глухонемые в опере. Они не могли бы отличить Баратынского от Надсона или, скажем, Плещеева. Для них звучали одинаковым звуком и ямбы Барбье, и анапесты Некрасова, и стукотня халтуривших писак. Почти в каждом детском доме, в каждой школе я видел даровитых ребят, из которых при других обстоятельствах могли бы выработаться неплохие писатели, но их дарования глохли в тех антилитературных условиях, в которых они находились. «Исправления», внесенные в их стихи педагогами, почти всегда ухудшали первоначальную версию.

До чего нечувствительны многие взрослые к ритмике детских речей, свидетельствует, например, такая запись в одной педагогической книжке:

«Вове Г. (2 года и 4 месяца) сестра-воспитательница говорит, вводя его в спальню:

– Тихонько, Вова, не шуми, потому что Яша спит.

– Патянюсся Яся пит! Патянюсся Яся пит! Патянюсся Яся пит! – повторяет Вова шепотом и, уже уложенный в кроватку, шепчет это до тех пор, пока не засыпает. В данном случае новым для него явилось слово „потому что“, которое ему и нужно было заучить»[146].

Факт любопытный, но объяснение факта неверное. Ребенок совсем не оттого повторял эти фразы, что ему хотелось зазубрить незнакомое слово. Он повторял их оттого, что в них был ритм, его излюбленный ритм – хорей. И автор должен был печатать их не прозой, а стихами:

Патянюсся Яся пит!
Патянюсся Яся пит!
Патянюсся Яся пит!

Я привожу этот случай, чтобы показать, как мало внимания уделяли еще так недавно даже наиболее квалифицированные из наших педагогов стиховым излияниям детей. Даже слыша своими ушами, как ребенок услаждает себя напевным повторением стихотворной строки, они не замечали стихов, а усматривали тут одну зубрежку.

К счастью, такое пренебрежение к стихам мало-помалу отодвигается в прошлое. Усилиями передовых педагогов, их учеников и последователей стиховое воспитание начинает входить в систему педагогики детского сада. Любовно и вдумчиво составлена известная книга Академии педагогических наук «Художественное слово дошкольнику» («Пособие для воспитателей дет-

[146] Л.В.Полежаева, Детская речь и развитие ее, М. 1927, стр. 19.

ских садов», М. 1952).

Редактор книги очень хорошо говорит в предисловии и о «музыкальном рисунке» стихов, и о «звуковом рисунке» поэтических образов, и о методике развития «чувства ритма» – хорошо, но как-то робко, вполголоса, ежеминутно подкрепляя свои мысли целым ворохом авторитетных, но совершенно излишних цитат из области физиологии и лингвистики, словно приобщение ребенка к поэзии нуждается в таких многочисленных идейных подпорках. Надеюсь, что в новом издании книги большинство таких подпорок уже не понадобится.

В ближайшей связи с этим сборником находится вышедшая в Учпедгизе работа Р.И.Жуковской «Чтение книги в детском саду» (1955). Почти вся она посвящена восхвалению педагогической ценности стихов для детей. Очевидно, автор убедился на опыте, что наиболее питательная и здоровая духовная пища дошкольников – это именно стихи, а не проза. Основная идея книги определяется словами Белинского о влиянии стихов на детей – словами, которые автор цитирует на одной из первых страниц: «Пусть ухо их (то есть детей. – К.Ч.) приучается к гармонии русского слова, сердца преисполняются чувством изящного; пусть и поэзия действует на них, как и музыка – прямо через сердце…»[147]

Я читал эту книжку и радовался. Давно ли всякие разговоры о стиховом воспитании казались большинству педагогов вредной и бессмысленной ересью и вот из их среды то и дело выдвигаются люди, которые осуществляют «вредную ересь» на практике.

Но радость моя была неполна, потому что на самом-то деле стиховое воспитание подменяется здесь «воспитанием при помощи стихов», так что цитата из Белинского о «чувстве изящного», о «гармонии русского слова» оказывается сама по себе, а вся книга сама по себе. Стихи здесь рассматриваются почти исключительно с узкоутилитарных позиций – как служебный материал для дидактики. Все это – отрыжка недоброго прошлого. Но так как материал почти всегда высокого литературного качества, то дидактические задачи почти всегда осуществляются здесь в живом сочетании с эстетикой.

Это тем более ценно, что существуют и посейчас методисты, которые, говоря о художественном воспитании детей, совершенно игнорируют поэзию. Таков, например, Н.И.Болдырев, автор актуальнейшей книги «Роль школы и семьи в воспитании детей». В этой книге скрупулезно учитывается воспитательное значение музыки, живописи, театра, кино, – но о стихах ни полслова.

* * *

В заключение я хотел бы сослаться на свой собственный педагогический опыт.

Воспитывая своих детей, я пытался привить им с самого раннего возраста строгий и здоровый эстетический вкус, дабы раз навсегда забронировать их от всякой литературной пошлятины.

Надежным материалом для достижения такой воспитательной цели послужил мне, конечно, фольклор – главным образом героический эпос. Я читал своим детям и их многочисленным сверстникам былины, «Одиссею», «Калевалу» и убедился на опыте, как нелепы и беспочвенны опасения взрослых, что дети не поймут этой поэзии.

Нужно только исподволь приучить их к непривычному для них складу речи, и они будут готовы часами слушать эти гениальные поэмы, в которых так много очаровательной детскости. Самая лексика этих поэм, поначалу якобы чуждая детям, отпугивающая их своей архаичностью, будет в конце концов воспринята ими как близкая, живая, понятная, и они не только полюбят ее, но и введут в свой речевой обиход, что неминуемо должно повлиять на их общее языковое развитие.

Особенно привлекательными для детей оказались былины о Добрыне, Ваське Буслаеве, Чуриле, Илье Муромце, Дюке, Алеше Поповиче. Сборники былин (Гильфердинга и Рыбникова) сделались любимейшими детскими книгами. Самое звучание этих поэм до того полюбилось ребятам, что даже во время игр их речь стала сбиваться на былинный размер. В их лексиконе появились такие слова, как «ярлыки скорописчаты», «калена стрела», «кинжалище булатное». Дело дошло до того, что мой маленький сын однажды назвал свою мать «матера вдова Амельфа Ти-

[147] В.Г.Белинский, Полн. собр. соч., т. IV, М. 1954, стр. 88.

мофеевна».

Приобщая детей к нашему национальному эпосу, я тем самым пытался выполнить один из патриотических заветов Белинского. «Очень полезно, и даже необходимо, – писал великий критик, – знакомить детей с русскими народными песнями, читать им, с немногими пропусками, стихотворные сказки Кирши Данилова»[148]. (Так назывались в ту пору былины. – К.Ч.)

Результаты такого раннего знакомства детей с богатырскими песнями не замедлили сказаться позднее на моем малолетнем сыне Борисе, о котором я сейчас говорил. К великому удивлению всех окружающих, он, едва научившись писать, сочинил целый цикл былин и тогда же своим неумелым, младенческим почерком записал их в тетрадку, хранящуюся у меня до сих пор.

Привожу одну из них с буквальной точностью: здесь выправлена лишь орфография, а в тексте не изменено ни единого слова. Дата былины – 1919 год, когда кто-то сдуру рассказал при ребенке ходившие по городу слухи, будто на улицах орудуют ночные разбойники, которые прыгают выше домов при помощи особых пружин, прикрепленных у них к сапогам. Одеты они будто бы в саваны. Городская охрана (сокращенно «Горохр» – так называлась в ту пору милиция) ведет с ними упорную борьбу.

Об этих «пружинках» и повествует в былине ее восьмилетний автор:

БОЙ ПРУЖИНОК С ВАСЬКОЙ САПОЖНИКОВЫМ

А не золото с золотом сливается,
А не серебро с серебром стекается,
А не две горы вместях да сокатаются,
А со всех сторон пружинки собираются,
Собираются на кладбище Смоленское.
На Смоленское кладбище огромное.
А и думают они думу великую,
А великую думу не малую,
Как побить охрану Петроградскую,
А и всю милицию горохрскую,
Чтобы больше их не преследовали,
Не преследовали их, не закапывали,
Не расстреливали их больше пулями.
Крепкими пулями свинцовыми.
А выходит покойник один в саване,
А и в белом саване светящемся,
Говорит покойник таковы слова:
«Ах вы гой еси, пружинки вы все лютые,
Вы все лютые пружинки богатые,
Мы пойдемте-ка по улице похаживать,
А и будем мы охрану Петроградскую,
Петроградскую охрану поколачивать».
Не успел пружинка слово вымолвить,
Закричали все пружинки зычным голосом:
«Мы пойдем-ка по улице похаживать,
А и будем мы охрану Петроградскую,
Петроградскую охрану поколачивать!»
Побежали все пружинки по городу,
По стольному по городу по Питеру,
А и стали охрану Петроградскую,
Петроградскую охрану поколачивать.
Вдруг навстречу им да трамвай катит,
А трамвай катит да с вагонетками.
С вагонеток бежит добрый молодец,

[148] В.Г.Белинский, Полн. собр. соч., т. IV, М. 1954, стр. 88.

А по имени Васька Сапожников.
Налетели на Ваську три покойника.
Он первого покойника взял разорвал,
Второго покойника взял растерзал,
А третьего покойника взял за ноги,
Стал по улице похаживать,
Стал пружинок пружинкой поколачивать.
А и бил он пружинок ровно три года,
Ровно три года да три часа.
Три часа да три минуточки.
Намахались его плечи могучие,
Разорвались его латы кольчужные,
А не может он побить покойников.
Наконец хотел Васька отъехати.
Из небес же тут Ваське глас гласит:
«Ах ты гой еси, Василий сын Сапожников.
Отсель тебе не уехати.
Ты сражался с пружинками ровно три года,
Ровно три года да три часа,
Три часа да три минуточки,
Посражайся еще восемь лет».
И послушался Василий, сын Сапожников.
Стал сражаться снова с пружинками.
А и день за день будто дождь дождит,
А неделя за неделей как река бежит,
А и год за годом как трава растет,
А проходит ровно восемь лет,
А побил он всех покойников,
Всех покойников до единого.
А тут покойникам славу поют,
А и славу поют им век по веку.

Сколько я ни вчитываюсь в эти стихи, я не вижу здесь ни единого отклонения от канонического стиля былин. Ясно, что юным поэтом вполне усвоены своеобразные формы этого трудного жанра – и ритмика, и синтаксис, и лексический строй – и что он свободно распоряжается ими. Когда он вырос, литература не стала его специальностью. Но привитая с детства любовь к бессмертной народной поэзии осталась в нем до конца его жизни и вооружила его раз навсегда верным и строгим вкусом, этой драгоценной – и такой редкой – способностью ориентироваться среди хаоса литературных явлений, отличая подлинное искусство от всяческой фальши.

Приведу стихотворение двенадцатилетнего поэта Капралова, насыщенное мальчишеской неукротимой энергией:

ПАРОВОЗ
Паровоз, паровоз,
Силы в тебе сколько!
Ты везешь тыщи тонн,
Как не лопнешь только.
Ты идешь день и ночь,
И идешь ты быстро.
Нету друга у тебя
Лучше машиниста.
И в Москву ты прилетел,
Обливаясь паром,
С машинистом удалым,
С черным кочегаром…

и т. д.

«Паровоз» напечатан в сборнике «Стихи детей», вышедшем под редакцией С.Я.Маршака в 1936 году.

Если хотите, чтобы на вас так и хлынуло горячей волной давно забытое детское счастье, прочтите стихотворение «Мимоза» двенадцатилетней школьницы Лены Гулыги. Здесь очень четко срисован этот южный, весенний цветок «желтые шарики», «легкие перышки», – но подлинная лирическая тема стихотворения не мимоза, а бесконечно счастливое детское двенадцатилетнее сердце, до краев переполненное радостью жизни. Автор щедро раздает эту радость всем и каждому, кто в зимнюю стужу, на улицах обледенелого города среди вывесок, троллейбусов, автомобилей, витрин вдруг натыкается – как на нежданное чудо – на этот поэтический предвестник весны.

Хотя все стихотворение насыщено юмором, в его подтексте с самого начала ощущается пафос, полно раскрывающийся в последних строках. Вообще конец «Мимозы» сильнее начала, но все ее части так органически слиты, в ней такая цельность и выдержанность, что охотно прощаешь и сбивчивую дикцию второго стиха («дел своих, забот»), и чрезмерное скопление глагольных созвучий, которое могло бы оказаться губительным для большинства наших «взрослых» стихов. Все искупает прелестная свежесть непосредственного детского чувства.

МИМОЗА

На улицах московских торопится народ,
Множество у каждого дел своих, забот,
По улице иду я – витрины в огнях,
Веточка мимозы у меня в руках.
«Мимоза! Мимоза! Мимоза в январе!
Видать, не побоялась мороза на дворе!»
Еду я в троллейбусе,
Еду я в метро…
Люди удивляются,
Люди расступаются,
Люди улыбаются радостно, тепло:
«Мимоза! Мимоза! Мимоза в январе?!»
«Повыше подымите – не смяли б у дверей!»
«Да где ж это мимозу покупали вы?»
Мартовская веточка на улицах Москвы…
Легкие перышки колышет ветерок,
Желтые шарики – пушистый огонек…
Люди удивляются,
Люди расступаются,
Люди не толкаются,
Люди улыбаются радостно, тепло.
Где ветка появляется, становится тепло!
«Мимоза! Мимоза! Мимоза в январе!»
Веточка кивает бегущей детворе…
«Погляди-ка, мама!
Человек с цветами!»
Человек с цветами…
Я человек с цветами!
Какое это звание – человек с цветами!
Перышки зеленые колышет ветерок,
Шарики-фонарики, ломкий стебелек…
«Да откуда ж вы взяли?»
«А понюхать нельзя ли?»
«Если вы устали,
Мы бы подержали!»

Светлее, чем витрины, рекламы, фонари,
Пушистый огонек мой,
Гори, гори, гори!

Я знаю прежние произведения Лены Гулыги – она сочиняет стихи чуть не с шестилетнего возраста, – и меня радует, что ее дарование с каждым годом становится прочнее и крепче.

Надеюсь, моя похвала не вскружит ее молодой головы, так как она не должна забывать, что детская талантливость (в живописи, в поэзии, в музыке) очень часто иссякает с годами, и я знаю немало двенадцатилетних поэтов, которые через семь-восемь лет, утратив поэтический дар, становились отличными конструкторами, моряками, геологами. Как бы то ни было, ее «Мимоза» – большая удача. Недаром Лена уже несколько лет занимается в литературном кружке Московской детской библиотеки им. Ломоносова под руководством педагога-энтузиаста Владимира Глоцера.

Вот стихи моей покойной дочери Муры Чуковской, написанные в крымской санатории (в Алупке), едва ей исполнилось десять лет. В этих стихах она описывает свой санаторий и вспоминает тот дом в Ленинграде, где она родилась. Любовь к поэзии была привита ей с детства: лет с семи она страстно любила читать и перечитывать «Кубок» и «Роланд-оруженосец» Жуковского, «Гайавату», былины, «Мороз Красный нос». В поэзии она черпала душевные силы во время своей тяжелой болезни.

ВОСПОМИНАНИЕ
Я лежу сейчас в палате
Рядом с тумбой на кровати.
Окна белые блестят,
Кипарисы шелестят.
Ряд кроватей длинный, длинный…
Всюду пахнет медициной.
Сестры в беленьких платках,
Доктор седенький в очках.
А за сотни верст отсюда
Звон трамваев, крики люда,
Дом высоконький стоит,
Прямо в сад окном глядит.
В этом доме я родилась,
В нем играла и училась.
Десять лет там прожила
И счастливая была.

МЫ ЛЕЖИМ
Мы лежим, мы лежим на желтой площадке,
Воробьи – чик-чирик! – скачут под кроватки.
Много, много, хлеб клюют, пыжатся, дерутся,
И из бочки воду пьют, пока не напьются.
Кошка серая идет, подползает близка,
Но проворные они, не поймает киска.

ФЛАГ
Гляжу я на флаг, прикрепленный на крыше,
Он рвется, он вьется, он с ветром играет.
Но чуть только ветер подует потише,
Безжизненной тряпкой он с палки свисает.

VI. ЭКИКИКИ И НЕ-ЭКИКИКИ

Но вернемся к нашим экикикам. На предыдущих страницах мы видали:

1. Что это экспромты, порожденные радостью.
2. Что это не столько песни, сколько звонкие выкрики или, как я их называю, «кричалки».
3. Что они не сочиняются, а, так сказать, вытанцовываются.
4. Что их ритм – хорей.
5. Что они кратки: не длиннее двустишия.
6. Что они выкрикиваются по нескольку раз.
7. Что они заразительны для других малышей.

Но не нужно думать, будто стихи двухлетних – четырехлетних ребят всегда и непременно киники. Малышам доступны и другие стихотворные формы. Какие – об этом еще рано судить, так как детских стихов у нас собрано очень немного. Время обобщений и выводов еще не пришло, сперва необходимо собрать материал. В качестве такого материала я могу напечатать только десять пятнадцать стишков. Правильная их оценка будет возможна лишь после того, как мы соберем их тысяч пять или шесть да разобьем их на группы соответственно той обстановке, в которой они создавались.

Вот баллада четырехлетнего Никиты Толстого:

На крыше ворон: кар, кар, кар!
Увидел в небе желтый шар
С глазами, носом и со ртом
И с очень круглым животом.

Как и подобает всякой традиционной балладе, здесь есть и ворон, и ночь, и луна. Стих очень крепкий, то, что называется, кованый, ритм четкий, рифмы точные.

Другая баллада того же поэта посвящена мореплаванию:

Красивая лодка
По морю плывет,
По морю плывет.
За лодкой селедка
По морю плывет,
По морю плывет.

Достигнув пятилетнего возраста, Никита создал нечто вроде триолета:

Бабушка спит,
Она храпит.
Из-под подушки вылезает кит
И говорит:
«Бабушка храпит,
Она спит».

Много у него также своеобразных зарисовок с натуры – тех моментальных стихотворных эскизов, которые некогда так удавались великому автору «Листьев травы»:

Катенька сидит на барабанчике,
Сосет пальчики.
Или:
Взял Дмитрий Иваныч
Подсвечник и свечку
И смотрит внимательно на печку.

Ритм уитменский, свободный, вполне соответствующий сюжету и стилю стихов. А млад-

ший брат Никиты, Митя Толстой, в три с половиною года сочинил такую песню о городе:

Товарищи, что за крик?
На нас едет грузовик.
Товарищи, что за вой?
На нас едет ломовой.
Товарищи, что за пыль?
На нас едет автомобиль.

Уже по этим немногим стишкам можно видеть, какое разнообразие форм доступно малолетним поэтам. Конечно, Никита и Митя Толстые не могут служить нормативными образцами детей, так как они выросли в литературной среде: и отец и мать у них писатели (Л.Н.Толстой и Наталья Крандиевская). Но вот стихи Ирины Ивановой, трех с половиною лет, дочери заводского врача:

ГЛУПЫЙ КОТ
Видит кот: лежит коробка,
Он ее и проглотил.
И за это в больницу покатил.

ВОЛК И КУРИЦА
Идет волк по улице,
Видит три курицы.
Захотел он их съесть,
Надо через забор перелезть.
Разбежался волк: раз, два, три!
Ну, курица! Смотри!

ОБЛАЧКО
– Здравствуй, дружище!
– Здравствуй, комарище!
– Где ты был?
– В лавочку ходил.
– Что купил?
– Облачко купил.
– Где оно?
– Съел давно.

В большинстве всех этих детских стихов рифмованные строки стоят рядом. Иного чередования рифм дети-поэты не любят. Им доступны главным образом смежные рифмы. Детское ухо не способно так долго удерживать в памяти окончание предыдущей строки, как его удерживает ухо взрослых. Стихи Ирины Ивановой в этом отношении чрезвычайно типичны:

Лиса дремала
И скучала.
Увидала воробья:
Цап-царап! – и съела,
Вот тебе и дело!

Здесь указание для детских писателей, которые порою в своих стихах доходят до такого невнимания к детям, что щеголяют рифмами, отстоящими одна от другой на три или четыре строки.

Например:

Том столовою ложкою ест варенье,
Ягоды прячет в карманы:
– Ничего, что протекут!
И конфеты, и каштаны,
И любимое теткино печенье…[149]

Здесь варенье так далеко от печенья, что созвучие перестает быть созвучием.

Такого размежевания рифм нет ни в одном из народных стишков для детей, ни в пушкинских сказках, ни в ершовском «Коньке-горбунке», где рифмы всегда в самом близком соседстве – как бы специально для детского уха.

Особую категорию стишков составляют те монологи, которые произносят одинокие дети, увлеченные какой-нибудь длинной игрой. Эти монологи длятся порой часа полтора и вмещают в себе до тысячи строк. Превосходный монолог своего пятилетнего сына записала у себя в дневнике Э.Станчинская. Мальчик был болен, полусидел в кровати и, самозабвенно играя в войну, сопровождал свои военные действия такими стихами:

Быстро солдаты, быстро, быстро идут на войну.
Быстро встречают красноармейцев,
Быстро стреляют прямо в бок одному,
Быстро летают пули.
Встречаются быстро,
Прямо идут,
На войну прямо, раз-два, раз-два,
Понимаете, раз скорее, раз скорее.
Поперба-ба-ба…
Остановись! Пришли! Войско так!
На бок! Винтовку! Паф!
Быстрое солнце скоро зашло,
Красное солнце скоро зашло.
Идут же темной ночью,
Красноармейцы идут.
Красная Армия уже близка.
Красноармейцы идут да идут.
Откуда-то пули быстро стреляют.
Летят пули далеко, а им же не видно,
Что-то на небе быстро летит,
Огонь освещает,
Летят аэропланы, и быстро красноармейцы пришли…[150]

Здесь так и чувствуешь пульсацию воинственной мальчишеской крови. Недаром слово «быстро» повторяется здесь одиннадцать раз. Даже солнце в этой пылкой игре пробегает по небу, как молния:

Быстрое солнце скоро зашло.
«Быстрое солнце» – неслыханный в поэзии эпитет.

И какое множество глаголов! Что ни строка, то глагол: «идут», «встречают», «стреляют», «летают».

---

[149] Надежда Павлович, Большевик Том, М. 1926.

[150] Э.И.Станчинская, Дневник матери. История развития современного ребенка от рождения до 7 лет, М. 1924, стр. 100. Превосходный образец той эгоцентрической речи детей, которую Пиаже называет «внутренней речью» по психологической функции и внешней по форме.

В Симферополе перед памятником Ленину неизвестный мне мальчик лет пяти произнес:

В мавзолее ты лежишь
И по-мертвому молчишь.
Подожди, я подрасту
И тебя воскресту.

Дети нередко прибегают к повторениям начальных слов каждой строки сочиняемых ими стихов. Эти единоначатия ярче всего выражают песенный лад их поэзии. Таково, например, стихотворение четырехлетней Е.К.:

Жил-был мальчик не простой,
Жил был мальчик золотой.
Жил-был мальчик, но шалил,
Только с папой водку пил.

Хотя в стихах этого рода тоже преобладает хорей, но он часто уступает место другим ритмам – в зависимости от выражаемых ими эмоций. Вот, например, великолепный анапест четырехлетнего мальчика, которому только что объяснили, что значит слово «всегда». Уразумев это слово, он долго бегал взад и вперед по дорожке, а потом подбежал к маме и с какой-то торжественной страстью сказал:

Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я![151]

«Разве это не поразительное по своей простоте и силе утверждение жизни?» – восторженно восклицает К.Спасская, опубликовавшая стихи на страницах журнала.

Стихи и в самом деле замечательные, едва ли не лучшие из напечатанных в настоящей главе. С огромной энергией выражается в них несокрушимая вера ребенка в бессмертие всего, что он любит. Так и слышишь мажорный мальчишеский голос, прославляющий жизнь, которой не будет конца.

Начальные слова каждой строки в этом детском четверостишии тождественны. Но чаще бывает, что в создаваемых ребенком стихах повторяются не первые слова, а последние, завершающие каждую строку. Характерно в этом отношении прелестное стихотворение Танюши Литвиновой, где в конце каждой строки варьируется слово «Москва»:

Город чудный Москва!
Город древний Москва!
Что за Кремль в Москве!
Что за башни в Москве!
Англичане в Москве!
И китайцы в Москве!
И все хвалят город Москву!

Как утверждает американская исследовательница детской психики Люси Спрэг Митчель, эта форма, столь часто встречающаяся в древнем восточном фольклоре, специфически свойственна детям. Митчель приводит такие стихи, сочиненные девочкой, еще не достигшей трехлетнего возраста:

Я упал в воду,

[151] «Родной язык и литература в трудовой школе», 1928, № 4–5, стр. 179.

Человек упал в воду,
Джон упал в воду,
Фор упал в воду,
Тетя Керри упала в воду.
Я достал лодку,
Человек достал лодку,
Джон достал лодку.
Фор достал лодку,
Тетя Керри достала лодку.
Я поехал в лодке,
Человек поехал в лодке,
Джон поехал в лодке,
Фор поехал в лодке,
Тетя Керри поехала в лодке[152].

Горе, что у нас так мало материалов. В нашей литературе до сих пор нет ни одного хотя бы краткого сборника стихов, сочиненных малыми детьми. Да и много ли существовало в прежнее время родителей, которые стали бы записывать такие стишки! Между тем эти стишки в своей массе могут принести несомненную пользу и педагогам, и критикам, и детским писателям, и даже художникам – иллюстраторам книг для детей. Даже художникам, потому что в огромном своем большинстве детские стихи отличаются изумительно четкой графичностью.

Это, так сказать, стиховые рисунки. Вспомним вирши Никиты Толстого: в каждой строке отчетливый зрительный образ, который словно создан для примитивнейшей графики:

Красивая лодка
По морю плывет,
По морю плывет.
За лодкой селедка
По морю плывет,
По морю плывет.

Четкий-четкий рисунок. Словно взял Никита карандаш и тремя штрихами нарисовал на бумаге «красивую лодку», плывущую (в профиль) в сопровождении сельди, которая нисколько не меньше, чем лодка, и до странности похожа на нее.

Такой же четкостью зрительных образов отличается стихотворение маленькой Ирины Ивановой, рисующее вид из окна во время гражданской войны и разрухи:

Дом поломанный стоит,
Крыша на земле лежит,
А рядом ребяты
Играют в солдаты.

Это именно рисунки в стихах. В четырех строках три рисунка: 1) сломанный дом, 2) сброшенная крыша, 3) играющие дети, и каждый из этих рисунков доведен почти до чертежа.

Из трубы идет дымок:
Мама жарит пирожок.

В четкой графичности детских стихов – указание художникам, иллюстрирующим детские книги, и поэтам, сочиняющим стихи для детей.

Жаль, что никто еще не разработал поучительней темы о взаимной связи детских стихов и рисунков и о параллельном развитии их форм.

---

[152] Л.Митчель, Книга рассказов про здесь и теперь, М. 1925, стр. 41–42.

Чтоб изучить все особенности детской поэзии, нам нужны не десятки стихотворений, а тысячи, и поэтому я обращаюсь к друзьям-читателям с усердной просьбой сообщать мне стихи детей, дабы мы могли приступить к самому широкому изучению детского творчества. А покуда в качестве сырого материала приведу здесь несколько любопытных стишков, сообщенных мне читателями в разное время:

СОЛНЦЕ
(Стихи трехлетней Таты)
Отворяйте ворота,
Солнце всходит на неба!

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
(Стихи двухлетней Оли)
Было сухо, стало мокро
Оля сделала пипи.

ПРОВОДЫ
(Стихи трехлетней Светланы)
Я иду по камушку,
Провожаю мамушку.

СВИНЬЯ
(Стихи четырехлетней Лизы)
Сидит
За столом
Семья,
И вдруг
Вылезает
Свинья.

СТЫДЛИВЫЙ МЕДВЕЖОНОК
(Стихи четырехлетней Оли)
В углу стоит мишка,
Улыбается на книжку,
Ему стыдно сказать,
Что не умеет он читать.

СТАРИК
(Стихи пятилетней Ирины)
В бедной деревне
Жил бедный старик,
Так много лет он
Жить не привык.

НА ДАЧЕ
(Её же)
Цветет редиска,
Поет артистка,
А я пью чай

Черезвычай.

ЗИМА
(Стихи четырехлетней Нины Глёкиной)
Я валяюсь на снегу.
Как приятно мне валяться,
Даже носом я могу
Ковыряться, кувыркаться.

Привожу для сравнения экспромты шестилетних детей:

ИЗ ОКНА
Гляжу из своего окошка
И вижу ясный день,
И зелени немножко,
И парусную тень.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОЛОВЕЙ
Вышли в сад пройтиться детки,
Посмотреться на реку.
Соловей сидит на ветке
И поет свое куку.

МОРЕРЕЦ
Море страшно зашумело,
Из моря вышел моререц.
Моререц! Моререц!
Принеси нам огурец.

Бывают минуты, когда ребенок в экстазе готов благодарить всю вселенную за то, что она существует. Один из таких гимнов природе создан шестилетним ленинградским поэтом Юрочкой Шенкманом:

СПАСИБО
Спасибо тебе, солнце, что ты есть!
Спасибо тебе, речка, что ты здесь!
Спасибо вам, цветы!
Спасибо вам, кусты!

Можно ли лаконичнее, сильнее и проще выразить тот восторг бытия, который так часто охватывает всю душу ребенка? Тот же восторг бытия – в экспромте пятилетней москвички Нины Глёкиной:

Наш сад – мир мой!
Мои горы, моря, леса, луга!
Весь мир мой!
Буду гонять! Буду скакать!
Буду носиться! Буду валяться!
Буду смеяться! Буду шалить!
Буду плясать! Буду любить!

Стихи, сочиняемые детьми, оказались интересны не только для педагогов, поэтов, худож-

ников, но также для певцов и музыкантов. Композитор С.Богуславский позаимствовал из моей книжки стихи Тани Литвиновой и Мити Толстого и положил их на ноты, которые и вышли когда-то в Москве в издании ЗИФа в качестве приложения к журналу «30 дней».

Немалую роль в раннем стихотворстве детей играют, конечно, взрослые. Выше было сказано, что первые свои «стиховые впечатления» дети получают еще в грудном возрасте, когда матери поют им колыбельные и другие подобные песни. Перелистывая свои дневники, я наткнулся в них на давнишнюю запись:

Четырехмесячный младенец лежит на кровати и пускает изо рта пузыри, а его мать, охваченная внезапным экстазом, вдруг бросается на него с поцелуями и выкрикивает такие слова:

Буцики, муцики, дуцики,
Руцики, пуцики, бум!
Куценьки вы, таракуценьки,
Пуценьки вы, марабу!

Этих слов она никогда не слыхала и ни разу никому не говорила. Обычно ее речи бывали банальны и скудны.

И вдруг такой праздничный расцвет словотворчества, такие фейерверки экзотических звуков!

И что всего замечательнее – эти «буцики, муцики, пуцики» образуют собою стихи: в них есть и ритм и рифмы. Бессловесная, темная женщина сделалась на время поэтессой. За всю свою жизнь она не имела и отдаленного отношения к стихам и вот заговорила стихами.

Всему виною ее четырехмесячный Санька, который лежит нагишом у нее на постели, пуская изо рта пузыри. Она только что кормила сына грудью и, чуть положила его на кровать, набросилась на него, как безумная, и стала кусать губами его голое тело, ненасытно вдыхая в себя его запах, и тут-то я услыхал ее странные «буцики».

Ритм этих «буциков» был продиктован ей рядом однообразных повторных движений, которые она производила в то время. Как я заметил потом, у всех матерей при таких обстоятельствах движения почти всегда одинаковы.

Неотрывно глядя на ребенка, женщина молча пятится к стене, и, отойдя шага на три, быстро возвращается к нему, произнося на ходу свою импровизированную стихотворную фразу, и снова молча пятится к стене, и снова совершает свое «нападение», произнося новую фразу (очень близкую вариацию старой), причем в конце каждой фразы ребенок как бы по сигналу заливается смехом. И это повторяется не меньше десяти или двенадцати раз строго размеренным темпом.

Оттого в материнских стихах такое правильное чередование пауз и такое четкое деление на строфы:

Рубашонка, шонка, шонка,
Рубашоночка!
Распашонка, шонка, шонка,
Распашоночка!
Для миленка, для дитенка,
Для дитеночка!

Так выкрикивала ночью у меня за стеной жена управдома, восхваляя новую рубашку своего грудного младенца.

Удивительно, что почти каждую мать охватывает такая внезапная страсть к ритмическим, стиховым излияниям во время каждого бурного приступа нежности.

Насколько я мог проследить, эти материнские стихи связаны с периодом кормления грудью.

Почему-то в течение всего этого времени женщина в своих речах, обращенных к ребенку, начинает проявлять тяготение к стихотворному ритму особенно в такие часы, когда она остается с ребенком одна.

Среди других категорий экстатической речи эти словоизлияния занимают не последнее ме-

сто, и если уж доискиваться первоистоков поэзии, то придется признать, что стихотворные навыки в значительной море внушены каждому из нас нашей матерью в пору раннего младенчества, прежде чем мы научимся говорить и ходить. Потому что, сама того не замечая, каждая мать почти всем своим обращением к ребенку невольно придает если не чисто стиховую, то речитативную форму, которая хотя и не влияет на форму первого младенческого лепета, но все же приучает ребенка к восприятию ритмов.

VII. ЕЩЕ О СТИХОВОМ ВОСПИТАНИИ

Если бы книжка моя называлась «от сорока до семидесяти», я непременно отметил бы в ней, что люди, достигшие этого возраста – пожилые и старые, сравнительно редко увлекаются чтением стихов.

Конечно, они не прочь иногда почитать того или иного поэта, но кому же из них придет в голову изо дня в день – и подолгу! – упиваться стиховыми созвучиями!

Одним гораздо милее кино, другие питают пристрастие к симфонической музыке, третьи – к живописи, четвертые – к шахматам, пятые любят романы и повести.

И это вполне естественно. Нельзя же требовать от инженеров, врачей, математиков, шахтеров, геологов, чтобы стиховые созвучия были в центре их умственной жизни!

Вообще я знаю десятки людей, которым стихи не нужны. Заставьте иного сорокалетнего человека, даже из числа образованных, прочитать «Илиаду», или «Калевалу», или «Метаморфозы» Овидия, или Тютчева, или Блока, или Кольриджа, или Роберта Бернса, и он утомится после первых же строк и, воспользовавшись первой же возможностью, увильнет от дальнейшего чтения.

Среди взрослых я видел даже таких чудаков, которые предпочитают услышать «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина» в опере и не знают «Домика в Коломне» – так как эти гениальные октавы Пушкина еще никто не догадался поставить в кино.

Но есть среди нас миллионы существ, которые все до единого пламенно любят стихи, упиваются ими, не могут без них обойтись. Это – дети, особенно маленькие. Среди взрослых вдохновенный поэт есть редчайшее явление, «чудо родины своей», а среди детей 99 % – поэты. Ребенку еще нет и двенадцати месяцев, он еще не владеет активной речью, а посмотрите, с каким ненасытным удовольствием слушает он и бессмертные «Ладушки», и «Сороку-ворону», и «Кошкин дом», и другие шедевры народной поэзии.

Стихи для них – норма человеческой речи, естественное выражение их чувств и мыслей.

А на третьем, на четвертом году как жадно воспринимает ребенок стихотворные сказки, иногда очень длинные, по триста – четыреста строк, то есть целые поэмы, сразу после третьего чтения запоминает их полностью, от доски до доски.

И все же деспотически требует, чтобы их читали ему еще и еще несколько раз подряд, доведя до изнеможения и маму и бабушку, а порой и воспитателей детского сада.

Иные взрослые даже пугаются: не повредила бы незрелому мозгу такая тяжкая стиховая нагрузка.

Но для ребенка она не тяжка, тем более что по миновании надобности ребенок сам освободится от нее: после того как эти сотни стихов, усвоенные изумительной детской памятью, сыграют свою немаловажную роль в деле умственного и эмоционального развития ребенка, ребенок тотчас же разгрузится от них и сохранит в памяти лишь сотую долю тех текстов, которые он знал наизусть в возрасте от двух до пяти.

Здесь сказывается с особой наглядностью диалектичность духовного развития детей. Ведь и собственное их стихотворство, и их неодолимая тяга к стихам, к слушанию и запоминанию стихов отвечают временной, скоропреходящей, но очень сильной потребности их интеллектуального роста.

Воспитателям нельзя не воспользоваться этим «стиховым периодом» в жизни своих малолетних питомцев, памятуя, что именно в этот период стихи являются одним из сильнейших средств педагогического воздействия на мысли и чувства ребенка; я не говорю уж о том, что они помогают ему ориентироваться в окружающем мире, а также плодотворно способствуют совершенствованию его языка.

Благодаря этим изящным словесным конструкциям, подчиненным гибкому музыкальному

ритму, богато украшенным звонкими рифмами, ребенок играючи, без малейших усилий еще прочнее закрепляет в уме словарь и строй общенародной речи.

А если это так, нам, пишущим стихи для детей, необходимо обсудить со всей серьезностью, каким образом должны мы ответить на эти жизненно важные запросы ребенка, какую форму должны мы придать создаваемым нами стихам, каких художественных методов должны мы придерживаться, чтобы стихи эти полюбились ребенку, стали для него желанны и близки.

Проблема эта не представляет особенных трудностей, ибо здесь у нас немало учителей и предшественников. И первый учитель, конечно, – народ, создавший в течение веков чудесные стихи для детей, недосягаемые образцы национальной поэзии.

Второй наш учитель – ребенок. Конечно, мы не должны раболепно приспособляться к нему и отказываться от суверенной роли его воспитателей, но если мы самым пристальным образом не изучим его вкусов и требований, нам никогда не удастся творчески влиять на него и все наши усилия закончатся горестным крахом, ибо ребенок настоятельно требует от нас таких-то и таких-то стихов, оформленных так-то и так-то, и знать не желает других. Знаменитая мысль Толстого о том, что мы должны учиться писать у детей, была воспринята когда-то педагогами как эффектный парадокс гениального «чудака», но вся наша литературная практика служит подтверждением этой мысли.

Впрочем, обо всем этом речь впереди, а теперь мне хотелось бы снова вернуться к стиховому воспитанию детей.

Здесь советским педагогам приходится идти по целине, так как педагогическая практика старого времени даже не ставила перед собою подобной задачи. Детское стихотворство трактовалось тогда как сумасбродная блажь, которую никоим образом нельзя поощрять. Сохранилось немало свидетельств такого презрительного отношения к детским стихам. Думаю, что иные из этих свидетельств будет, пожалуй, небесполезно напомнить.

VIII. ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

Молчаливый, насупленный мальчик поступил в Царскосельский лицей, где когда-то учился Пушкин. Вскоре оказалось, что он пишет стихи. Начальник и учителя всполошились. Изобличенный поэт был наказан. Но он не раскаялся и продолжал стихотворствовать, пряча свои стихи то в рукав, то в сапог. Их с торжеством извлекали оттуда и снова присуждали преступника к заслуженной каре.

Звали его Михаил Салтыков. Впоследствии, уже великим писателем, он не раз вспоминал, как усердно гасила в нем поэтический дар эта хваленая школа. Из автобиографии Салтыкова мы знаем, что за «стихотворную деятельность», а «равным образом за чтение книг» его особенно преследовал учитель русского языка, тот самый, которому больше всего надлежало бы радоваться литературным тяготениям даровитого мальчика[153].

В ту пору Царскосельский лицей кичился своей верностью «традициям Пушкина», и если уж он преследовал детское поэтическое творчество, как недопустимый порок, что же сказать о школах обычного уровня, не притязавших на «литературный уклон»!

Одаренных детей и тогда было множество, но в тех условиях, в которых они находились тогда, только чудо могло спасти их таланты от гибели. Как нечто стыдное, как скверную болезнь, приходилось им скрывать свои таланты. Одиннадцатилетний Шевченко, чувствуя неукротимое влечение к живописи, должен был прятаться со своими рисунками в колючий бурьян, «щоб не почув хто, не побачив», и горе было бы ему, когда бы об этих рисунках проведал его драчливый учитель…

И в литературе того времени неуважение к детскому творчеству было самым заурядным явлением. У Николая Успенского есть забавный рассказ: пустяковые люди от нечего делать издают в деревенском захолустье газету. Чтобы показать, какая дрянь была эта газета, автор одним из ее сотрудников выводит десятилетнего мальчика и тут же сообщает образец его творчества:

«Появилось солнце, улыбаясь, точно юноша, беспечно играющий на руках (!) своей мате-

[153] Н.Щедрин (М.Е.Салтыков), Полн. собр. соч., т. I, М. 1941, стр. 81–82.

ри»[154].

Такая ахинея казалась в то время типичной для литературных попыток детей.

Автор «Антона Горемыки» Д.В.Григорович в своем «физиологическом очерке» «Скучные люди», перечисляя разные категории унылых и нудных субъектов, не забыл также и «всех мальчиков от двенадцати до восемнадцати лет включительно, одаренных каким-нибудь талантом». Сочиняют ли эти мальчики стихи, рисуют ли картинки, они равно вызывают в писателе брезгливую скуку, и он ставит их на одну доску с тупицами.

«Таких юношей, – с горечью пишет Д.В.Григорович, – является год от году больше и больше; они распложаются, как кролики. Дай только бог, чтобы скука (!), которую они наводят в юношеских летах, вознаградилась чем-нибудь в зрелом возрасте»[155].

Нынче эти строки кажутся нам непонятными. У нас так привыкли интересоваться художественным творчеством одаренных детей, что мы часто не в силах представить себе зевоту, с которой старик беллетрист говорил о пишущих и рисующих детях.

Другой влиятельный писатель сороковых – пятидесятых годов А.В.Дружинин в своем шуточном романе «Чернокнижников» посвящает целую главу осмеянию мальчика, который пишет стихи. Глава так и называется: «Опыты девятилетней музы, или Удивительный крошка, подающий большие надежды». Как явствует из романа, никаких надежд этот крошка не мог подавать никому, а просто его чванные родители разжигали в нем зуд честолюбия, похваляясь его творчеством перед своими гостями, и, когда он читал им кривые стишки, его возносили до небес как великого гения. Несмотря на хихиканье автора, чувствуешь острую жалость к несчастному, ни в чем не повинному мальчику.

«Лицо его, – читаем в романе, – было необыкновенно худо и зелено. Он, казалось, едва передвигал ноги.

– Отчего он так худ? Видно, болен…

– О нет, не думайте. Он часто работает ночью и оттого немного ослаб…»[156]

Ребенок работает ночью! И когда он декламирует стихи, родители поят его вином!

Для Дружинина все это уморительный случай – и только.

Но вот в Москву, в Центральный дом художественного воспитания детей было однажды прислано свыше пяти тысяч детских рукописей со всех концов Советского Союза: из Омской области, из Ташкента, из Мурома, из Баку, из Алтайского края, ибо этот Дом объявил среди школьников всех республик, областей и краев всесоюзный конкурс на лучшее произведение искусства. В этом конкурсе я принял участие в качестве члена жюри. Конкурс был строг и требователен. Все банальное, дряблое отметалось беспощадной рукой, и поощрялись произведения искренние, свежие, подлинно детские, не лишенные в то же время определенных литературных достоинств.

Сколько, например, этой свежести в таком самобытном изображении тыквы, которое дано белозерским школьником Сережей Орловым:

Лежит рядочком с брюквой,
И кажется, вот-вот
От счастья громко хрюкнет
И хвостиком махнет.

Стихи обрадовали меня своей очаровательной детскостью. Так и видишь озорную физиономию их юного автора. Придавать динамичность неподвижному образу – эта склонность детского ума нашла здесь блестящее свое выражение[157].

С такой же энергией свежего чувства выражено любование летним пейзажем в стихотворе-

[154] Н.Успенский, Повести, рассказы и очерки, М. 1957, стр. 148, «Деревенская газета».

[155] Д.В.Григорович, Скучные люди, Полн. собр. соч., Т. VIII, СПб. 1896, стр. 32.

[156] «Чернокнижников», Собр. соч. А.В.Дружинина, т. VIII, СПб. 1867, стр. 28–36.

[157] Нынче Сергей Орлов стал профессиональным писателем.

нии алтайского восьмиклассника Константина Евстафьева:

И синевы кругом так много,
Хоть зачерпни ведром и пей.

Перечитывая произведения ребят, присланные в Дом художественного воспитания на конкурс, видишь, как разнообразны их темы. Этому разнообразию мог бы позавидовать и взрослый поэт. Вот стихи о геологии, вот о биноме Ньютона. Вот о старике чабане. Вот о концерте скрипачки Марины Козолуповой:

Нежно звенит и дрожит в тишине
Песня о счастье в великой стране.

Вот – о солнечных зайчиках, о лыжах, об утках, о красоте зимней и летней природы; но, естественно, больше всего в этих детских стихах воспевается счастье.

Все советские дети-поэты являются чуть не с пятилетнего возраста представителями так называемой «гражданской поэзии». Подобно своим взрослым собратьям, они не могут не петь о героике нашей эпохи, а наряду с этим у них пробивается тема, которая до недавнего времени считалась почему-то запретной: любовь.

Школа ханжески притворялась, будто ей совершенно неведомо то обстоятельство, что юношам и девушкам девятого и десятого классов свойственно порою влюбляться друг в друга. Любовь третировалась школой как постыдное подпольное чувство, которое необходимо замалчивать. Эти школьные стихи о любви являются протестом против такой педагогики. Виктор Яконовский, калининский школьник, пишет о разлуке с подругой:

На листву зеленую, блестящую
Ветерок веселый набежал
Я простился с ней по-настоящему:
Я ей руку бережно пожал.

Однако, читая и перечитывая стихи, присланные на конкурс, ясно видишь: это самотек. Там, на местах, никто не руководил стиховым воспитанием детей. Очень были рады их творчеству, проявляли нежнейшую заботу о них и в то же время ничему не могли научить их, так как и сами не обладали необходимыми знаниями.

И главное: как ни дорого само по себе наше бережное и заботливое отношение к талантливым детям, необходимо признаться, что порою оно кое-где принимало чрезмерные формы.

Вместо того чтобы научить малышей серьезно и требовательно относиться к своей литературной работе, курили им такой фимиам, что те нередко задирали носы и начинали чувствовать себя боговдохновенными гениями, для которых никакие законы не писаны. Помню, в какой-то школе я поднимался по лестнице, набитой детьми, – и вдруг мальчишка в бархатной артистической курточке, протискиваясь сквозь густую толпу, сильно задел меня футляром от скрипки, и когда я, рассердившись, спросил его, как он смеет толкаться, он бесцеремонно пояснил на бегу:

– Я – юное дарование… спешу на концерт.

Быть юным дарованием сделалось что-то вроде профессии. «Я – юное дарование» – эти слова произносились таким же голосом, как: «Я – зубной врач», или: «Я – сотрудник газеты „Известия“».

В ту пору стоило ребенку сочинить какой-нибудь колченогий стишок или сыграть на скрипке вариации «Чижика», взрослые тотчас же приклеивали ему ярлык «юное дарование», причем все это производилось нередко самым бюрократическим способом. У меня хранится вырезка из «Красной газеты», где приводится текст удостоверения, выданного ленинградской школой одной семикласснице:

«Дана сия справка ученице седьмого класса пятой полной средней школы Смольнинского района Татьяне Хвостаткиной в том, что… ее по стихосложению можно считать одаренной.

Завуч такой-то»[158].

В канцелярии школы к этой чудовищной справке приложили, конечно, печать, и таким образом дарование Тани Хвостаткиной уже не могло подлежать никакому сомнению.

Слово «талант» – драгоценное, редкостное, огромное слово, а чиновники педагогического ведомства (увы, они не вывелись и до настоящего времени) норовят сделать его дешевою кличкою, раздаваемой направо и налево при помощи канцелярских бумажек.

Замечательно, что сами дети, имеющие склонность к искусству, не хотят мириться с подобными кличками. За несколько лет до войны в ленинградской Академии художеств, в круглом парадном зале, собралось по какому-то случаю человек двести детей, стремящихся стать живописцами, и ораторы, обращая к ним свои слащавые речи, то и дело повторяли заискивающе:

– Вы – будущие Брюлловы… Вы – молодые таланты…

Я тогда же взошел на кафедру и громко запротестовал против этой антипедагогической лести, а потом, поговорив в кулуарах с детьми, убедился, что среди них немало таких, кому она противна, как и мне.

– Называть нас талантами вы будете лет через десять… а покуда не мешало бы нас поучить, – таков был смысл многочисленных откликов, вызванных среди детворы бестактными дифирамбами взрослых.

И характерно: те дети, которые горячее всех возражали против навязываемого им ярлыка «юные дарования», оказались, когда я ближе познакомился с ними, наиболее одаренными. Захваливая авансом того или иного ребенка, проявившего тяготение к искусству, эти педагоги тем самым развивали в нем чванство, способствовали его отрыву от коллектива товарищей и готовили ему судьбу неудачника.

К счастью, все это явственно, у нас на глазах, отодвигается в прошлое. Наряду с уважением к детскому творчеству мало-помалу у передовых педагогов складываются необходимые навыки для приобщения детей к подлинной словесной культуре. Уже среди руководителей школьных литературных кружков порою встречаешь работников, которые способны умело и вдумчиво оказать начинающим авторам необходимую помощь, оснастить их таланты наиболее совершенной писательской техникой. Но таких руководителей все еще мало. Здесь нужны не одиночки, а целые кадры литературно образованных людей, вооруженных и вкусом, и пониманием, и педагогическим тактом. В последние годы уже созданы все предпосылки для того, чтобы эти кадры могли появиться.

Да и чуткость взрослых наблюдателей к детским стихам повышается.

«Я думаю, вы правы, – пишет мне Н.Дмитриева из Москвы, – что первый намек на хорей получает ребенок от материнских песен:

На гусенышке пушок,
Спи, мой мальчик, кудряшок.

Я проверила на себе, что всякий другой ритм совершенно не вяжется с колыбельной. Заведешь, бывало, гречаниновскую: „Спи, моя девочка, спи, моя милая“ и т. д., и незаметно перейдешь на удобную любимую: „Спи, мой мальчик“ (хоть и баюкаешь дочь), да еще на самый простонародный, испытанный мотив, и в такт прихлопываешь рукой по маленькому тельцу – как же могут эти первые звуки остаться бесследными для ребенка?»

Жена композитора Ванелова пишет мне о своей маленькой дочери: «Маринка с пеленок любила рифмы. Я смеюсь, что она начала сочинять стихи с 1 года 5 месяцев. Мы увидели поезд. Маринка замахала ручкой и закричала:

Дидидади!

Тети, дяди!

Обычно она вместо до свидания говорила дидади, так что лишний слог прибавила здесь для размера».

Наблюдение тонкое, требующее повышенного внимания к детской речи. И таких наблюдений в последнее время становится все больше и больше. Между тем в двадцатых годах, в то да-

[158] «Красная газета» от 19 мая 1936 года.

лекое время, когда я готовил к печати первое издание этой книжки, мне пришлось работать в одиночку, так как ни в семьях, ни в детских домах не нашлось наблюдателей, которые сочувствовали бы безрассудной затее изучать стихотворство двухлетних-трехлетних ребят.

* * *

Выше я сказал, что у особо одаренных детей влечение к музыке стиха, к его ритму сохраняется и после того, как они выходят из дошкольного возраста.

Вот, например, прекрасное, богатое живыми интонациями стихотворение семилетнего Кости Райкина:

УМ ЧЕЛОВЕКА
Быть может, умней человека лисица,
Быть может, хитрее бизон,
Но, если вдруг дым из ружья заклубится,
Тогда убегает и слон.
А это ружье ведь придумали люди.
И нету ружья у зверей.
Не могут медведи, не могут верблюды
Быть человека умней.
Так, значит, сильней всех зверей он на свете:
Хозяин лесов он и рек,
Хозяин пустыни и тундры хозяин
Могуч и умен человек.

И вот стихи десятилетнего Володи Лапина с безупречным ритмом и точной рифмовкой.

МОЛОТОК
Я им стучу, стучу, стучу.
Я гвоздик им заколочу,
Я табуретку им собью,
Я им подкову сам скую.
Он честный друг,
Он лучший друг
Моих рабочих рук.

В тринадцать лет тот же Володя писал:

ВЕСНА
Лопнуло терпенье:
Пенье ручейков,
Первых листьев пенье
Пение без слов.
Птиц весенних пенье.
Нет, нельзя терпеть!
Лопнуло терпенье:
Сам хочу запеть!

Глава шестая
ЗАПОВЕДИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПОЭТОВ
(Разговор с начинающими)

I. УЧИТЬСЯ У НАРОДА. – УЧИТЬСЯ У ДЕТЕЙ

Удивительная история случилась в России с одним молодым человеком. Он приехал в столицу учиться и неожиданно для себя, без натуги создал гениальную книгу, бессмертное творение русской словесности, которое живет уже больше ста лет и, несомненно, проживет еще столько же.

Девятнадцатилетний, круглощекий, безусый юнец, только что со школьной скамьи, – как изумился бы он, если бы кто-нибудь тогда, в 1834 году, предсказал ему великую судьбу его полудетского опыта!

Громко засмеялись бы тогдашние критики, если бы кто заикнулся о том, что эта бедная рукопись угловатого провинциального юноши есть классическое произведение русской поэзии, которое и тогда будет волновать миллионы сердец, когда навеки засыплются библиотечной пылью многошумные книги знаменитейших Кукольников, Бенедиктовых, Гречей, Сенковских и прочих кумиров тогдашней читающей публики.

Звали юношу Петр Ершов, а его книга была «Конек-горбунок».

В литературной биографии Ершова меня всегда поражали две странности. И первая странность такая. Почему, после того как он незрелым юнцом написал свою знаменитую книгу, он до конца дней уже не мог написать ничего, что по литературному качеству могло бы хоть в какой-нибудь мере сравниться с его юношеским, ранним шедевром? Жил он долго, и у него хватило бы времени сочинить хоть десять таких же замечательных книг, а он сразу после «Конька-горбунка» утратил всю силу своего дарования. Не то чтобы он бросил перо – он продолжал писать, и порою с большими претензиями, но у него почти всегда получались дюжинные, эпигонские вещи, лишенные каких бы то ни было ярко выраженных, индивидуальных особенностей. Вскоре после «Конька-горбунка» были написаны им: напыщенная поэма «Сибирский казак», в духе мистических баллад реакционной романтики, либретто для оперы «Страшный меч», драматический анекдот «Суворов и станционный смотритель» и т. д. Его биограф так и пишет об этой полосе его жизни: «Он мечется, берясь за самые разнохарактерные литературные работы… пытает свои силы в драматургии, пишет либретто для опер»[159]. И все это было, пожалуй, неплохо, но, повторяю, не шло ни в какое сравнение с «Коньком-горбунком».

Часто случалось читать, будто эта творческая трагедия Ершова произошла оттого, что он вскоре после «Конька-горбунка» уехал к себе в Сибирь, сделался инспектором, а позднее директором тобольской гимназии и с головою был втянут в тину захолустной чиновничьей пошлости. Это, конечно, вздор. Мало ли было чиновников среди замечательных русских писателей: и Крылов, и Даль, и Гончаров, и Щедрин, – но из-за этого они не утратили своих дарований тотчас же после первого литературного опыта.

Еще более разительной кажется мне вторая странность биографии Ершова. Почему, создавая свою детскую книгу, которая является, так сказать, хлебом насущным для всех пятилетних, шестилетних, семилетних детей, он ни разу не догадался, что это детская книга?

И никто из окружавших его тоже не догадался об этом. Барон Брамбеус напечатал первую часть его книги в «Библиотеке для чтения», издававшейся исключительно для взрослых читателей. И критики мерили ее только такими мерилами, которыми измеряются книги для взрослых. А если бы Ершов вздумал сунуться со своим «Коньком-горбунком» в журнал для детей, оттуда вытолкали бы его «Горбунка», как мужика-деревенщину, затесавшегося на губернаторский бал.

За всю свою долгую жизнь он почти никогда уже не возвращался к «простонародному», крестьянскому стилю, которым написан «Конек-горбунок», а пытался культивировать стиль тогдашней высокой поэзии, сочиняя послания, эклоги в духе Жуковского и даже вычурные стихотворения в бенедиктовском духе, хотя и был в этой области неудачлив и даже безличен, то есть похож на всякого другого из тогдашних середняцких писателей.

И тут, мне сдается, разгадка первой странности его биографии. Мастер русского народного стиля, которым он владел в совершенстве, он тотчас после «Конька-горбунка» отрекся от этого стиля, пренебрег им и ни разу не сделал попытки вернуться к нему в своем творчестве (если не

[159] В.Утков, П.П.Ершов. Вступительная статья к «Коньку-горбунку» и другим стихотворениям Ершова в малой серии «Библиотеки поэта», Л. 1951.

считать «Русской песни», написанной им вскоре после «Конька-горбунка», и еще двух-трех произведений такого же рода, проявлявших тенденцию к модному в те времена стилизаторству). Его биограф очень верно указывает: «Там, где искрой вдохновения Ершову служит народное творчество, где он остается верным своему светлому таланту сказочника и поэта, там он находит и нужные краски, и выразительную красоту языка, и естественность хода событий, и задушевность, которые всегда получают отклик в сердце читателя. Но как только он становится на ходули романтизма или переходит на чуждую его поэтическому таланту почву бытописательства и религиозного мистицизма, силы изменяют ему»[160].

Отсюда все его неудачи и немощи: он оторвался от своей почвы, от народа, который дал его творчеству такие могучие соки, – от народной речи, народного юмора, народного мировоззрения, народной эстетики.

И тут, как мне кажется, ключ ко второй особенности его трагической биографии.

При Николае I «Конек-горбунок» был долго под цензурным запретом. А потом малопомалу стал печататься как лубочная книга для низового читателя. Ею бойко торговали офени в деревнях и на ярмарках – наравне с ситцами, сонниками, иконами, пряниками.

Однако прошло лет тридцать, и она вошла в литературу опять, но уже в качестве книги для маленьких. Маленькие отвоевали ее у больших и навсегда завладели ею, как драгоценной добычей, и тут только большим удалось разглядеть, что для детей это в самом деле хорошая пища – вкусная, питательная, сытная, способствующая их духовному росту.

К тому времени в нашей стране произошли огромные социальные сдвиги. Русская педагогика стала служить разночинцу, которому не могла не прийтись по душе демократическая идея и простонародная форма ершовского «плебейского» эпоса.

Отвоевав эту книгу у взрослых, дети передали ее по наследству своим внукам и правнукам, и правнукам правнуков, и нельзя представить себе такое поколение русских детей, которое могло бы обойтись без нее.

Тут великий урок для всех нас. В этой поучительной судьбе «Горбунка» был явно для всех поставлен знак равенства между детьми и народом. Детское и народное оказались синонимами.

И подобных случаев в истории нашей литературы немало. Именно в силу своей народности многие подлинно народные книги не раз преображались в книги детские. Судьба «Горбунка» повторяет судьбу сказок Пушкина. Пушкин писал их для взрослых тоже в порядке усвоения и разработки фольклора. Взрослые отнеслись к ним с высокомерной брезгливостью, видя в них падение Пушкина, и даже Баратынский сердился – как смеет великий поэт отдавать свои силы такому «низкопробному» жанру. А дети, к которым и не думал обращаться поэт, когда писал своего «Салтана», «Золотого петушка» и «Царевну», ввели их в свой духовный обиход и лишний раз доказали, что народная поэзия в высших своих достижениях часто бывает поэзией детской.

Все сказки Пушкина, все до одной, были сказки крестьянские и по словарю и по дикции.

И если мы вспомним, что басни Крылова тоже возникли как литература для взрослых и тоже с непревзойденным совершенством воссоздали народную речь, у нас будет полное право сказать, что русский народ (то есть русский крестьянин, потому что народ в ту пору был почти сплошь деревенским) продиктовал писателям самые лучшие детские книги. Их устами великий русский народ утверждал свою веру в вечную победу добра, милосердия, правды над криводушием, жестокостью, ложью. Таковы же детские стихотворения Некрасова, детские книги Льва Толстого, Ушинского, насквозь пропитанные фольклором.

Параллельно с этими народными книгами в XIX веке возникла ненародная, антинародная детская литература, начиная с ишимовской «Звездочки» и кончая «Задушевным словом» Маврикия Вольфа. Вполне понятна литературная немощь этой оторванной от народа словесности. Понятно, почему от нее не осталось теперь ничего или почти ничего. К концу века с детской литературой случилось то самое, что когда-то случилось с Ершовым. Чуть она оторвалась от народной эстетики, народного юмора, народных идеалов и вкусов, она тотчас же стала бесплодной.

Тот бурный ренессанс «большой литературы для маленьких», который начался у нас лет сорок назад, ознаменован обращением детской поэзии к фольклору. В критике давно было отме-

[160] В.Утков, Вступительная статья к «Сочинениям», П.П.Ершова, Омск, 1950, стр. 27.

чено, что детские стихи Маяковского «обильны фольклорными реминисценциями» и что, например, начало «Сказки о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» – типичная народная считалка, приближающаяся по своим интонациям к традиционным числовкам:

Жили-были
Сима с Петей.
Сима с Петей
были дети.
Пете 5,
а Симе 7
И 12 вместе всем[161].

Читаешь эти строки и невольно делаешь те самые жесты, какие делает перед началом игры всякий ребенок, произносящий считалку среди пяти или шести своих сверстников.

Пристальное изучение «алмазной» речи народа проявилось не только в повестях и романах А.Н.Толстого, но и в тех «Русских народных сказках», тексты которых он с таким тонким искусством сконструировал из разных вариантов фольклора[162].

Или вспомним, например, «Петрушку» Маршака, где так искусно использованы широкие и емкие формы раешного стиля, его же «Кошкин дом» и «Терем-теремок», творчески воссоздающие стиль устной народной поэзии и в то же время далекие от внешних стилизаторских приемов. И в других жанрах, казалось бы очень далеких от фольклорной тематики, у него то и дело звучат отголоски народной поэтической речи; например, в сказке «Вчера и сегодня»:

Подходили к речке близко,
Речке кланялися низко:
– Здравствуй, речка, наша мать,
Дай водицы нам набрать!..
и т. д.

Беседуя в печати о поэзии, Маршак призывал молодежь к истокам народного творчества[163].

И конечно, в своих переводах он не мог бы так верно передать дух английских детских народных песенок, если бы не ориентировался на звучание и стиль русского фольклора для детей.

Об этой же органической связи нашей детской поэзии с фольклором говорит и Агния Барто: «Ведь у детской поэзии, безусловно, есть свои законы. Она, например, особенно широко пользуется изобразительными средствами народной поэзии. В лучших стихах для детей мы находим гиперболу, повторы, звукоподражание, меткую игру слов, считалку, загадку»[164].

И разве лучшие из басен Сергея Михалкова не утратили бы всей своей поэтической силы, если бы в их упругих строках не слышалось того же хлесткого, чуть озорного народного юмора, который так полно отразился в фольклорных поговорках, дразнилках, потешках, небывальщинах, пословицах, сказках? Да и сама эта упругая форма, такая лаконичная и четкая, – разве не создавалась она для поэта все той же народной традицией?

Вообще в произведениях Михалкова часто слышится то близкое, то отдаленное эхо фольклора. Так, например, и сюжет, и самая форма его замечательного по своей словесной чеканке стихотворения «Как старик корову продавал» подсказаны ему устной народной поэзией, равно как и старинная притча об упрямых баранах, встретившихся на узком мосту:

Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.

---

[161] М.Китайник, Детский фольклор и детская литература. Журнал «Детская литература», 1940, № 5, стр. 12–15.

[162] А.Толстой, К молодым писателям, «Новый мир», 1930, № 2.

[163] С.Маршак, О хороших и плохих рифмах. Сб. «Воспитание словом», М. 1961, стр. 102–111.

[164] А.Барто, О стихах для детей, «Литературная газета», 1958, № 2.

И хотя в стихотворении «А у вас?» фабула городская, московская, уже первые его строки заранее подготовляют нас к тому сплаву народного стиля с детским, которым и определяется стиль Михалкова.

Как верно указывает Сергей Баруздин, «близость» стихов С.Михалкова к народной поэзии подтверждается тем, что многие их строки вошли в обиходный разговорный язык: «Из районных великанов самый главный великан», «Мы с приятелем вдвоем замечательно живем», «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» и т. д.

«В стихотворении «Красная Армия», – говорит тот же критик, – поэт использует характерный для народной песни прием параллелизма:

Мы летаем высоко,
Мы летаем низко,
Мы летаем далеко,
Мы летаем близко[165].»

И чего стоили бы лучшие драмы Евгения Шварца, если бы он не опирался на русский и всемирный фольклор, творчески преобразуя его.

Могущество народной традиции мне пришлось испытать и на собственном опыте. Когда я приступал к сочинению детских стихов, я долго не мог отыскать для них живую, органическую форму. Тогдашняя поэзия, которую предлагали ребятам всех возрастов – «Путеводные огоньки», «Светлячки», «Родники», «Задушевные слова» и т. д., - отличалась самой оголтелой бесстильностью (вследствие полного распада ее идейных основ). И лишь мало-помалу, после многих неудач и шатаний, я пришел к убеждению, что единственным компасом на этом пути для всех писателей – и сильных и слабых – является народная поэзия (см., например, «Муху-Цокотуху», «Краденое солнце», «Федорино горе» и др.).

Это, конечно, не значит, что наша задача – имитация старинного народного творчества. Копии фольклора никому не нужны. Но нельзя же игнорировать то обстоятельство, что народ в течение многих веков выработал в своих песнях, сказках, былинах, стихах идеальные методы художественного и педагогического подхода к ребенку и что мы поступили бы весьма опрометчиво, если бы не учли этого тысячелетнего опыта.

Однако, как уже сказано выше, не только у народа должны мы учиться. Второй наш учитель – ребенок. Я, по крайней мере, никогда не дерзнул бы приступить к сочинению моих «Мойдодыров», если бы не попытался дознаться заранее, каковы потребности и вкусы малолетних «читателей», к которым мне предстоит адресоваться со своими стихами, и каков наиболее правильный метод сильнейшего воздействия на их психику.

Нельзя понимать дело так, будто я призываю угодливо приспособляться к ребенку. У нас, повторяю, нет и не может быть права отказываться от обязанности воспитывать его, влиять на него, формировать его личность, но эту обязанность нам только тогда удастся исполнить, если мы досконально изучим умственные навыки ребенка, методы его своеобразного мышления и попытаемся возможно точнее определить для себя, каковы должны быть те литературные формы, которые в данном случае окажутся наиболее действенными.

Конечно, писал я стихи инстинктивно, без оглядки на какие бы то ни было правила. Но в моем подсознании правила эти существовали всегда; они были подсказаны мне самой детворой, я считал их тогда непреложными и верил, что они универсальны, то есть обязательны для всякого автора, пытающегося писать для детей. Ни Маршак, ни Михалков, ни Барто, ни другие мои товарищи по литературному служению детям еще не приступали к работе, и я не мог проверить на их писательской практике правильность моих тогдашних догадок. Теперь я могу сказать, не боясь ошибиться, что хотя творчество этих поэтов внесло в мои «заповеди» ряд коррективов, но в главном и основном оно подтвердило их правильность, поскольку дело идет о стихах для дошкольников младшего и среднего возраста.

[165] Сергей Баруздин, О большой школе и одном из ее воспитанников (Заметки о работе С.Михалкова в поэзии для детей). Сборник «Детская литература», 1959, Детгиз, М. 1959, стр. 97.

II. ОБРАЗНОСТЬ И ДЕЙСТВЕННОСТЬ

О первой заповеди уже было сказано выше. Она заключается в том, что наши стихотворения должны быть графичны, то есть в каждой строфе, а порою и в каждом двустишии должен быть материал для художника, ибо мышлению младших детей свойственна абсолютная образность. Те стихи, с которыми художнику нечего делать, совершенно непригодны для этих детей. Пишущий для них должен, так сказать, мыслить рисунками[166].

Стихи, печатаемые без рисунков, теряют чуть не половину своей эффективности.

«Мама, покажи!» – кричал ребенок, когда одна из сотрудниц издательства читала ему «Тараканище» в корректурных листах без рисунков. Он чувствовал, что в данном случае зрительный образ и звук составляют органическое целое. А так как детское зрение на первых порах воспринимает не столько качество вещей, сколько их движения, их действия, сюжет поэмы для малых детей должен быть так разнообразен, подвижен, изменчив, чтобы каждые пять-шесть строк требовали новой картинки. Там, где этого нет, детские стихи, так сказать, не работают.

Если, написав целую страницу стихов, вы замечаете, что для нее необходим всего один-единственный рисунок, зачеркните эту страницу как явно негодную. Наибыстрейшая смена образцов – здесь, как мы видели выше, второе правило для детских писателей.

Третье правило заключается в том, что эта словесная живопись должна быть в то же время лирична.

Поэт-рисовальщик должен быть поэтом-певцом.

Ребенку мало видеть тот или иной эпизод, изображенный в стихах: ему нужно, чтобы в этих стихах были песня и пляска.

То есть ему нужно, чтобы они были сродни его собственным стихам-экикикам.

Если же их невозможно ни петь, ни плясать, если в них нет элементов, составляющих главную суть экикик, они никогда не зажгут малолетних сердец.

Чем ближе наши стихи к экикикам, тем сильнее они полюбятся маленьким. Недаром в детском фольклоре всех стран уцелели в течение столетий главным образом песенно-плясовые стихи.

Эта заповедь труднее всех других, так как поэт-рисовальщик почти никогда не бывает поэтом-певцом. Тут две враждебные категории поэтов. Можно ли требовать, чтобы каждый эпизод, изображаемый в стихотворении с графической четкостью, был в то же время воспринят читателями как звонкая песня, побуждающая их к радостной пляске?

Всю трудность этой задачи я вполне сознавал, когда пригашался за сочинение своей первой «поэмы для маленьких». Но мне было ясно, что эта задача – центральная, что без ее решения нельзя и приступать к такой работе. Предстояло найти особенный, лирико-эпический стиль, пригодный для повествования, для сказа и в то же время почти освобожденный от повествовательно-сказовой дикции. Мне кажется, что всякие сказки-поэмы и вообще крупные фабульные произведения в стихах могут дойти до маленьких детей лишь в виде цепи лирических песен – каждая со своим ритмом, со своей эмоциональной окраской.

Речь идет о большой эпопее, которую я и пытался воскресить в нашей детской словесности через семьдесят лет после «Конька-горбунка». Чувствуя, что ее прежние формы, выработанные деревенско-дворянской культурой, уже давно не соответствуют психике наших ребят, я строил все свои «крокодилиады» на основе бойких, быстро сменяющихся, урбанистических, уличных ритмов, избегая монотонной тягучести, которая свойственна деревенскому эпосу.

Вырабатывая форму «Крокодила» (1916), я пытался всячески разнообразить фактуру стиха в соответствии с теми эмоциями, которые этот стих выражает: от хорея переходил к дактилю, от двухстопных стихов – к шестистопным.

Такая подвижность и переменчивость ритма была для меня четвертой заповедью.

III. МУЗЫКА

[166] Если читатель перелистает, например, мои детские сказки, он увидит, что для «Тараканища» требуется двадцать восемь рисунков (по числу зрительных образов), для «Мойдодыра» – двадцать три и т. д.

Пятая заповедь для детских писателей – повышенная музыкальность поэтической речи.

Замечательно, что киники всегда музыкальны. Их музыкальность достигается раньше всего необыкновенной плавностью, текучестью звуков. Дети в своих стихах никогда не допускают того скопления согласных, которое так часто уродует наши «взрослые» стихи для детей. Ни в одном стишке, сочиненном детьми, я никогда не встречал таких жестких, шершавых звукосочетаний, какие встречаются в некоторых книжных стихах. Вот характерная строка из одной поэмы для детей:

Пупс взбешен…

Попробуйте произнести это вслух! Псвзб – пять согласных подряд! И взрослому не выговорить подобной строки, не то что пятилетнему ребенку.

Еще шершавее такая строка некоего ленинградского автора:

Вдруг взгрустнулось…

Это варварское вдругвзгр – непосильная работа для детской гортани.

И больно читать ту свирепую строку, которую сочинила одна поэтесса в Москве:

Ах, почаще б с шоколадом…

Щебсш! Нужно ненавидеть ребят, чтобы предлагать им такие языколомные «щебсши». Не мешало бы сочинителям подобных стихов поучиться у тех малышей, которым они царапают горло своими корявыми щебсшами. Стоит только сравнить два стиха: один, сочиненный ребенком, – «Половина утюга», и другой, сочиненный взрослым, – «Ах, почаще б с шоколадом», чтобы увидеть колоссальное превосходство трехлетних. В «Половине утюга» на семь слогов приходится всего шесть согласных, а в стишке о шоколаде на восемь слогов целых двенадцать согласных.

Конечно, создавая столь благозвучные строки, ребенок заботился не об их красоте, а только о том, чтобы ему было легче выкрикивать их, но именно благодаря этому они так мелодичны и плавны.

Любопытна в этом отношении та переработка стихов, которую незаметно для себя производит ребенок. Она вся направлена к тому, чтобы придать «шершавому» стиху максимальную плавность. Мой знакомый двухлетний мальчик очень любил почему-то стихотворение Пушкина «Черногорцы? что такое?» – и декламировал это стихотворение так:

Тетеготи? то такое?

то есть устранял все согласные, тормозящие плавное течение стиха. Конечно, и тут сказалась не эстетика, а неразвитая гортань, но ведь именно для этой гортани мы и должны писать свои стихи.

Вы только вслушайтесь в ту благозвучнейшую хореическую песню, которую пела, танцуя, девочка Витя Раммо, еще не достигшая двухлетнего возраста:

Коси мине, коси кой,
Леба куси, леба кой,
Коси баба, коси кой,
Куси паки, куси мой.
Йока куку, шибка кой,
Леба кусяй, шибка кой,
Кока кусяй, шибка кой.

Говорила она в то время отлично, свободно произнося любые сочетания звуков, но, когда дело дошло до стихов, предпочла распределять свои согласные так, чтобы они возможно реже встречались друг с дружкой. За исключением слова «шибка», все остальные слова построены у нее таким образом, что между двумя согласными непременно поставлены гласные.

Вообще в речи ребенка мы нередко замечаем борьбу с согласными, преодоление согласных. Трехлетний Адик Павлов, вместо того чтобы сказать «солнце красно», говорил соне касно (то есть выбрасывал л, ц, р). У Ади Рыбникова слово «дрова» превратилось в дова, слово «смотри» в соти, слово «другой» – в дугой. Нина Златковская говорила пазник, потивный, касивый.

Левик Гаврилов говорил пиезжай, а «гром» выговаривал гом[167].

Замечательны меры, которые принимала двухлетняя Алена Полежаева, для того чтобы этого скопления не было. Ее мать сообщает о ней: когда рядом в слове встречаются две согласные, Аленушка ставит между ними гласную:

– Птичка – патичка, кто – кито, где – гиде[168].

Точно такой же прием «разукрупнения» согласных при помощи добавочных гласных подметила у своей дочери Майки ленинградская жительница Инна Борисова: «Я сикушила кашику», «я гуляю си бабушкой».

При помощи такого приема Майя (одного года десяти месяцев) избегала неудобных для нее звукосочетаний: ск, шк, сб.

Сочиняя детские стихи, я старался, насколько у меня хватало умения, считаться с этим отчетливо выраженным требованием малых ребят.

IV. РИФМЫ. – СТРУКТУРА СТИХОВ

Шестое правило было подробно изложено на предыдущих страницах. Оно заключается в том, что рифмы в стихах для детей должны быть поставлены на самом близком расстоянии одна от другой.

Читатели этой книжки могли убедиться, что почти во всех стихотворениях, сочиненных малыми детьми, рифмы находятся в ближайшем соседстве. Ребенку гораздо труднее воспринимать те стихи, рифмы которых не смежны.

Седьмое правило заключается в том, что те слова, которые служат рифмами в детских стихах, должны быть главными носителями смысла всей фразы. На них должна лежать наибольшая тяжесть семантики.

Так как благодаря рифме эти слова привлекают к себе особенное внимание ребенка, мы должны дать им наибольшую смысловую нагрузку. Это правило я считаю одним из важнейших и пытаюсь не нарушать ни при каких обстоятельствах. И часто делаю опыты со своими и чужими стихами: прикрываю ладонью левую половину страницы и пытаюсь по одной только правой, то есть по той, где сосредоточены рифмы, догадаться о содержании стихов. Если мне это не удается, стихи подлежат исправлению, так как в таком виде они до детей не дойдут.

Восьмое правило заключается в том, что каждая строка детских стихов должна жить своей собственной жизнью и составлять отдельный организм.

Иными словами, каждый стих должен быть законченным синтаксическим целым, потому что у ребенка мысль пульсирует заодно со стихом: каждый стих в экикиках – самостоятельная фраза и число строк равняется числу предложений. (Этой своей особенностью стихи для детей очень близки к народным стихам.).

Две строки – два предложения:

Твоя мама из дворян,
А отец из обезьян.

Шесть строк – шесть предложений:

Мама умная была
И меня не посекла!
Ай, люли, люли, люли!
Ты меня всегда люби!
Я теперь тебя люблю.
Не кап-риз-ни-ча-ю!

---

[167] Н.А.Рыбников, Словарь русского ребенка, М.-Л. 1926, стр. 24, 45, 56, 04, 71, 80, 81, 105, 112.

[168] Л.В.Полежаева, Детская речь и ее развитие. «Педагогика раннего детского возраста» под ред. проф. А.С.Дурново, М. 1927.

У детей постарше каждое предложение может замыкаться не в одну, а в две строки, но за эти границы уже никогда не выходит. Вот стихи девятилетней Ирины:

1) Мы с Чукошею вдвоем
За калошами идем.
2) Купим, купим мы калоши
Для себя и для Чукоши.

Поэтому длинные стихи для детей чаще всего состоят из двустиший. В сущности, пушкинский «Салтан» и ершовский «Конек-горбунок» по своей структуре являют собой целую цепь экикик, большинство которых не превышает двух строк. И Пушкин и Ершов свои сказки писали главным образом «двояшками». Вот типичный отрывок из Пушкина:

1) В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут; (Пауза.)
2) Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет. (Пауза.)
3) Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется в ней царица; (Пауза.)
4) И растет ребенок там
Не по дням, а по часам. (Пауза.)
5) День прошел, царица вопит…
А дитя волну торопит: (Пауза.)
6) «Ты, волна моя, волна,
Ты гульлива и вольна; (Пауза.)
7) Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь, (Пауза.)
8) Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли – (Пауза.)
9) Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!» (Пауза.)

После каждой «двояшки» – пауза. Восемнадцать строк – девять пауз и девять «двояшек», причем в большинстве случаев каждая «двояшка» есть самостоятельная фраза.

Стихи эти написаны не для детей. Пушкин, создавая свои сказки, ориентировался на фольклорную дикцию взрослых. Но благодаря близости народного поэтического мышления к детскому пушкинская сказка с давнего времени прочно вошла в обиход малышей, и ее структура является для нас образцом.

Никаких внутренних пауз детские стихи не допускают, иначе будет нарушен напев. Во всех известных мне стихотворениях, сочиненных малыми детьми, я нашел только один перенос – да и то очень слабый, один-единственный случай вытеснения фразы за пределы двустишия:

Воробейко поскакал,
На ходу он уплетал
Крошки хлеба, что ему
Я в окошечко даю.

Эти строки сочинил Ваня Ф., четырех с половиною лет.

Они в моих глазах есть одно из редкостных нарушений общего незыблемого правила, которое заключается в том, что каждый стих, сочиненный ребенком, целостен, замкнут сам в себе, неделим.

V. ОТКАЗ ОТ ЭПИТЕТОВ. РИТМИКА

Выше было сказано, что детское зрение чаще всего воспринимает не качество, а действие

предметов. Отсюда девятая заповедь для детских писателей: не загромождать своих стихов прилагательными.

Стихи, которые богаты эпитетами, – стихи не для малых, а для старших детей.

В стихах, сочиненных детьми младшего возраста, почти никогда не бывает эпитетов. И это понятно, потому что эпитет есть результат более или менее длительного ознакомления с вещью. Это плод опыта, созерцания, исследования, совершенно недоступного маленьким детям.

Сочинители детских стихов часто забывают об этом и перегружают их огромным числом прилагательных. Талантливая Мария Пожарова дошла до того, что в своих «Солнечных зайчиках» чуть не каждую страницу наполнила такими словами, как зыбколистный, белоструйный, тонкозвучный, звонкостеклянный, беломохнатый, багрянозолотой, и, конечно, все это для детей мертвечина и скука.

Потому что маленького ребенка по-настоящему волнует в литературе лишь действие, лишь быстрое чередование событий. А если так, то побольше глаголов и возможно меньше прилагательных! Я считаю, что во всяком стишке для детей процентное отношение глаголов к именам прилагательным есть один из лучших и вполне объективных критериев приспособленности данного стишка к психике малых детей.

Поучителен в этом отношении Пушкин: в своей «Сказке о царе Салтане» он на 740 глаголов дал только 235 прилагательных, между тем как в его поэме «Полтава» (в первой песне) число глаголов даже меньше числа прилагательных: на 279 глаголов – 281 прилагательное.

Тяготение ребенка к глаголу отмечено в науке давно. Канадский профессор Фредерик Трэси в своей «Психологии детства» (1893) подсчитал, что в словаре у малышей (от 19 до 28 месяцев) глаголы составляют 20 процентов всех слов, в то время как у взрослого их только 11, то есть почти вдвое меньше.

Вот таблица, приводимая Трэси:

У ребенка | У взрослого

Имен прилагательных: 9 % | 22 %

Имен существительных: 60 % | 60 %

Глаголов: 20 % | 11 %

Таблица едва ли правильная, так как многие существительные в речи ребенка являются по своей сути односложными предложениями, где на первом месте – глагол. Когда маленький ребенок кричит, например, «динь-динь», это может значить: «дай мне позвонить колокольчиком!», или «колокольчик звонит!», или «мне очень нравится звон колокольчика», или «подними меня вверх к колокольчику!» – и мало ли что еще. В каждом таком «динь-динь» подразумевается непроизнесенный глагол.

Предмет как таковой, вне своих динамических функций, гораздо реже фигурирует в речи ребенка, чем это было принято думать, когда Трэси составлял таблицу.

Поэтому Трэси был бы более прав, если бы составил для детского словаря примерно такую таблицу:

Существительных 20 %

Существительных,

имеющих характер глагола

(или сопряженных с глаголом) 53 %

Глаголов 20 %

Прилагательных 7 %

Такая таблица была бы ближе к истине, потому что в речи двухлетнего ребенка скрытых и явных глаголов приблизительно 50–60 %, а чистых прилагательных в девять раз меньше. Ошибка Трэси заключается в том, что он отнесся к грамматическим категориям слишком формально. Но общие выводы его вполне справедливы: идеи, которые играют в уме ребенка наиболее значительную роль и которые ребенок чаще всего выражает словами, суть идеи действий, а не состояний, – движений, а не качеств и свойств.

По утверждению немецких исследователей Клары и Вильгельма Штерн (1907), в речи ребенка сперва преобладают существительные, потом глаголы и лишь потом прилагательные. Штерны приводят такие наблюдения над одной маленькой девочкой: когда ей был год и три месяца, 100 процентов ее словаря составляли имена существительные; через пять месяцев они составляли всего 78 процентов, а глаголов было 22 процента; еще через три месяца существитель-

ных оказалось всего 63 процента, глаголов 23 и остальных частей речи (в том числе и прилагательных) 14 процентов.

Эта схема грешит таким же формальным подходом к грамматике, как и схема профессора Трэси, но общая тенденция языкового развития детей в ней отмечена верно: ребенок в первые годы своего бытия так глубоко равнодушен к свойствам и формам предметов, что прилагательные долго являются наиболее чуждой ему категорией речи.

Любовь к прилагательным свойственна (да и то в малой мере) только книжным, созерцательно настроенным детям, а ребенок, проявляющий активное отношение к жизни, строит почти всю свою речь на глаголах. Поэтому «Мойдодыра» я сверху донизу наполнил глаголами, а прилагательным объявил беспощадный бойкот и каждой вещи, которая фигурирует в этих стихах, придал максимальное движение:

Одеяло
Убежало,
Улетела простыня,
И подушка,
Как лягушка,
Ускакала от меня.

Ибо только такая, только «глагольная» речь по-настоящему дойдет до ребенка.

Конечно, все изложенное в этой главе относится лишь к самым маленьким детям. Когда дети становятся старше, ни в чем так наглядно не сказывается созревание их психики, как именно в увеличении числа прилагательных, которыми обогащается их речь.

И.Адамиан пишет мне по этому поводу: «Вы говорите, что у детей больше тяготения к глаголу, чем к прилагательному. Мне кажется, что ваш вывод правилен лишь отчасти, ибо, насколько я заметил, в лексиконе девочек преобладают прилагательные, а в лексиконе мальчиков – глаголы. Вообще, по моим случайным и отрывочным наблюдениям, девочки больше обращают внимание на определенное свойство предметов (у куклы розовый бантик, зеленое то-то и т. п.), а мальчики – на действие (паровоз свистит и т. п.). Интересно было бы произвести опыт: написать рассказ с одинаковым количеством прилагательных и глаголов и прочесть детям обоего пола, а затем заставить их повторить. Возможно, что результат ряда таких опытов подтвердит правильность моих наблюдений». Мне кажется, что догадка тов. Адамиана верна лишь в отношении старших детей. Младшим же – и мальчикам и девочкам – одинаково чуждо большинство прилагательных. Между тем, как уже сказано выше, речь идет исключительно о литературе для младшего возраста. Форма произведений, предназначенных для более старших, должна быть иной.

Десятая заповедь заключается в том, что преобладающим ритмом ребячьих стихов должен быть непременно хорей. Об этом было сказано выше, на стр. 626–634.

VI. ИГРОВЫЕ СТИХИ

Одиннадцатая заповедь для детских писателей заключается в том, что их стихи должны быть игровыми, так как, в сущности, вся деятельность младших и средних дошкольников, за очень небольшими исключениями, выливается в форму игры.

«Ребенок, – говорит М.Горький, – до десятилетнего возраста требует забав, и требование его биологически законно. Он хочет играть, он играет всем и познает окружающий его мир прежде всего и легче всего в игре, игрой. Он играет и словом и в слове. Именно на игре словом ребенок учится тонкостям родного языка, усваивает музыку его и то, что филологи называют „духом языка“»[169].

Конечно, есть отличные стихи для детей, не имеющие отношения к игре; все же нельзя забывать, что детские народные стишки, начиная от бабушкиных «Ладушек» и кончая «Караваем», чаще всего являются порождением игры[170].

[169] М.Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 25, М. 1953, стр. 113.

[170] Я думаю, что поэма «Пожар» С.Маршака выросла из игры в пожарных, которую так любят малыши. В сказке

Вообще почти каждую свою тему поэт, пишущий для младших дошкольников, должен воспринимать как игру. Тот, кто не способен играть с малышами, пусть не берется за сочинение детских стихов.

Но дети не ограничиваются играми этого рода. Они, как мы видели, играют не только вещами, но и произносимыми звуками. Эти звуковые и словесные игры, очевидно, чрезвычайно полезны, так как в фольклоре детей всего мира они занимают заметное место. Даже когда ребенок становится старше, у него часто возникает потребность потешиться и поиграть словами, так как он не сразу привыкнет к тому, что слова выполняют только деловую, коммуникативную функцию. Разные словесные игрушки все еще привлекают его, как привлекают куклы многих девочек, давно уже вышедших из «кукольного» возраста.

Вспомним наши русские потешки, созданные уже в школьной среде:

«Императрина Екатерица заключила перетурие с мирками».

«Челодой моловек! Не камняйтесь бросами, а то режиком заножу, будешь дрыжками ногать».

Дошкольнику такие словесные игрушки еще больше нужны, так как пользование ими всегда знаменует, что ребенок уже вполне овладел правильными формами слов. Это видно уже из того, что отклонение от правильных форм он воспринимает как нечто забавное.

Взрослые, кажется, никогда не поймут, чем привлекательны для малых ребят такие, например, незатейливые деформации слов, которые я позаимствовал в английском фольклоре:

Жила-была мышка Мауси
И вдруг увидала Котауси.
У Котауси злые глазауси
И злые-презлые зубауси.
Подбежала Котауси к Мауси
И замахала хвостауси:
– Ах, Мауси, Мауси, Мауси,
Подойди ко мне, милая Мауси!
Я спою тебе песенку, Мауси,
Чудесную песенку, Мауси!
Но ответила умная Мауси:
– Ты меня не обманешь, Котауси!
Вижу злые твои глазауси
И злые-презлые зубауси!
Так ответила умная Мауси
И скорее бегом от Котауси!

Дети именно потому и смеются, что правильные формы этих слов уже успели утвердиться в их сознании.

Мою песенку очень бранили в печати за «коверкание родного языка». Критики предпочитали не знать, что такое «коверкание» с незапамятных времен практикуется русским фольклором и узаконено народной педагогикой. Вспомним хотя бы известную сказку «Звери в яме», где несколько раз повторяются в различных вариантах такие стихи:

Медведь-медведухно – имечко хорошее.
Лиса-олисава – имечко хорошее,
Волк-волчухно – имечко хорошее,
Петух-петушихно – имечко хорошее,
Кура-окурова – имя худое.

Почему же, спрашивается, всевозможные человеки в футлярах нещадно преследуют подобные словесные игры, столь необходимые детям в процессе их языкового развития?

«Телефон» я, со своей стороны, пытаюсь дать маленьким детям материал для их любимой игры в телефон.

С великим удовольствием я вспоминаю, как яростно встретили леваки-педагоги мои игровые стишки о лягухах, впервые увидавших черепаху:

И они закричали от страха:
– Это Че!
– Это Ре!
– Это Паха!
– Это Чечере… папа… папаха…

Покойный академик Игорь Грабарь сообщил мне, что в детстве ему, как и всем его товарищам-сверстникам, очень нравилась такая вариация басни «Мартышка и очки»:

ОЧКИШКА И МАРТЫ
Старишка в мартости глаза слабами стала,
А у слухей она людала…

Весело и озорно, совсем по-детски увлекался такой словесной игрой молодой поэт Даниил Хармс. Нужно было видеть, каким восторгом встречали они своего любимого автора, когда он читал им с эстрады:

А вы знаете, что у,
А вы знаете, что па,
А вы знаете, что пы,
Что у папы моего
Было сорок сыновей?

И дальше:

А вы знаете, что на,
А вы знаете, что не,
А вы знаете, что бе,
Что на небе
Вместо солнца
Скоро будет колесо?

и т. д.

Совсем по-другому, но так же аппетитно и весело играет он словом «четыре» в своей последней книжке «Миллион»:

Раз, два, три, четыре,
И четыре на четыре,
И четырежды четыре,
И потом еще четыре.

Одним из лучших памятников его словесной игры останется «Иван Иваныч Самовар», где всему повествованию придана такая смехотворно однообразная (и очень детская) форма:

Самовар Иван Иваныч,
На столе Иван Иваныч,
Золотой Иван Иваныч
Кипяточку не дает,
Опоздавшим не дает,
Лежебокам не дает.

Такие же игровые стихи создал в свое время поэт Александр Введенский. Особенно было популярно в детской среде его шуточное стихотворение «Кто?»:

Дядя Боря говорит,
Что
Оттого он так сердит,
Что
Кто-то на пол уронил
Банку, полную чернил,
И оставил на столе
Деревянный пистолет,
Жестяную дудочку
И складную удочку.
Может, это серый кот
Виноват?
Или это черный пес
Виноват?

и т. д.

С таким же озорством Наталья Кончаловская изобрела такие небывалые овощи:

Показал садовод
Нам такой огород,
Где на грядках, засеянных густо,
Огурбузы росли,
Помидыни росли,
Редисвекла, чеслук и репуста,
Сельдерошек поспел
И моркофель дозрел,
Стал уже осыпаться спаржовник,
А таких баклачков
Да мохнатых стручков
Испугался бы каждый садовник.

Я не говорю, что детские писатели все, как один, должны сплошь заниматься такими словесными играми, забыв о других воспитательных и литературных задачах (это было бы ужасно и привело бы к деградации детской поэзии), я только хочу, чтобы наконец была признана педагогическая целесообразность и ценность литературного жанра, который недаром так богато представлен в устной народной поэзии (см. главу «Лепые нелепицы»).

Мастером этого жанра был С.Я.Маршак. Его знаменитое четверостишие о вагоновожатом словно затем и написано, чтобы разъярять скудоумных филистеров и восхищать детвору:

Глубокоуважаемый
Вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый
Глубокоуважатый.

VII. ПОСЛЕДНИЕ ЗАПОВЕДИ

Итак, мы видим, что стихи для детей нужно писать каким-то особенным способом – иначе, чем пишутся другие стихи. И мерить их нужно особенной меркой. Не всякий даже даровитый поэт умеет писать для детей.

Такие, например, великаны, как Тютчев, Баратынский и Фет, несомненно потерпели бы в этой области крах, так как приемы их творчества враждебны по самому своему существу тем приемам, которые обязательны для детских поэтов.

Но отсюда не следует, что детский поэт, угождая потребностям малых детей, имеет право

пренебречь теми требованиями, которые предъявляют к поэзии взрослые.

Нет, чисто литературные достоинства детских стихов должны измеряться тем же самым критерием, каким измеряются литературные достоинства всех прочих стихов.

По мастерству, по виртуозности, по техническому совершенству стихи для советских детей должны стоять на той же высоте, на какой стоят стихи для взрослых.

Не может быть такого положения, при котором плохие стихи оказались бы хороши для детей.

В сущности, совершается злое и вредное дело: вместо того чтобы подготовлять детей к восприятию гениальных поэтов, их систематически отравляют безграмотной и бездарной кустарщиной, убивающей в них то горячее чувство стиха, которое сказалось в экикиках.

Итак, двенадцатая заповедь для детских поэтов: не забывать, что поэзия для маленьких должна быть и для взрослых поэзией![171]

Есть и тринадцатая. Она заключается в том, что в своих стихах мы должны не столько приспособляться к ребенку, сколько приспособлять его к себе, к своим «взрослым» ощущениям и мыслям. Конечно, мы должны делать это с большой осторожностью, не насилуя природы ребенка, но если мы этого делать не станем, нам придется отказаться от роли воспитателей. Мы обязаны мало-помалу нарушать многие из вышеуказанных заповедей, дабы путем постепенного усложнения поэтической формы подвести малыша вплотную к восприятию великих поэтов. Это и будет подлинным стиховым воспитанием, о котором у нас почему-то все еще очень мало заботятся. Методика стихового воспитания старших дошкольников заключается в выработке наиболее рациональных приемов постепенного нарушения вышеизложенных правил – всех, за исключением двенадцатого, которое требует высокого качества детских стихов. Это правило нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах.

К сожалению, многие педагоги, рецензенты и критики все еще судят о детской поэзии исключительно по ее содержанию, не догадываясь, что самое ценное содержание детских стихов будет безнадежно погублено неудачной и неряшливой формой, – так что именно в интересах тематики нужно раньше всего изучать формальные особенности детских стихов, а также наиболее эффективные методы их созидания.

Всякий, кто хоть бегло ознакомится с тем золотым фондом детской советской поэзии, который создан Маяковским, Маршаком, Михалковым, Барто, Квитко, Янкой Купалой, Забилой и плеядой их младших собратьев, не может не прийти к убеждению, что богатейшее разнообразие поэтических форм вполне соответствует здесь такому же богатому разнообразию сюжетов. По сравнению с литературой дореволюционной эпохи в нынешних детских стихах чрезвычайно умножилось количество жанров, входящих в повседневный обиход детворы; советским поэтам удалось приобщить даже младших дошкольников к актуальнейшим темам, которыми живет вся страна.

В течение последних двадцати лет я из года в год (с небольшим перерывом) наблюдаю несколько детских садов Подмосковья и вижу, как многочисленны темы, входящие нынче в круг интересов ребенка. Вот примерный перечень тех стихотворений и песен, которые бытуют в этих детских садах и пользуются особой популярностью среди малышей. Уже самые заглавия этих произведений поэзии показывают, как расширился в последнее время диапазон интересов и вкусов ребенка.

«Песня о Ленине». – «Первомай». – «Мы – за мир!» – «Полет в космос». «Мальчик и летчик». – «Праздник урожая». – «Мой папа депутат». – «Кто построил этот дом». – «Война с Днепром». – «Елка». – «Дед Мороз». «Дождик». – «Журавли». – «Усатый-полосатый». – «Детки в клетке». – «Дядя Степа». – «Снегирь». – Фольклорные перевертыши, считалки, потешки, загадки, игровые стишки. – Озорные развлекательные сказки в стихах – и наряду с этим такие, ставшие народными, песни, как «По долинам и по взгорьям», «Летят перелетные птицы», «Эх, туманы мои, растуманы» (усвоенные по радио).

Уже из одного этого перечня заглавий мы видим, что нет, в сущности, такого литературного жанра, доступного пониманию детей, которого не внедряла бы в духовную жизнь дошкольни-

[171] Теперь она звучит тривиально, но, когда писались эти строки, в них увидели формалистическую ересь, ибо всякий разговор о поэтической форме считался тогда формализмом.

ка советская педагогика последнего времени. Все дело только в соблюдении пропорций – в том, чтобы какой-нибудь один-единственный жанр не вытеснил всех остальных.

Так что вопрос о тематике стихов для детей можно считать (в общих чертах) решенным. Те жаркие споры по этому поводу, какие так часто велись в двадцатых – тридцатых годах, нынче остались уже далеко позади.

Не так обстоит дело с вопросом о поэтической форме стихов, предлагаемых детям. До сих пор этот немаловажный вопрос не привлекает сколько-нибудь серьезного внимания исследователей. Критики словно не замечают его. Педагоги в огромном своем большинстве игнорируют его совершенно.

Между тем (повторяю опять и опять!) в интересах той самой тематики, которая дорога педагогам (и не только педагогам, а нам всем), им следует во что бы то ни стало изучить поэтику детских стихов. Вот почему меня не покидает надежда, что мои скромные заповеди будут не совсем бесполезны.

Конечно, заповеди – слишком громкое название для этих непритязательных правил. Это просто вехи, поставленные для себя одним из начинающих детских писателей, который стремился приблизиться к психике малых детей, чтобы влиять на нее возможно сильнее.

Мы, советские писатели, имеем драгоценную возможность изучать эту психику не только келейным порядком, в узком кругу семьи, но и в тех бесчисленных «громадах» детей, какими являются в нашей стране детские ясли, детские сады и т. д. Поэтому главная особенность наших дошкольных стихов заключается именно в том, что они должны быть приспособлены для чтения вслух перед большими коллективами детей. Конечно, их можно читать и детям-одиночкам, но их композиция, их ритмы и образы организованы так, чтобы их могли без труда воспринимать многочисленные аудитории ребят. Здесь одна из наиболее характерных черт нашей нынешней детской поэзии: когда мы пишем, мы воображаем себя на эстраде перед множеством юных слушателей.

Этого чувства не знали детские писатели Запада, и оттого их произведения в большинстве случаев были камерные, глубоко интимные.

Много ли детей видел перед собой Эдвард Лир, когда писал свою прелестную «Книгу нелепостей»? Только трех маленьких внучат графа Дарби, которых в то время учил рисованию.

И только три девочки, сестры Лидделл, слушали Льюиза Керролла, автора «Алисы в стране чудес», когда он импровизировал над сонной оксфордской рекой свою знаменитую сказку, в которой навсегда сохранились интонации его тихого голоса.

Нам же, детским писателям советских республик, если бы даже мы захотели быть камерными, это ни за что не удалось бы, так как всю свою жизнь мы находимся, так сказать, в океане детей. Безбрежный океан – от Артека до Арктики. В нем-то и формируется все наше творчество. Я совсем по-другому написал бы «Муху-цокотуху», «Бармалея», «Краденое солнце», «Телефон», если бы не чувствовал во время писания, что мне нужно будет читать эти вещи в обширных залах, перед множеством маленьких слушателей. Отсюда – то качество этих стихов, которое я назвал бы сценичностью. Эти сказки театрализованы: сюжет развертывается в них по законам драматического действа (завязка, коллизия и проч.).

Самый объем каждой сказки определяется тем, что она должна быть произнесена перед непоседливой и нетерпеливой толпой, психика которой не похожа на психику отдельного слушателя. «Краденое солнце» я сперва написал в виде длинной, монотонной сказки:

Журавли по небесам,
А медведи по лесам
Понеслися во всю прыть,
Чтобы солнце воротить.
Долетели журавли
До Египетской земли…

и т. д.

Но так как в таком оформлении эта сказка годилась только для индивидуального чтения, я сократил ее впятеро, ускорил темпы, внес максимальное разнообразие в ее ритмику – словом, приспособил ее к восприятию детского коллектива.

Это не значит, конечно, что «комнатное», уединенное чтение сказок отошло в область прошлого. Напротив, никогда еще не было такого изобилия матерей и отцов, которые читают книжки своим маленьким детям. Но пусть эти книжки раньше всего пройдут испытание в массовых аудиториях детей.

Это не праздное требование, так как коллективное чтение занимает все большее место в системе воспитания дошкольников и младших школьников. Все эти колоссальные дома культуры, детские городки и дворцы, организующие многомиллионную массу советских ребят, предъявляют нам, литераторам, новые требования, которых мы не можем не выполнить. Для того чтобы вполне уразуметь эти требования, у нас есть единственный путь – всей своей деятельностью приобщиться к этой ребячьей «громаде». Я, например, как и прочие «детские авторы», не могу себе представить такого месяца в моей жизни, когда я был бы оторван от коллектива детей. Подобно другим товарищам, я выступал и выступаю со своими стихами и в Крыму, и на Кавказе, и в Ленинграде, и в Колонном зале, и в зале Чайковского, и в Доме Советской Армии, и в клубе писателей, и в клубе ученых, и во множестве школ всех районов, во множестве детских садов, детских больниц, детских санаториев, детских библиотек, детских домов культуры и проч., и проч., и проч.

Только такое беспрестанное, повседневное общение с коллективами малых ребят давало и дает нам, советским детским писателям, возможность согласовать свое творчество с их массовой психикой.